

# С О В Е Т С К А Я Э Т Н О Г Р А Ф И Я

1984

Советская этнография, 1984, № 1

ИЗДАТЕЛЬСТВО • НАУКА •



# СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

## СОДЕРЖАНИЕ

М. Г. Рабинович, М. Н. Шмелева (Москва). Город и этнические процессы (из опыта этнографического изучения восточнославянских городов)	3
О. Р. Будина (Москва). О соотношении общих и локальных традиций (на примере балканских этнических групп на Украине и в Молдавии)	15
В. А. Александров (Москва). Эволюция земельного обычного права в русской позднефеодальной крепостной деревне (XVIII — начало XIX в.)	27
Н. М. Гиренко (Ленинград). Восточноафриканские культуры в процессе формационных изменений (XIX — XX вв.)	38
Ю. Е. Березкин (Ленинград). Культурная преемственность на северном побережье Перу в V—XV вв. (по данным мифологии и изобразительного искусства)	50

### Из истории науки

Е. П. Федосеева (Ленинград). А. Л. Троицкая и ее архив	67
--	----

### Сообщения

А. Б. Калышев (Алма-Ата). Межнациональные браки в сельских районах Казахстана (по материалам Павлодарской области, 1966—1979 гг.)	71
Г. А. Гайсин (Алма-Ата). Гармония в музыкальном быту казахов (XIX — начало XX в.)	77
Л. А. Файнберг (Москва). Судьбы коренного населения Бразилии	79

### Вопросы, факты, гипотезы

Я. С. Смирнова (Москва). Усыновление покровителя	87
--	----

### Научная жизнь

К. В. Чистов (Ленинград). Конференция «Новые методы и концепции в изучении народной культуры Европы»	93
Н. С. Гурвич, Т. М. Мастюгина (Москва). Киноэпопея, посвященная эскимосам	95
Коротко об экспедициях	97

### Критика и библиография

#### Критические статьи и обзоры

В. А. Шнирельман (Москва). Этноархеология — 70-е годы	100
С. А. Маретина (Ленинград). Важное международное издание	113
Н. В. Юхнева (Ленинград). Изучение пражских рабочих в Институте этнографии и фольклористики Чехословацкой Академии наук	118
Н. В. Шлыгина (Москва). Современные исследования свадебной обрядности в Финляндии (новые работы М.-Л. Хейкинмяки)	125

## Общая этнография

- А. А. Леонтьев (Москва). *И. Л. Андреев*. Происхождение человека и общества  
Л. Н. Пушкарев (Москва). *Фольклор и историческая этнография*

## Народы СССР

- Т. Н. Никольская (Москва). *В. В. Седов*. Восточные славяне в VI—XIII вв.  
И. Н. Браим (Минск). *М. Ф. Пилипенко*. Этнография Белоруссии  
Ю. Д. Анчабадзе (Москва). *Л. И. Лавров*. Этнография Кавказа (по полевым материалам 1924—1978 гг.)  
А. Ф. Макеев (Новоульяновск). *Л. П. Шабалина*. Этнография в школьном краеведении  
Э. А. Паин (Москва). *Сельские поселения Удмуртии в XIX—XX вв.*  
К. Е. Корепова (Горький). *Н. В. Зорин*. Русская свадьба в Среднем Поволжье  
Т. В. Зуева (Москва). *А. М. Новикова, С. И. Пуйкина*. Свадебные песни Тульской области  
А. И. Лазарев (Челябинск). *В. И. Игнатов*. История и народная поэзия села Плодовитого Малодербетовского района Калмыцкой АССР

## Народы Зарубежной Европы

- Т. Д. Филимонова (Москва). *Bauer und Landarbeiter im Kapitalismus in der Magdeburger Börde*  
А. Вийрес (Таллин), Н. В. Шлыгина (Москва). *I. Talve*. Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja

## Народы Зарубежной Азии

- Б. А. Литвинский, Л. А. Чвырь (Москва). *Janata A. Schmück in Afghanistan*

## Народы Америки

- Л. Е. Куббель (Москва). *Этнические процессы в странах Южной Америки*  
В. В. Пименов, В. Г. Стельмах (Москва). *Этнические процессы в странах Карибского моря*

## Народы Африки

- Ю. И. Семенов (Москва). *Э. С. Годинер*. Возникновение и эволюция государства в Буганде

## Народы Океании

- В. Р. Кабо (Москва). *Б. Н. Пугилов*. Песни южных морей; Миф — обряд — песня Новой Гвинеи; Человек с Луны. Дневники, письма, статьи. Миклухо-Маклая, и др. работы  
С. А. Токарев (Москва). *П. И. Пучков*. Этническая ситуация в Океании

### Редакционная коллегия:

- К. В. Чистов — член-корр. АН СССР (главный редактор),  
В. П. Алексеев — член-корр. АН СССР, И. Л. Андреев, С. А. Арутюнов,  
С. И. Брук, Н. Г. Волкова (зам. главн. редактора), Л. М. Дробижина,  
Т. А. Жданко, А. А. Зубов, Р. Н. Исмагилова, Р. Ф. Итс, Л. Е. Куббель  
(зам. главн. редактора), А. А. Леонтьев, Б.-Р. Логашова, Г. Е. Марков,  
А. И. Першиц, Н. С. Полищук (зам. главн. редактора),  
П. И. Пучков, Ю. И. Семенов, В. К. Соколова, С. А. Токарев,  
Д. Д. Тумаркин

Ответственный секретарь редакции Н. С. Соболев

Адрес редакции: 117036 Москва, В-36, ул. Д. Ульянова, 19  
телефон 126-94-91

Зав. редакцией Е. А. Эшлиман

М. Г. Рабинович, М. Н. Шмелева

## ГОРОД И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (из опыта этнографического изучения восточнославянских городов) \*

В современном мире около 40% населения составляют горожане. Этот средний показатель значительно варьирует: в индустриально развитых странах процент горожан гораздо больше, в странах развивающихся — несколько меньше. Еще в недавнем прошлом доля их в населении мира и отдельных стран была намного ниже. Достаточно сказать, что в дореволюционной России накануне первой мировой войны насчитывалось всего 18% горожан, в более же отдаленные исторические эпохи их число и вовсе не превышало нескольких процентов, а то и долей процента<sup>1</sup>.

Города, городское население, городской образ жизни играют важную роль в современных этнических процессах. И в прошлом, даже в весьма отдаленном, эта роль была больше, чем можно предположить исходя из относительно незначительной доли горожан в общем составе населения. Даже тогда, когда немногочисленные и сравнительно малонаселенные города представляли собой едва заметные на первый взгляд островки в океане деревенской страны, они оказывали большое влияние на этническое развитие как окрестного сельского населения, так и страны в целом.

Россия, конечно, не была исключением. Повсюду в мире образование народностей и наций шло при активном участии и сельского, и городского населения. И в развитии важных сторон хозяйства — земледелия, ремесел, материальной и духовной культуры любого народа, достигшего той стадии социального развития, на которой появляются города, можно проследить взаимосвязи и взаимовлияния города и деревни<sup>2</sup>.

Ведущая роль города в процессе этнического и этнокультурного развития народов обусловлена самим характером города как относительно нового типа поселения. «Город уже представляет собой факт концентрации населения, орудий производства, капитала, наслаждений, потребностей, между тем как в деревне наблюдается диаметрально противоположный факт — изолированность и разобщенность»<sup>3</sup>. Концентрация различных условий, необходимых для формирования этноса, является важнейшим фактором развития этнических процессов.

При этом надо отметить роль усложнения этнического и социального состава населения самого города. Уже в силу специфики города как центра промышленного и торгового, административного и политического, культурного и религиозного городского население имеет обычно более сложный этнический и социальный состав, чем окрестное сельское население.

В городе еще в эпоху феодализма живут феодалы и крестьяне, ремесленники и купцы, духовенство и деятели культуры. В дальнейшем классовый и социально-профессиональный состав городского населения

\* Статья написана на основе доклада, сделанного на конференции «Этнокультурные процессы в современном мире» (Элиста, 1981 г.).

<sup>1</sup> Брук С. И. Население мира. М.: Наука, 1981, с. 66, табл. 15.

<sup>2</sup> Рабинович М. Г. Город и традиционная народная культура. — Сов. этнография, 1980, № 4.

<sup>3</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 50.

продолжает усложняться. Коренное местное население вступает в города в контакты с различного рода пришельцами. Так, в Киеве, выросшем в стране полян, жили в X—XII вв. и поляне, и древляне, и тиверцы и новгородские словене, и варяги, и хазары, и евреи, и византийцы. В Москве, возникшей в конце XI в. в земле вятичей, жили в XII—XVII вв. и вятичи, и кривичи, и сурожане, и татары-ордынцы, и выходцы из западнорусских городов — «мест» («мещане»); и грузины, и армяне, и западные иноземцы, которые все вместе тогда назывались немцами.

К. Маркс, цитируя Нибура, отмечал, что «занятие земледелием сохраняет старую племенную основу нации, она меняется в городах, поселяются чужеземные купцы и ремесленники...»<sup>4</sup>. Город был и остается как бы огромным котлом-ускорителем, в котором интенсивно идут процессы взаимовлияния и сближения.

Возникая в определенной этнической среде, город с самого начала подвергается влиянию окрестного сельского населения. Это влияние особенно сильно в тех случаях, когда город гомоэтничен окружающей негородской среде, когда в нем преобладает коренной, местный этнос. Но и города, гетероэтничные окружающей среде, основанные среди этнического населения, оказываются с ним в тесном контакте. Этнические и этнокультурные влияния здесь бывают взаимными. По мере экономического и культурного развития города, он начинает в свою очередь оказывать влияние на окрестное население, способствуя развитию экономических и культурных связей, ускорению этнических процессов.

Контакты города с окружающей сельской местностью обычно многообразны. Деревня является для города во всех отношениях питательной средой. Она — постоянный источник пополнения города новыми жителями. Отсюда крепкие родственные связи горожан и крестьян. Систематический обмен продуктами производства сельского хозяйства и промышленности (первой формой которой является ремесло) ведет к установлению прочных рыночных связей. И характер городских ремесел приспосабливается прежде всего к потребностям окружающих жителей. Роль города как политического, административного, религиозного центра способствует возникновению и упрочению связей юридических, конфессиональных. Деревенская среда обуславливает на первых порах характер городских обычаев и обрядов, которые затем возвращаются в деревню значительно измененными, нередко обогащенными.

В самом городе для развития этнических процессов весьма важен этнический состав и уровень этнокультурного развития основного ядра его первоначального населения. Однородное в этническом и этнокультурном отношении ядро населения в дальнейшем определяет этнокультурный облик города, успешно ассимилируя пришельцев. Каждая группа переселенцев, оказавшись слабее этого ядра, сравнительно быстро усваивает наиболее значительные элементы материальной и духовной культуры коренного населения, его язык, нравы и обычаи, зачатки этнического самосознания и в конце концов полностью растворяется в нем, а в дальнейшем, при появлении новых групп пришельцев, участвует вместе с первоначальным ядром в их ассимиляции. Таким образом, если в историческом аспекте в населении города численно преобладает не коренное, а пришлое по своему происхождению население, то в каждом отдельном случае пришельцы оказываются и в меньшинстве, обычно более слабыми с точки зрения этнокультурной<sup>5</sup>. При этом темпы и характер ассимиляции зависят от того, какая социальная группа доминирует среди пришельцев, как они расселяются — компактно или дисперсно. Можно сказать, что высшие классы в этом отношении менее устойчивы, чем рядовые горожане, что при компактном расселении ассимиляция идет медленнее, чем при дисперсном. Но конечный результат один.

<sup>4</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 468.

<sup>5</sup> Сухарева О. А. Бухара XIX — начала XX в. (позднефеодальный город и его население). М.: Наука, 1966, с. 142; Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского дальнего города. М., 1978, с. 67—74.

Так, общеизвестно, что древний Киев в X в. дважды подвергся варяжскому завоеванию, причем каждый раз варяги принадлежали к господствующему классу (старшая и младшая дружины, князья). Но даже во втором случае, когда завоевание оказалось политически прочным, этническое и этнокультурное господство достигнуто не было: правящая княжеская династия обрусела уже во втором поколении, и потомок завоевателя Олега, сын Ингвара (Игоря), занявшего престол ребенком, носил уже типичное для славянских князей имя Святослав и, по описанию современника, по внешности и манере одеваться ничем не отличался от славян<sup>6</sup>.

По мере превращения маленького Москва в столицу России Москва в городе шли аналогичные процессы: если основное ядро населения состояло из вятичей, на территории которых возник городок, то уже в начале его развития к ним прибавились соседние кривичи, группы из других восточнославянских племен, остатки местного финно-угорского населения<sup>7</sup>. В дальнейшем можно проследить переселение в Москву богатых крымских купцов итальянского происхождения — сурожан, расселявшихся среди москвичей дисперсно, а еще позднее — группы татар-ордынцев, западных иноземцев («немцев»), грузин и армян, селившихся компактно, слободами. «Немцы» были преимущественно специалистами — военными, ремесленниками, иногда торговцами; грузины принадлежали к окружению выехавших в Россию грузинских царей. Но уже сын грузинского царя Арчила был ближайшим сподвижником Петра, а «немцы» и в особенности сурожане настолько ассимилировались, что теперь нужны исторические изыскания для того, чтобы выявить, например, происхождение из сурожан русского поэта Ф. И. Тютчева<sup>8</sup>. Подобные процессы прослежены в XVIII—XIX вв. в Бухаре<sup>9</sup>.

Ассимиляция пришельцев сильным основным ядром города шла и тогда, когда этот город возник и развивался в иноэтнической среде. Примером может служить Нижний Новгород (ныне Горький), в населении которого трудно найти следы окрестных финноязычных племен Поволжья, или Петербург, где процесс ассимиляции нерусских мигрантов происходил уже в XVIII—XIX вв. и где этнический состав был значительно сложнее. «Сразу видна, — писал В. И. Ленин, — наибольшая национальная пестрота крупного города С.-Петербурга. Это — явление не случайное, а закон капитализма во всех странах и во всех нациях мира»<sup>10</sup>.

В тех же случаях, когда первоначальное ядро населения либо было недостаточно сильным в этнокультурном отношении, либо существовало относительно короткий срок (а иногда сочетаются оба эти фактора), этническое лицо города могло коренным образом изменяться в связи с появлением нового, более сильного компонента. Так, в современном американском городе Ситхэ вряд ли можно обнаружить следы первоначального русского населения Новорархангельска, а в эстонском Тарту — древнерусского Юрьева.

Рассматривая вопрос о роли городов в развитии этнических процессов на примере городов восточнославянских, можно констатировать, что уже в Древнерусском государстве горожане сыграли большую роль в процессе преодоления племенной обособленности, в сложении древнерусской народности. Роль эта была связана в значительной мере с функциями городов как административно-территориальных и политических центров складывающихся больших и малых феодальных государств. Но весьма важны были и функции городов как центров экономики и культуры. Создание вокруг городов местных рынков, прослежи-

<sup>6</sup> Арциховский А. В. Одежда. — В кн.: История культуры древней Руси, т. 1. М.-Л., 1948, с. 244.

<sup>7</sup> Рабинович М. Г. Об этническом составе первоначального населения Москвы. — Сов. этнография, 1962, № 2, с. 65.

<sup>8</sup> Снегирев В. Л. Московские слободы. М.: Моск. рабочий, 1956, с. 206—207.

<sup>9</sup> Сухарева О. А. Указ. раб.

<sup>10</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 220.

вающиеся по археологическим материалам<sup>11</sup>, привело к замене числ этнических, племенных связей связями этнотерриториальными, областными, характерными для феодализма в целом.

Эти сложные социально-экономические и этнокультурные процессы отразились, в частности, в новой для своего времени терминологии, когда государство или область назывались по имени своего центрального города, а племенные этнонимы были вытеснены этнонимами, происшедшими от названий городов. Так, если в относящихся к IX — первой половине X в. летописных текстах названы поляне, северяне, вятичи, кривичи, словене и пр., то уже в конце X в. вместо них упоминают киевляне (кияне), черниговцы, рязанцы, смольняне, новгородцы и т. д. Древнерусские княжества назывались по именам городов — Киевское, Владимирское, Суздальское, Полоцкое, Галицкое, Рязанское и т. д., так же как и образовавшиеся позже Тверское и Нижегородское, и само Русское централизованное государство в XIV — XV вв. называлось Московским.

Между тем для Западной Европы более типичны названия ранних феодальных государств и областей по древним племенным образованиям — Саксония, Франкония, Швабия или Алемания, Бавария, Аквитания, Бургундия, Ломбардия и т. п. Вопрос об этом отличии заслуживает особого рассмотрения.

Вряд ли с областными названиями и самоназваниями в течение всего средневековья существовали и развивались понятия «Русь», «Русская земля», а с XVI в. — Россия<sup>12</sup> как в территориальном, так и в этническом их значении. Они отражали общность этнической основы различных политических образований. Тверичи, псковичи, новгородцы, москвичи и др. четко осознавали себя вместе с тем русскими, отличая от них этнических соседей. Это самосознание, отвечающее уровню феодальной народности, было присуще как городскому, так и сельскому населению.

Характерно, что названия «Русь», «Русская земля» распространились постепенно на ту территорию, куда перемещался центр формирования народности: для древнерусской народности это было среднее Поднепровье, Киевщина, а междуречье Оки и Волги называлось тогда Залесской землей. В XIV в., когда вокруг Москвы формировалась русская народность, Залесская земля стала именоваться Русской<sup>13</sup>.

В развитии этнокультурных явлений — материальной и духовной культуры, общественного и семейного быта — городское и сельское население тесно сотрудничали. Можно сказать, что большинство явлений возникало первоначально в среде сельского населения, но в дальнейшем серьезно перерабатывалось в городах и снова возвращалось в деревню значительно измененными (в большинстве случаев обогащенными, а иногда — и упрощенными). Такой обмен культурными ценностями, формирование общих явлений культуры в результате взаимосвязей и взаимовлияний происходили непрерывно и сыграли большую роль в этнокультурном развитии народностей и наций. Город, таким образом, не только не разрушал традиционной народной культуры, но, напротив, являлся активным участником ее формирования<sup>14</sup>. Из города сельское население воспринимало элементы или комплексы традиционной культуры в их интегрированных формах, в создании которых зачастую принимали участие специалисты-профессионалы. Мы уже говорили об обогащении ритуала обрядов и праздников. Упомянем о таких явлениях впоследствии прочно вошедших в круг общенародных традиций, как трехкамерный жилой дом, который начали строить в городе на несколько столетий раньше, чем в деревне; разработанные городскими зодчими формы оконных наличников; женская одежда сарафан, созданная

<sup>11</sup> Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. М., 1948, с. 461.

<sup>12</sup> Тихомиров М. Н. Россия в XVI в. М.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 25.

<sup>13</sup> Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества. М.: Наука, 1982, с. 89; Репкин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв. М.: Изд-во АН СССР, 1960, с. 423.

<sup>14</sup> Рабинович М. Г. Город и традиционная народная культура.

ассических форм которого вряд ли могло произойти без участия специалистов — ремесленников-сарафанников, известных в русских городах по крайней мере с XVI в. В то же время в больших и малых русских городах зафиксировано значительное число специалистов по приговлению пищи, например хлебников, калачников, блинников, кислошковых и пр., что вызывало к жизни новые виды печений, варений, солений и т. п., изготовлявшихся на основе традиционной народной кухни с едением значительных усовершенствований<sup>15</sup>.

В развитии духовной культуры ведущая роль городов проявлялась еще ярче, специализация была еще глубже. Достаточно назвать грамотность вообще, переписку книг<sup>16</sup>, книгопечатание, разные виды искусства — живопись, скульптуру, театр и музыку. Увеличение роли специалистов обуславливалось развитием разделения труда вширь и вглубь. Важно и то, что горожане, хотя и оставались феодально-эксплуатируемыми, пользовались повсюду относительно большей, чем крестьяне, личной свободой; это также стимулировало этнические процессы. Если в Западной Европе сам факт проживания в городе делал человека лично свободным (сразу или по прошествии определенного срока, например года и одного дня — *Stadtluft macht frei, Tag und Jahr macht frei*), то в средневековой Руси формы личного освобождения были не так радикальны, однако тоже существовали<sup>17</sup>.

В эпоху капитализма роль города в развитии этнических процессов особенно велика. Важнейшее условие образования капиталистической формации — сложение внутреннего рынка страны — тесно связано с городами. Будучи центрами местных рынков, города активно содействуют образованию общегосударственных внутренних рынков (в нашем случае — теросийского рынка).

В городах наиболее интенсивно идет и развитие новых классов-ангаонистов — пролетариата и буржуазии, без которых немыслима буржуазная нация.

Все эти процессы, связанные со становлением и развитием капиталистической формации, а в области этнической — с образованием буржуазных наций, в свою очередь способствуют росту городов и городского населения. В эпоху капитализма впервые в истории человечества городское население в промышленно развитых странах становится преобладающим численно. Это особенно ясно видно из статистических материалов последних 40 лет, относящихся к зарубежным странам. В 1940 г., к началу второй мировой войны, городское население преобладало в Зарубежной Европе (53%) и в Северной Америке (58%). За следующие 10 лет в разоренной войной Европе доля городского населения даже уменьшилась (52%), в Северной же Америке увеличилась (до 70%). Почти так же высок (63) стал процент городского населения в Австралии и Океании. Еще через 20 лет горожане составили большинство населения в Латинской Америке (в 1970 г. — 57%). К этому времени в Зарубежной Европе их было уже 62%, в Северной Америке — 74, в Австралии и Океании — 70%. Рост доли горожан в названных регионах продолжается, хотя темпы его неодинаковы: в 1978 г. в Зарубежной Европе было 65% горожан, в Северной Америке — 74 (без изменений), в Австралии и Океании — также 74, в Латинской Америке — 60%. В Зарубежной Азии, где общий процент горожан относительно невелик (27), есть такие высокоурбанизированные страны, как Япония (75,9% горожан) и Ирак (65,9%). В целом в мире за рассмотренный период процент горожан вырос более чем в 1,5 раза (с 25 в 1940 г. до 39 в 1978 г.)<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Засурцев Н. И. Усадьбы и постройки древнего Новгорода. — Материалы и исследования по археологии СССР, 1963; № 123; Рабинович М. Г. Русское жилище XIII—VII вв. — В кн.: Древнее жилище народов Восточной Европы. М.: Наука, 1975, с. 189, 21; Чечулин Н. Д. Города Московского государства в XVI в. СПб., 1889, с. 339.

<sup>16</sup> Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М.: Изд-во АН СССР, 1956, с. 261—273.

<sup>17</sup> Тихомиров М. Н. Средневековая Москва в XIV—XV вв. М.: Моск. рабочий, 1957, с. 93—94.

<sup>18</sup> Брук С. И. Указ. раб., с. 66, табл. 15.



Однако численное преобладание горожан не является непременно следствием развития капитализма. Достаточно сказать, что в СССР не ранее образовали большинство населения только в период развития социализма. А капиталистическая Россия была страной деревенской, где горожане составляли, как уже говорилось, всего 18%.

Для капиталистической формации характерны чрезвычайно острые противоречия между городом и деревней. Противоречия эти, однако, отнюдь не исключают тесных контактов. Напротив, обезземеливание крестьянства, его пролетаризация обуславливают постоянный интенсивный приток сельского населения в города (как стационарные переселения, так и «маятниковую миграцию»), следствием чего является усиление обоюдных этнокультурных влияний города и деревни, а развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве ведет к притоку деревню капиталов и капиталистов-предпринимателей, т. е. опять-таки к усилению регулярных контактов, взаимосвязей и взаимовлияний города и деревни.

В этом аспекте особую важность приобретает такая специфическая капиталистическая форма миграции, как регулярный отход сельского населения на заработки в город на более или менее длительный срок и регулярное возвращение его в деревню. Отходники (приходящие в город иногда и семьями) являются чрезвычайно активным элементом урбанизации, перенося в сельскую местность не только приобретенные ими в городе товары, но и культурные навыки, даже общественные взгляды. В числе последних — такой важный для этнического развития фактор, как этническое самосознание. Если при всех общественно-экономических формациях город отличался от сельских поселений более сложным этническим составом<sup>19</sup>, то в эпоху капитализма его этническая мозаичность значительно увеличивается. И каждый отходник, встречаясь в городе с людьми других национальностей, ярче ощущает собственную этническую принадлежность, выступающую по отношению к областной принадлежности на первый план. Вместе с тем, знакомясь с более широким кругом людей, принадлежащих к различным этносам, различным социально-профессиональным группам, тот же отходник чувствует общность социальных интересов. Все это способствует ликвидации этнической и конфессиональной обособленности, выработке этнической и этнокультурной терпимости, что также важно для развития этнических процессов. Возникшие в городе взаимовлияния продолжают и в каких-то случаях даже усиливаются потом, с возвращением отходников в деревню.

Капиталистическая формация ознаменована, как уже говорилось, значительной этнической интеграцией. На смену феодальной народности приходит капиталистическая нация. Вместе с тем капитализм усиливает нивелировку местных этнографических особенностей. Нужно отметить, что это явление свойственно вообще межэтнической интеграции, и, например, феодальная народность образуется при непременно условии преодоления культурной изолированности племен. Но в период капитализма с присущим ему бурным развитием промышленности и торговли эти процессы значительно активизируются. И если, как уже сказано, капиталистические отношения проникают и в деревню, то особенно яркое выражение они находят в городах, влияние которых на этнические процессы в стране и мире в целом еще более возрастает.

В ходе формирования и развития социалистических наций влияние города и самой урбанизации на этнические процессы усиливается и приобретает новые черты.

В СССР огромный размах индустриализации и культурной революции, связанный с социалистическим переустройством, приводит к значительно более сильной, чем ранее, концентрации населения в городах и вокруг городов, к возникновению новых городских поселений. Удельный вес горожан в населении страны увеличился с 18% в 1913

<sup>19</sup> Рабинович М. Г. К определению понятия «город». — Сов. этнография, 1983, №

18 г. до 62% в 1979 г.<sup>20</sup>. Это само по себе способствует активизации современных этнических процессов.

Как уже говорилось, город принадлежит к наиболее ярко выраженным зонам активных межэтнических контактов. Этнические процессы здесь протекают значительно интенсивнее, чем в сельской местности, в частности, из-за особенностей расселения этнических групп. В период построения социализма исторически сложившаяся национальная мозаичность городов еще более усиливается, чему способствуют ликвидация в нашей стране национальной розни, снятие конфессиональных противоречий главным образом в связи с победой атеизма и развитием взаимной терпимости. Межреспубликанская миграция, крупные всесоюзные стройки, обмен производственным и культурным опытом в ходе социалистического строительства и другие виды экономических, культурных и других общественных связей, характерные для советской действительности, непосредственно сказываются как на национальном составе горожан, так и на их культуре и быте.

Интенсивность и характер межнационального общения во многом определяются средой, в которой оно происходит. Благоприятные условия для контактов складываются в трудовых коллективах с национально-смешанным составом. Участие в общем жизненно важном деле, взаимная помощь и доверие, необходимые для его успешного выполнения, зачастую служат основой для развития приятельских и дружеских отношений в быту. Пробуждение интереса к особенностям жизни других народов приводит к культурно-бытовым заимствованиям и взаимобмену. Межличностные контакты переплетаются с межгрупповыми, что еще более усиливает этнокультурный обмен через совместное проведение досуга, встречи по интересам и т. п., как это наблюдается, например, в городах Белоруссии<sup>21</sup>. Наиболее «открытыми» для взаимовлияний оказываются такие культурно-бытовые сферы, как народная эстетика, праздничная культура, пища. Друзья, товарищи по работе, участники кружков художественной самодеятельности, соседи, принадлежащие к разным национальностям, в процессе общения познают и заимствуют отдельные элементы инациональной культуры в соответствии со своими интересами, вкусами и возможностями. Один из образцов межэтнического культурного взаимопроникновения можно найти в праздничном быту тех русских городов, где в тесном контакте с русскими проживают компактные группы татарского населения, как например, в Нижнем Тагиле. Здесь в летнее время отмечают веселый праздник «сабантуй» (некогда земледельческий праздник, праздник плуга)<sup>22</sup>. Теперь он содержит отдельные элементы и татарского, и русского празднества; в нем принимает участие все население города независимо от национальной принадлежности.

В развитии межнациональных связей в СССР, приводящих, наряду с другими факторами, к нарушению известной замкнутости культуры народов в национальных рамках, городу принадлежит важная роль и как распространителю интернационалистских идей с помощью современных технических средств массовой коммуникации. В ходе этой пропаганды ведется, в частности, целенаправленное ознакомление широких слоев населения страны с достижениями национальных профессиональных культур и с лучшими прогрессивными культурно-бытовыми традициями родственных и неродственных народов. Как они осваиваются — тема особая; здесь же отметим, что город в условиях социализма способствует развитию такого характерного для современности процес-

<sup>20</sup> Брук С. И. Указ. раб., с. 192; Современные этнические процессы в СССР. М.: Наука, 1977, с. 135, 155; Гурвич И. С. Особенности современного этапа этнокультурного развития народов Советского Союза.— Сов. этнография, 1982, № 6, с. 17.

<sup>21</sup> Этнические процессы и образ жизни (на материалах исследования населения городов БССР). Минск: Наука и техника, 1980, с. 88—92, 156—160 и др.

<sup>22</sup> Крулянская В. Ю., Будина О. Р., Полищук Н. С., Юхнева Н. В. Культура и быт горняков и металлургов Нижнего Тагила. 1917—1970. М.: Наука, 1974, с. 141—142.

са, как этнокультурное сближение и выработка общих черт, свойственных образу жизни советского народа в целом.

Эту миссию город выполняет не только вовлекая в активные межэтнические интеграционные процессы все увеличивающуюся массу горожан, но и усиливая свое влияние на село.

В социалистическом обществе роль города как центра ближайшей и более или менее отдаленной периферии, жители которой в разной степени втянуты в его жизнедеятельность, продолжает возрастать. Для этнических процессов большое значение приобретают своеобразно складывающиеся отношения между городом и деревней. Характерное для социалистической нации изживание противоположности между городом и деревней вследствие отмирания антагонистических классов, развитие города и села на единой социально-экономической основе и, более того, сознательное подтягивание села по уровню жизни к городу — все это непосредственно активизирует обмен культурными ценностями, всегда имевший место между этими структурными единицами общества.

Взаимосвязи и взаимовлияния города и села в настоящее время осуществляются по разным каналам. Особенно действенны для этнокультурных преобразований те из них, которые приводят к непосредственному общению людей. Основы таких связей заложены в значительной мере в самом составе городского населения. Известно, что характерный для послевоенного времени бурный рост городов, выразившийся в увеличении численности их населения (к 1979 г. почти вдвое по сравнению с 1940 г.), произошел в основном за счет бывшего сельского населения, либо переехавшего в город, либо ставшего городским в результате включения некоторых сельских поселений в черту города или же превращения их в города и поселки городского типа<sup>23</sup>. В результате, как было уже отмечено, в 1977 г. более половины жителей городов средней полосы России составляли сравнительно недавние выходцы из села<sup>24</sup>.

Бывшие сельские жители быстро адаптируются к городским условиям, но постоянный прилив значительной массы их не может не отражаться на этнографической характеристике города, поскольку до сих пор еще ощущаются различия между городом и деревней в уровне образования, потребления профессиональной культуры, приверженности традиционным формам бытовой культуры. Фронт взаимопроникновения городского и сельского компонентов национальной культуры расширяется благодаря оживленным многообразным семейно-родственным, соседским и земляческим связям различных групп городского населения с селом, что в свою очередь является в значительной степени следствием роста городов за счет сельских переселенцев. Связи эти выражаются в систематическом личном общении горожан и сельских жителей в сферах практической деятельности, досуга, праздничных обычаев и обрядового быта.

Еще более тесные связи города с селом осуществляются через так называемых маятниковых мигрантов, которые живут в селе, а работают в городе. Хотя значительная их часть вне работы ориентирована на сельские интересы (общественное и личное хозяйство, родственные и соседские взаимоотношения, общественный быт села), эти «полугорожане» также включены в процесс активного культурного обмена между городом и деревней.

В настоящее время в связи с дальнейшей механизацией сельского хозяйства и строительством специализированных агропромышленных комплексов появился новый вид маятниковых мигрантов — горожане постоянно работающие в сельской местности трактористами, комбайнерами, крановщиками, мастерами механизированной дойки и т. п. Чаще это встречается в малых городах, где и теперь еще ощущается особенно тесная связь с селом и где имеющиеся промышленные предприятия всегда полностью удовлетворяют запросы местных жителей.

<sup>23</sup> Брук С. И. Указ. раб., с. 192.

<sup>24</sup> Анохина Л. А., Шмелева М. Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. М.: Наука, 1977, с. 36—37.

Особое значение для сельско-городских взаимоотношений имеет все более развивающееся шефство — особый вид общественной деятельности по оказанию городом бескорыстной помощи деревне в разных областях жизни. Через него осуществляется мощное влияние города на село, на его экономику, культуру и быт. Одновременно шефство служит средством обмена культурными ценностями.

Все это создает благоприятную обстановку для интеграции культуры города и села, укрепляющей единство социалистических наций. Ведущая роль в этом процессе принадлежит городу, который в социальной и культурной жизни опережает и стимулирует село. В свою очередь село принимает деятельное участие в формировании города и его многообразном функционировании. Оно и теперь продолжает играть роль питающей развитие национальной культуры среды.

С городом сопряжено распространение многообразной профессиональной культуры, которая занимает все большее место в общем фонде национальной культуры и в значительной степени определяет дальнейшее развитие этносов и этнических процессов. Именно в городе сложились различные культурно-бытовые формы, имеющие относительно широкий ареал в пределах и за пределами определенного этноса. Формирование их связано не с домашней семейно-бытовой средой, как это было ранее, а с различными отраслями народного хозяйства и бытового обслуживания (строительство домов, изготовление одежды, производство пищевых продуктов, устройство многих массовых праздников и торжеств). Использование при этом достижений науки и техники, профессионального труда различных специалистов приводит к замене многих старых форм новыми, к совершенствованию народной бытовой культуры, быстрому ее прогрессу. Отсюда бурное обновление жилого фонда, введение в строительную практику долговечных материалов, обеспечение жилища всеми видами удобств, создание новых моделей одежды, отвечающих современному образу жизни, расширение круга пищевых продуктов и блюд, улучшение технологии приготовления пищи, увеличение доли культурного и общественного досуга у всех групп населения, усиление гражданского начала и эмоциональной выразительности в праздниках. Все это имеет большие и далеко не однозначные последствия для этнокультурного развития народов и в целом для этнических процессов (как благоприятные, так и неблагоприятные).

Так, в условиях индустриализации и массового производства предметов культурно-бытового назначения в городе, а вслед за ним и в селе происходит известная их стандартизация, приводящая к нивелировке быта, к его как бы этническому обезличиванию. Процесс этот в СССР начался давно, особенно у восточнославянских народов, но в последние десятилетия в ходе научно-технического прогресса и сельско-городской интеграции резко усилился. Наиболее заметна «одинаковость» в материальной культуре. Правда, еще в период господства архаической традиции (в эпоху феодализма, а отчасти и капитализма) были определенные элементы нивелировки — распространение сравнительно немногочисленных типов, например, внутренней планировки жилища, женской и мужской одежды. Жесткое следование таким образцам в рамках локальных групп и даже этносов создавало порой некоторое однообразие. В настоящее время стандартизация пошла еще дальше. Сходство в планировке поселений, массовое возведение типовых зданий, оборудование квартир стандартной мебелью, широкое распространение одинакового готового платья, тканей, потребление одних и тех же пищевых изделий и т. п. приводят к несравненно большему однообразию материального быта в пределах России, Белоруссии, Украины и многих других регионов страны. Меньше стандартность распространена в области духовной культуры, где она связана с выработкой новых форм для массового применения (например, в праздниках, обрядах, в некоторых видах проведения досуга).

Обычно стандарт, шаблон в современной бытовой культуре оцениваются односторонне — отрицательно. Между тем они оказывают и поло-

жительное влияние на протекающие в настоящее время этнические процессы, облегчая адаптацию населения к иноэтнической, иносоциальной среде. Массовое производство совершенно одинаковых предметов материальной культуры, распространение одинаковых форм духовной культуры предусматривают вместе с тем создание значительного числа типовых вариантов, что дает возможность выбрать те из них, которые наиболее отвечают индивидуальным вкусам и склонностям<sup>25</sup>. В условиях социалистической действительности выбор этот освобожден от влияния социальных, конфессиональных и национальных перегородок, как это было в прошлом (и сохраняется во многих капиталистических странах теперь), и потому в целом объективно отражает как развитие межэтнической интеграции, так и укрепление этнокультурного единства народов т. е. главные этнические процессы, характерные для народов СССР в настоящее время.

В укреплении этнического единства на современном этапе город как уже говорилось, также принадлежит важная роль. Город — центр национальной культуры; вырабатывая то общее, что роднит разные народы, он участвует и в развитии ее специфических, традиционных форм. Как показывают исследования, в условиях современного города многие сложившиеся ранее особенности бытовой культуры не угасают, а, напротив, развиваются и обогащаются<sup>26</sup>. Именно здесь в значительной мере происходит сложный процесс трансформации национальных традиций, обновления, приспособления их к изменениям в социально-экономической и культурной жизни.

Так, город, являясь источником многих новаций, не только не «глотит» национальную традиционность, но как бы культивирует ее, отбрасывая или перемещая на периферию бытовой сферы архаическое, внеся в старые традиции необходимую для их дальнейшей жизни свежую струю, создавая новое на устоявшейся, привычной основе.

Для развития этого процесса большое значение имеет сельско-городская интеграция. Материальная и духовная культура села, менее, чем городская, подвержена нивелировке, она более стойко сохраняет многие ранее сложившиеся формы. В селе, например, господствует индивидуальное жилищное строительство. И хотя использование в нем стандартных материалов и типовых планировок, а также начавшееся во многих местах возведение зданий индустриальным способом несколько унифицируют сельское жилище, однако в целом не лишают его своеобразия (регионального, общенационального).

Одежда и пища в селе при всем сходстве с городскими продолжают сохранять отличительные черты, связанные с особенностями сельского образа жизни и т. п.

Укрепление связей между городом и селом, характерное, как уже говорилось, для современности, приводит к известному усилению традиционности городского быта. Перенесение в город из села жилых домов, убранства, предметов быта, семейных обычаев и обрядов, постоянное напоминание в семейных рассказах-хрониках о традициях, об овевинных романтикой делах предыдущих поколений близких часто ведет к восстановлению в быту горожан забытых, но оказавшихся приемлемыми в настоящее время явлений традиционной культуры. В целом благодаря этим связям интерес к традициям постоянно поддерживается.

В основном взаимообмен культурными ценностями между городом и селом происходит в рамках одного местного варианта культуры, так как наиболее тесные связи город поддерживает главным образом с ближайшей сельской округой. Но вместе с тем в город, особенно крупный или новый, возникший в результате всесоюзной стройки, переезжают жители из других, более или менее отдаленных районов. И хотя консолидационные процессы у восточнославянских народов в целом завершены, все же специфические черты этнических и этнографических

<sup>25</sup> Чистов К. В. Традиция и вариативность. — Сов. этнография, 1983, № 2, с. 20—21.

<sup>26</sup> Будина О. Р., Шмелева М. Н. Традиция в культурно-бытовом развитии современного русского города. — Сов. этнография, 1982, № 6, с. 28 сл.

групп, столь характерные в прошлом, например, для русских (в языке, обычаях и обрядах, в предпочтении определенных видов пищи, украшений жилища и т. п.), продолжают сохраняться. В городе, таким образом, происходит на новом уровне известное смешение разных вариантов бытовой национальной культуры, способствующее усилению культурной однородности нации в стране развитого социализма<sup>27</sup>. Характер изменений определяется конкретными условиями (особенностями формирования населения города, уровнем развития общественной и культурной жизни, преобладанием стихийного или организованного начала в выработке общих вариантов и т. п.).

Практика полевой этнографической работы в городах Центральной России показывает, что здесь еще можно встретить столкновение различных областных традиций, например, в свадебном обряде, которое обычно заканчивается принятием господствующего в городе варианта и в том случае, когда одна из роднящихся семей местного происхождения, и в том, когда и жених и невеста из семей, приехавших в город из разных областей или районов (например, в г. Владимир из Орловской и Смоленской областей)<sup>28</sup>.

Порой обряд претерпевает изменение, т. е. при господстве местного варианта включает некоторые черты других областных вариантов. При этом иногда происходят споры и разногласия по поводу наиболее правильного решения того или иного вопроса.

В настоящее время историческая роль города в сохранении и развитии народных традиций, как бы цементирующих этнос, получила новое выражение. За последние примерно 20 лет в нашем обществе в условиях все большей индустриализации, подъема культуры, расширения бытового обслуживания населения и связанной с этим модернизации бытовой культуры сильно возрос интерес к народным традициям. В использовании народного опыта в современной жизни участвуют планирующие и творческие организации. Элементы традиционного народного творчества используются при изготовлении новых образцов современной одежды, украшений, предметов домашнего убранства, а также при создании современных праздников, новых обычаев и обрядов. При поиске (стихийном или сознательном) наиболее адекватной современным запросам традиционности наблюдаются и сохранение или возрождение, так сказать, натуральных традиций, и своеобразное конструирование новых бытовых форм по традиционным мотивам.

Подобное творчество нашло выражение и в организации различных народных (фольклорных) хоров и других ансамблей, и в создании обобщенных символически-национальных форм в таких областях народного быта, как сезонные праздники, многие праздничные увеселения, народный сценический костюм и т. п. Интерес в этом плане представляет проведение Праздника русской зимы, созданного с использованием традиций карнавальской культуры, характерной для старинной масленицы, и получившего широкое распространение среди русских как в городе, так и в селе. Главными персонажами праздничной игры здесь выступают Дед Мороз (или Мороз) и Снегурочка. Эти популярные образы-маски как бы сошли со страниц русской литературы — известного произведения А. Н. Островского «Снегурочка», навеянного в свою очередь русским фольклором, где они наделены волшебной силой поощрять добро и наказывать зло (так их трактуют и сейчас). В театрализованном представлении Дед Мороз и Снегурочка действуют вместе с современными персонажизированными образами (Урожай, Кукуруза, Космонавт) в атмосфере, насыщенной подчеркнута старинными «приметами» («государевы указы», «гонцы», «бояре»)<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983, с. 354.

<sup>28</sup> Архив Ин-та этнографии АН СССР. Материалы Городского отряда Восточно-славянской экспедиции (далее АИЭ МГОВЭ), 1980, тетр. 3, с. 71—72 (г. Владимир); 1983, тетр. 3, с. 87—88 (г. Галич Костромской обл.), и др.

<sup>29</sup> Будина О. Р., Шмелева М. Н. Общественные праздники в современном быту русского городского населения. — Сов. этнография, 1979, № 6, с. 12—13.

В спортивном зимнем празднике, проводящемся в некоторых средних русских городах (например, в г. Солигаличе Костромской области), роль положительных героев играют также знаменитые былинные богатыри (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович), а сопровождающих их скomorохи<sup>30</sup>. Русский колорит праздника не мешает его участникам лакомиться наряду с блинами также пельменями, варениками, беляшами, чебуреками, шашлыком.

В Костроме местом праздничных гуляний служит сказочный город Берендеевка. Его образуют декорации, созданные на Мосфильме для киноленты «Снегурочка» и подаренные городу после съемок. Берендеевка органично вошла в праздничный быт костромичей, способствуя сохранению и развитию его национальной специфики.

Подобные явления наблюдаются и в Белоруссии, где возрождаются на новой идеологической основе щедровка, масленица, где любимыми персонажами праздничной игры выступают давно знакомые литературные герои — пан Быковский, Нестерка<sup>31</sup>.

На Украине также стали проводиться новые «щедрованья». Рядом с Дедом Морозом и Снегурочкой на новогоднем празднике выступают традиционные Меланка, Мехоноша, коза, конь, медведь. Снова становится популярной «троиста» музыка<sup>32</sup>. Новые праздники, созданные в городе под большим влиянием старых традиций, лучше сохраняющихся в селе, из городского быта переходят в сельскую среду, приспосабливаются к ней, «обрастают» чисто местными чертами, становясь достоянием национальной культуры в целом.

Все это — так называемые вторичные формы традиционной культуры включенные в систему культуры современной; к ним относятся и широко известные во многих странах Европы разные виды фольклоризма. В подобном творчестве, на наш взгляд, в сложившихся условиях проявляется своего рода этнокультурная консолидация, отражающая этнические процессы на уровне самосознания. Стремление найти общие, близкие всем образы и формы для эмоциональных проявлений в духовной и материальной культуре укрепляет внутриэтнические связи, как территориальные, так и временные. Характерно в этом плане суждение бывших галичан, живущих теперь в различных районах страны. Увидев по телевизору выступление фольклорного ансамбля «Галичаночка», они писали: «Услышали родные песни и как будто побывали на родине»<sup>33</sup>.

Стремление горожан найти современные национальные и национально-маркированные элементы бытовой культуры обусловлено этнодифференцирующей функцией этих элементов. В условиях оживленных и расширяющихся межнациональных связей и общения внутри стран приводящих к формированию интегрированных форм явлений, свойственных всему советскому народу (что составляет ведущую тенденцию современных этнических процессов в СССР)<sup>35</sup>, подобное стремление является как бы второй стороной медали.

Таким образом, и в наше время город остается важным фактором этнокультурной интеграции, усиления этнокультурных связей как внутри одного этноса, так и между различными этническими группами. Роль города в процессе образования и развития нации (в данном случае социалистической) может быть даже большей, чем в предшествующих исторических периоды.

<sup>30</sup> АИЭ МГОВЭ, 1983, тетр. 3, с. 16, 19 (г. Солигалич Костромской обл.).

<sup>31</sup> Этнические процессы и образ жизни..., с. 179—184.

<sup>32</sup> Радянські свята і обряди в комуністичному вихованні. Київ, 1978, с. 180—181.

<sup>33</sup> Чистов К. В. Фольклор и культура этноса.— Сов. этнография, 1979, № 1, с. 10—11.

<sup>34</sup> АИЭ МГОВЭ, 1983, тетр. 4, с. 77 (г. Галич Костромской обл.).

<sup>35</sup> Бромлей Ю. В. Указ. раб., с. 343.

## О СООТНОШЕНИИ ОБЩИХ И ЛОКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

[на примере балканских этнических групп  
на Украине и в Молдавии]

Разработка проблемы культурной традиции, предпринятая в последнее время и отраженная, в частности, в дискуссии в журнале «Советская этнография»<sup>1</sup>, способствует исследованию этнографических сюжетов в аспектах, выявляющих механизм формирования и действия этой традиции.

Этнографическое изучение народной культуры и быта всегда было направлено на выявление общего и особенного в культуре этнических общностей, взаимодействия их культур и на определение генезиса отдельных культурных явлений. Поэтому поднимавшийся в дискуссии вопрос о дифференцировании традиций и их компонентов на «общие» и «локальные»<sup>2</sup> не является принципиально новым для этнографов. Вместе с тем осмысление механизма традиции и заострение внимания на этносительности понятий «общая» и «локальная» традиции придают, на наш взгляд, новый акцент анализу этнографических фактов и могут быть полезными для уяснения формирования культурных традиций и их вариативного функционирования.

Теоретическое различение «общих» и «локальных» традиций в принципе верно, однако оно часто оказывается весьма условным; конкретный анализ явлений бытовой культуры обнаруживает живую и динамичную картину их взаимосвязи. Происходящая в пространственно-временных границах смена культурно-бытовых ситуаций нередко ведет к изменению характера традиции. Так, например, локальная традиция при соответствующих условиях может превратиться в общую, и, наоборот, общая — приобрести локальный характер. Определенная условность разграничения традиций объясняется, видимо, тем, что в качестве общих и локальных могут выступать традиции историко-культурных общностей как разного таксономического уровня (например, полиэтничные регионы различных масштабов), так и разного вида (например, этническая группа и историко-этнографическая область)<sup>3</sup>. Условность эта усугубляется и недостаточной разработанностью терминологического аппарата, что особенно ощущается при необходимости обозначить сложные культурные связи.

В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть судьбы некоторых традиций у балканских этнических групп (потомков выходцев с Балканского полуострова), живущих на Украине и в Молдавии, — болгар, греков, гагаузов, албанцев<sup>4</sup>. При этом, учитывая сказанное об условности

<sup>1</sup> Маркарян Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции. — Сов. этнография, 1981, № 2; здесь же и в № 3 см. обсуждение статьи Э. С. Маркаряна.

<sup>2</sup> Сов. этнография, 1981, № 2, с. 84—86.

<sup>3</sup> О многообразии историко-культурных общностей и их соотношении см.: Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983, ч. 1, очерк 4-й — Основные формы этноса. Иерархия этнических общностей.

<sup>4</sup> При написании статьи использованы полевые материалы автора, собранные в Донецкой, Запорожской, Одесской областях УССР в 1969—1975 гг., и имеющаяся этнографическая литература. О бытовой культуре этих групп см., например: Мошков В. А. Гагаузы Бендерского уезда. — Этнографическое обозрение (далее — ЭО), М., 1900, № 1; 1901, № 1, 2, 4; 1902, № 3; Державин Н. С. Болгарские колонии в России (Таврическая, Херсонская и Бессарабская губернии), т. 1. — В кн.: Сборник за народни умотворения и народописъ, кн. 29, София, 1914; т. II, Петроград, 1915; его же. Албанцы-армауты в Придолье. — Сов. этнография, 1948, № 2; Маркова Л. В. Поселения и жилище болгар-переселенцев в Бессарабии. — Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР. Изд-во АН СССР, 1955, в. 24; Зеленчук В. С., Филимонова М. Ф. Национальная гагаузская одежда и ее бытование в настоящее время. — В кн.: Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдавской ССР. Кишинев: Картя Молдовеныяскэ, 1963; Маркова Л. В. Некоторые тенденции развития культуры и быта болгар юго-западных районов СССР (к вопросу об устойчивости этнических традиций). — В кн.: Конгресс балканских исследований. Сообщения советской делегации. М.: Наука, 1966;



разграничения традиций, мы считаем полезным сосредоточить внимание на выявлении специфики той или иной традиции и масштабов ее развития.

Хронологически анализ ограничивается XIX—XX вв., т. е. временем после переселения изучаемых групп в пределы нашей страны, а территориально — местами их компактного проживания в Одесской (болгары, гагаузы, албанцы), Донецкой (греки), Запорожской (болгары, гагаузы, албанцы), Кировоградской (болгары) областях Украинской ССР и в южных районах Молдавской ССР (болгары, гагаузы).

Обращение к этим этническим группам для темы нашей статьи представляет особый интерес. Все они на протяжении длительного времени вовлекались в различные межэтнические контакты, что обуславливало активное взаимодействие культурных традиций. Кроме того, при несомненном генетическом различии рассматриваемых групп, в их этнокультурном развитии были объединяющие моменты. Прежде всего, все они — выходцы с Балканского полуострова, — специфической историко-культурной области. Это позволяет предполагать определенную общность унаследованного культурного фонда, восходящего к тем временам, когда их предки были обитателями Балкан. В разное время и в силу различных причин эти группы оказались на территории нашей страны: греки — последней четверти XVIII в. переселились в Приазовские степи из Крыма; болгары, гагаузы и албанцы в основном в начале XIX в. пришли в южную Бессарабию из Болгарии, а затем, в 1860-е годы, частично передвинулись в более восточные районы. При этом албанцы прожил в Болгарии по соседству с болгарами и гагаузами более двух столетий после того, как покинули свою родину<sup>5</sup>. Важно, что оторвавшись при этом или иных обстоятельствах от основного этнического массива, рассматриваемые группы в итоге оказались в иноэтничной среде, причем соседями их были преимущественно украинцы и русские, а в Бессарабии также молдаване. Это в свою очередь создавало возможности формирования у выходцев с Балкан общих традиций в новой для них ситуации. И, наконец, на современном этапе изучаемые группы развиваются в условиях многонационального социалистического государства. Значительные изменения в их культуре связаны со все усиливающимися интеграционными процессами, происходящими как на Украине и в Молдавии, так и в масштабах Советского Союза в целом.

*Демиденко Л. А.* Культура и быт болгарского населения в УССР (на материалах изданных Болградского района Одесской области). Киев: Наук. думка, 1970; *Марунович М. В.* Традиционная свадебная обрядность у гагаузов Молдавской ССР. — Этнография и искусство Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1972; *Маркова Л. В.* Типы болгарского жилища в Прутско-Днестровском междуречье. — Там же; *ее же.* О проявлениях этнической специфики в материальной культуре болгар. — Сов. этнография, 1974, № 1; *Наулко В. И.* Развитие межэтнических связей на Украине (историко-этнографический очерк). — Киев: Наук. думка, 1975; *Иванова Ю. В.* Влияние социально-экономических условий и этнических традиций на одежду сельских жителей (по материалам исследования греческого населения Донецкой области Украинской ССР). — Сов. этнография, 1976, № 2; Культурно-бытовые процессы на юге Украины. М.: Наука, 1979 (см. стр. 10); *О. Р. Будины, Ю. В. Ивановой, О. Н. Ксенофонтовой-Петренко, Л. В. Марковой, М. В. Маруневич); Будина О. Р.* Жилище болгар, греков, албанцев. — В кн.: Материальная культура компактных этнических групп на Украине. Жилище. М.: Наука, 1979; *Курогло С. С.* Семейная обрядность гагаузов в XIX — начале XX в. Кишинев: Штиинца, 1980; *Маруневич М. В.* Поселения, жилища и усадьба гагаузов южной Бессарабии в XIX — начале XX века. Кишинев: Штиинца, 1980; *Иванова Ю. В.* Тенденция развития этнических групп в многонациональной среде (на примере албанских поселений на юге Украины в XIX—XX вв.). — Сов. этнография, 1981, № 4, и др.

<sup>5</sup> Здесь мы не останавливаемся подробно на вопросах переселения, так как они рассматривались в специальных трудах, см., например: *Клаус А.* Наши колонии. Сб. 1869; *Державин Н. С.* Указ. работы; *Дружинина Е. И.* Южная Украина в 1800—1820 гг. М.: Наука, 1970; *Мещеряков И. И.* Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сел в южной Бессарабии (1808—1856). Кишинев, 1970; *Кабузан В. М.* Население Бессарабской области и левобережных районов Приднестровья (конец XVIII — первая половина XIX в.). Кишинев: Штиинца, 1974; *Наулко В. И.* Указ. работы и др. Кроме того, вопросы переселения так или иначе затрагивались во всех этнографических работах, посвященных этим народам (см. прим. 4).

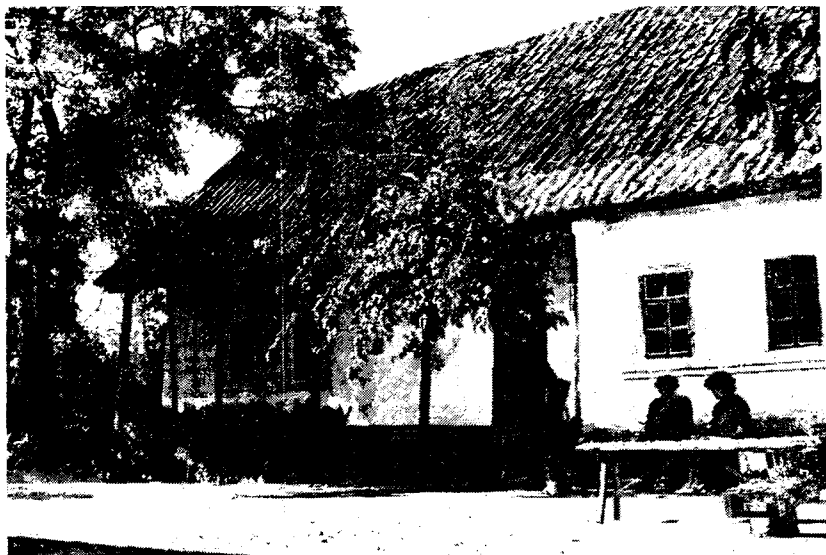


Рис. 1. Дом с галереей из сырцового кирпича, обмазан глиной. Вторая половина XIX в. (с. Ботицево Запорожской обл.). Фото А. В. Оськина, 1973 г.

Традициям, складывающимся в материальном быту, примерами из которого мы будем в основном пользоваться, обычно свойственна региональная специфика. Это в значительной степени относится к традициям народного жилища, конструкции и формы которого во многом определяются природными условиями. Если обратиться к ранним жилищам переселенцев — болгар, греков, гагаузов, албанцев — можно увидеть, как они, оказавшись в новых условиях, стремились воспроизвести постройки, известные им по прежнему месту обитания. В частности, этим определяется, на наш взгляд, и значительное разнообразие ранних жилищ. На новом месте сооружались дома наземные и углубленные в землю, со стенами из плетня, глины, пластин дерна и др., что отражало сложившиеся прежде и хорошо известные переселенцам традиции домостроительства. Интересно, что некоторые традиции имели широкие ареалы во времени и пространстве. Это касается архаичных форм жилищ (например, полуземлянка, жилище из дерна), приемы сооружения которых, находясь как бы в арсенале народной памяти, выявляются в трудные моменты жизни, каким в данном случае было переселение.

Вместе с тем в числе ранних жилищ были и сложные для сооружения постройки. Переселенцы возводили их, не взирая порой на неблагоприятные местные условия. Так, несмотря на недостаток древесного материала, болгары в Бессарабии некоторое время строили плетневые дома, бытовавшие на их родине<sup>6</sup>. А греки, переселившиеся из Бахчисарайского района Крыма, делали срубы из древесных пластин, также известные по прежнему месту обитания<sup>7</sup>. Деревянных домов было немного, так как сооружение их обходилось дорого и было нецелесообразным в степных условиях. Однако в первой половине XIX в. такие дома все же возводились, ибо они отвечали стереотипному представлению определенной группы поселенцев о наилучшем жилище.

В пределах нашей страны у всех выходцев с Балкан как в Приазовье, где греки оказались в конце XVIII в., а болгары, гагаузы, албанцы — в 1860-е годы, так и в южной Бессарабии, куда основной поток задунайских переселенцев прибыл в начале XIX в., появились новые формы жилого дома. Сложившееся здесь жилище не повторяло в полном объеме

<sup>6</sup> Маркова Л. В. Поселения и жилища болгар-переселенцев в Бессарабии, с. 6.

<sup>7</sup> Будина О. Р. О некоторых особенностях развития жилища греков Приазовья. — В кн.: Итоги полевых работ Института этнографии в 1971 году, II. М.: Наука, 1972, с. 197.

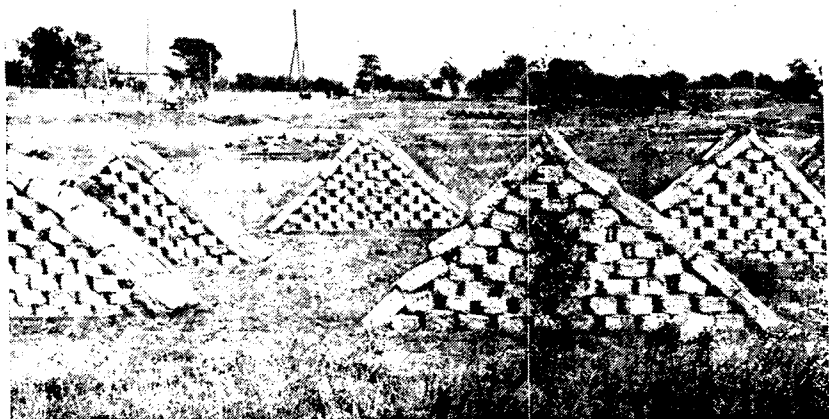


Рис. 2. Сушка кирпича для будущей постройки (с. Строгановка Запорожской обл.). 1973 г.

ни одного из жилищ, бытовавших на родине переселенцев или в местах их прежнего жительства. Новые традиции домостроительства явились следствием как приспособления переселенцев к иным экологическим условиям, так и культурного взаимодействия с иноэтничным населением. Эти традиции, сформировавшиеся примерно в середине XIX в., во второй половине XIX — начале XX в. реализовались в широком бытовании жилищ, ставшего тоже традиционным для переселенцев.

Характерной особенностью строительной техники этого периода у интересующих нас групп в южной Бессарабии и Приазовье стало использование глины в качестве основного материала<sup>8</sup>. Техника сооружения стен из глиняных вальков и сырцового кирпича была известна на родине колонистов, но не была преобладающей в местах их выхода. Возможно поэтому поселенцы не сразу воспользовались ею, хотя это было бы не сложно при наличии необходимого строительного материала.

Нужно сказать, что и в наши дни в указанных районах расселения выходцев с Балкан широко используются строительные материалы, основой которых служит глина, — сырцовый и обожженный кирпич, черепица, раствор для обмазки. Таким образом, эта общая черта, сформировавшаяся в качестве региональной традиции, продолжает сохраняться. Кстати, различия в жилище рассматриваемых народов в Приазовье бывшей Бессарабии тоже имеют прежде всего региональный характер. Так, современное жилище разных этнических групп в пределах Бессарабии или на территории Приазовья обнаруживает большее сходство, чем жилище болгар Приазовья и болгар Бессарабии или албанцев тех же районов.

Хотя в использовании строительного материала наиболее ярко выявляется региональная специфика традиции, случается, что особенности строительной техники выступает как этническая черта. Например, у греков, болгар и албанцев Приазовья наружная отделка дома первоначально не состояла из обмазки стен желтой глиной. Стены же украинской хаты непременно белились. Эта особенность украинского жилища уже в конце

<sup>8</sup> Например, к середине XIX в. уже примерно половина построек болгарских колонистов представляла собой глинобитные жилища, тогда как в «Статистическом описании», характеризующем состояние на первую четверть XIX в., о них не упоминается. См. Клаус А. Указ. раб., с. 326; Статистическое описание Бессарабии, собственно так называемой, или Буджака, с приложением генерального плана сего края, составленного при гражданской съемке Бессарабии, производившей по высочайшему повелению размежевание земель оной на участки, с 1822 по 1828 г. Аккерман, 1899, с. 27.

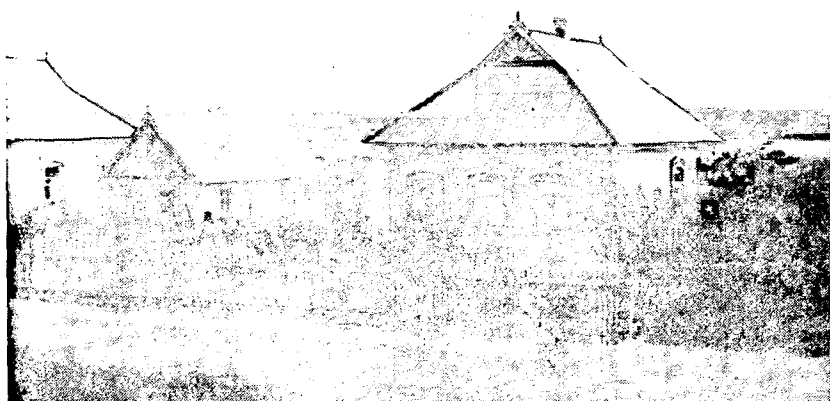


рис. 3. Новая усадьба в с. Георгиевка Запорожской обл. Стены построек саманные, облицованы кирпичом. Фото А. В. Оськина, 1973 г.

Х — начале XX в. была воспринята переселенцами (в это время белили же стены домов из обожженного кирпича). В ряде сел Приазовья, где белка наружных стен дома широко распространилась лишь в 30-е годы в., старожилы помнят, из каких соседних украинских и русских селений заимствовалась эта «мода»<sup>9</sup>. В данном случае локальная традиция, пределах региона имеющая этнически особенный характер, расширила свой ареал и, распространившись на другие этнические группы, превратилась в общую традицию регионального характера.

Наиболее выразительными для характеристики общего и особенного жилища рассматриваемых народов и их соседей являются отопительное устройство и внутренняя организация жилого пространства. На протяжении XIX и в начале XX в. у всех выходцев с Балкан в южной Бессарабии и Приазовье в разных видах домов бытовал кухонно-обогревательный комплекс, помещавшийся в середине дома. Он включал крытую обную печь, устье которой выходило в сени, а корпус — в жилую комнату; очаг, расположенный в сенях у устья печи, и прямой дымоход для отвода дыма над устьем печи и очагом.

Комплекс очага и хлебной печи, объединение которых в жилище рассматриваемых групп произошло в основном до переселения их в пределы своей страны, на новом месте закрепился. Его срединное положение в доме определяло и особенности внутренней планировки жилища греков, болгар, гагаузов, албанцев. Именно отопительное устройство и внутренняя планировка явились теми особенностями, которые отличали жилища выходцев с Балканского полуострова от жилища их восточнославянских соседей. В домах русских и украинцев в это время всегда (уже в тех случаях, когда они жили в болгарских или греческих селениях)<sup>10</sup> были русская печь, топившаяся из комнаты, и холодные сени. Таким образом, традиция отопительного устройства и организации внутреннего пространства, будучи общей для рассматриваемых этнических групп, была локальной по отношению к большому массиву окружающего населения.

Знаменательно, что особенности внутренней планировки и отопительного устройства, более столетия служившие стойкими этнодифференцирующими признаками восточнославянских народов и выходцев с Бал-

<sup>9</sup> Записи автора. Архив Ин-та этнографии АН СССР. Материалы Приазовского экспедиции Восточнославянской экспедиции (далее АИЭ МПОВЭ), 1973, тетр. 1, с. 68—70.

<sup>10</sup> Записи автора. АИЭ МПОВЭ, 1973, тетр. 1, с. 67.

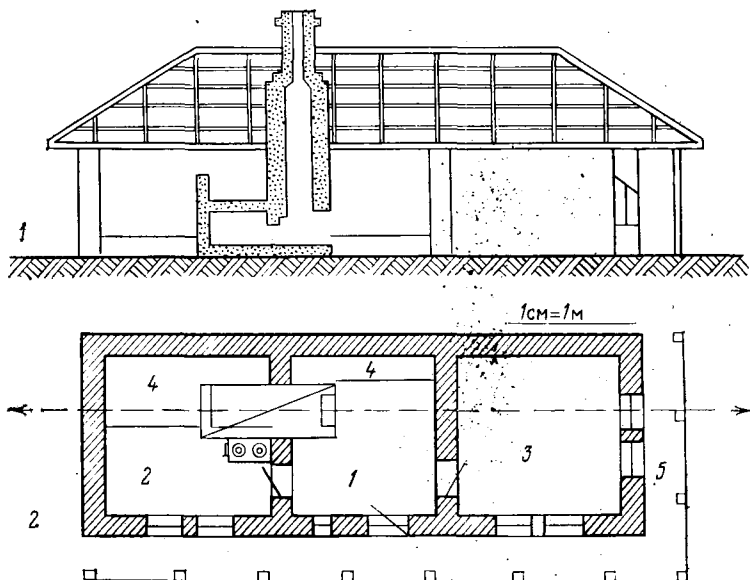


Рис. 4. Внутреннее устройство дома конца XIX — начала XX в. в с. Жовтневое Болградского р-на Одесской обл. (разрез и план): 1 — помещение типа сеней, где находятся устье печи, очаг и прямой дымоход над ними; 2 — жилая комната, куда выходит корпус печи; 3 — парадная комната; 4 — глинобитное возвышение «пат»; 5 — открытая галерея. Чертеж В. И. Агафонова, 1969 г.

канского полуострова, в начале XX в. стали сглаживаться. В результате совершенствования отопительной системы и развития планировки произошло сближение разных типов жилища, характерных для различных групп этносов<sup>11</sup>. На основании нивелировки локальных, имеющих этническое значение, особенностей происходило формирование более широкой региональной традиции.

Сближение разных типов жилища в данном случае представляет нам не следствием непосредственного заимствования, а скорее результатом процесса, протекающего в более широких пределах и характеризующего общий ход развития европейского жилища. Превращение холодных сеней в теплое помещение имело место (в разное время) у различных народов Европы<sup>12</sup>.

Своеобразна (уже в другом плане) эволюция общего в прошлом болгар, греков, гагаузов и албанцев представления о внутреннем устройстве жилого дома. Непременной частью традиционного жилища, сложившегося у всех этих народов, было глинобитное или дощатое возвышение, которое примыкало к корпусу крытой печи в жилой комнате. Такое возвышение (одёр — у болгар; софа, кровать — у греков; пат-долма — у гаузов; пат — у албанцев) было как бы средоточием жизни в доме: несло много функций. Оно использовалось в качестве спального места, там совершалась трапеза, выполнялись домашние работы, принимали гости (если для этого не было специального помещения) и т. д.

Со временем интерьер жилища у рассматриваемых групп претерпел значительные изменения. У болгар, в особенности в Приазовье, уже в начале XX в. одёр имел небольшое распространение; спальным местом

<sup>11</sup> Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (селища, жилища и хозяйственные строения). — Восточнославянский этнографический сборник. Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов XIX — начале XX в. (Тр. Ин-та этнографии АН СССР, т. XXXI). М.: Изд-во АН СССР, 1956, с. 156—157; Чижикова Л. Н. Жилище русских. — В кн.: Материальная культура компактных этнических групп на Украине, с. 48—49.

<sup>12</sup> Типы сельского жилища в странах Зарубежной Европы. М.: Наука, 1968, с. 53, 65—66, 158—169, 197—200.

■ а в основном деревянная кровать<sup>13</sup>. Остальные функции глинобит-  
ю или дощатого возвышения также были перенесены на иные части  
■ нища. В настоящее время в жилищах болгар и албанцев Приазовья,  
■ правило, отсутствует бывший традиционным в XIX в. одър или пат.  
■ шько в редких случаях в старых домах, по какой-либо причине не под-  
■ ргшихся перестройке, мы обнаруживали эту конструкцию. В Одесской  
■ асти она сохранилась в большей степени; и теперь в домах прежней  
■ стройки можно увидеть традиционное возвышение, но меньшего, чем  
■ ежде, размера, в дальнем от улицы конце дома.

У греков же, несмотря на то что они раньше и в большей степени,  
■ болгары и албанцы, подверглись урбанизации и их культура при-  
■ рела более интегрированные формы, софа бытовала не только в на-  
■ ле XX в., но встречается и в наши дни. При том, что софа перестала  
■ сти свойственные ей прежде многочисленные функции, сократилась в  
■ змерах и не занимает прежнего места в жилище, она имеется во мно-  
■ х домах разного времени и продолжает сооружаться во вновь строя-  
■ хся<sup>14</sup>. Наши респонденты разных возрастов утверждали, что софа  
■ заменима для отдыха. Кроме того, интересно, что некоторые из них  
■ зывали софу «греческой».

В данном случае, на наш взгляд, это пример того, как материальный  
■ компонент своего домашнего быта, отсутствующий в современном жи-  
■ ще соседних народов иного происхождения, осознается в качестве  
■ ически маркированного. Возможно, такое осознание, в свою очередь,  
■ обусловлено сохранению данного компонента, благодаря чему поддер-  
■ живается традиция.

Традиции в одежде у рассматриваемых этнических групп в целом  
■ личались значительной локальной вариативностью, которая сохраня-  
■ сь дольше, чем в жилище. Наиболее выразителен в этом отношении  
■ ством болгар Бессарабии — выходцев из различных областей Болгарии,  
■ носили разные типы одежды — поясную, сукманную (сукман — одеж-  
■ типа сарафана), распашную. Одежда болгарского населения во вто-  
■ ой половине XIX в. еще имела общие черты с одеждой жителей тех  
■ ст, откуда оно прибыло; сохранялись и местные названия ее дета-  
■ й<sup>15</sup>.

И все же на территории нашей страны одежда болгарских переселен-  
■ в претерпела эволюцию. Здесь сложился единый тип женского костю-  
■ , ставший традиционным. В его основе лежал сукман. Большое рас-  
■ острание в составе костюма получило более позднее платье (отрез-  
■ е, присборенное по талии, с длинными рукавами), сформировавшееся  
■ сукманной основе под влиянием городской моды. Примечательно, что  
■ одное развитие костюма происходило также во многих районах Бол-  
■ рии. Болгарские исследователи, отмечая большое число вариантов сук-  
■ на в различных областях Восточной и Западной Болгарии, считают  
■ от тип женской одежды наиболее распространенным в стране в про-  
■ лом<sup>16</sup>. Они полагают, что сукманый тип одежды был самым пригод-  
■ м по уровню своего развития для дальнейшей модификации в эпоху  
■ ционального возрождения. Именно тогда городская мода, ориентиро-  
■ вшаяся на европейскую культуру, оказала большое воздействие на  
■ родную одежду болгар и способствовала созданию новых традицион-

<sup>13</sup> Державин Н. С. Болгарские колонии в России, т. I, с. 81.

<sup>14</sup> Будина О. Р. Жилище болгар, греков, албанцев, с. 111—113; *ее же*. Развитие жилища в этнически смешанной среде (по материалам греков Донецкой области СССР). — В кн.: Культурно-бытовые процессы на юге Украины, с. 119, рис. 14, 15.

<sup>15</sup> Об одежде болгар юго-западных районов см.: Маркова Л. В. Некоторые тенденции развития культуры и быта болгар юго-западных районов СССР...; *ее же*. О про- живании этнической спецификации в материальной культуре болгар.

<sup>16</sup> См.: Велева М. Г., Лепавцова Евг. Ил. Български народни носии, т. II (Български народни носии в средна западна България и средните и западните Родопи от края на XVIII до средата на XX в.), София, 1974; т. III (Български народни носии в Източна България пред XIX и първата половина на XX век), София, 1979.

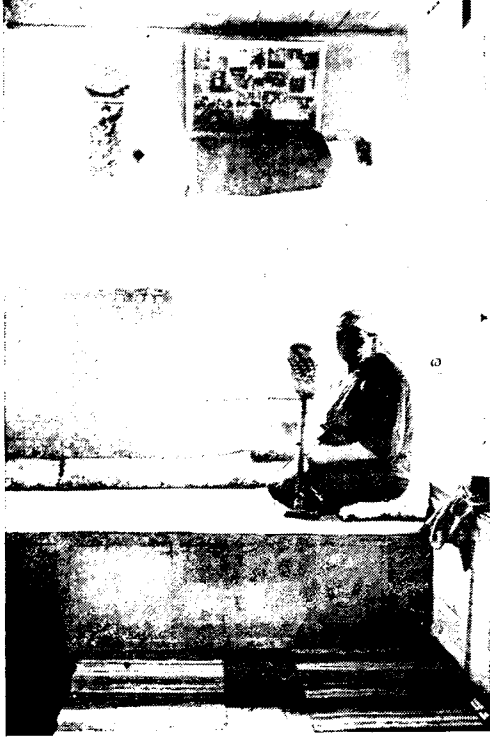


Рис. 5. Софа в греческом доме (с. Богатырь Донецкой обл.). Фото А. В. Смагина, 1971 г.

ных форм одежды, которые XIX — начале XX в. получили широкое распространение в родах и связанных с ними лах Болгарии<sup>17</sup>.

То, что у части этноса в тех районах обитания формирование одежды шло по тем же пути, что и на основной территории, указывает, с одной стороны, на естественность данного развития костюма; другой — на достаточно прочную культурно-бытовой компоненту балканского происхождения в этой сфере. Последнее подтверждается и тем, что поясная одежда украинцев и молдаван, соседствующих с южной Бессарабией с болгарскими, не оказала воздействия на их одежду<sup>18</sup>.

Гагаузки и албанки в южной Бессарабии и Приазовье носили такой же костюм, как болгарки. Сукман и платье с длинными рукавами широкими внизу, бытовали в албанских и гагаузских селениях в конце XIX — первых десятилетиях XX в. Что касается платья албанцев,

вряд ли оно было вынесено непосредственно с предпологаемой родины албанцев (юго-восточная Албания, район г. Корчи), которую они покинули за два-три столетия до переселения в Бессарабию<sup>20</sup>. Нам оно представляется более поздним приобретением, относящимся ко времени дальнейшего длительного и тесного соседства албанцев с болгарскими. Однако во всех случаях платье на сукманной основе так же как и сам сукман, у выходцев с Балкан относится к культурно-бытовому слою балканской общности.

Источником распространения такого платья среди сельских жителей как болгарской, так и гагаузской и албанской принадлежности (в том числе района г. Корчи, который, кстати, являлся старым ремесленным и торговым центром, имеющим широкие внешние связи) был балканский город. При этом проникновение городского платья в различные этническую и социальную среду могло быть разновременным.

Также влиянием города, в этом случае уже российского, можно объяснить появление в женском костюме всех рассматриваемых групп греков, болгар, гагаузов, албанцев — так называемой «пары», или «двойки» — юбки и кофты, сшитых из одинаковой фабричной материи. У греков, которые интенсивнее других групп усваивали бытовую культуру города, «двойка» в начале XX в. нашла наибольшее распространение.

<sup>17</sup> Велева М. Г., Лепавцова Евг. Ил. Указ. раб., т. III, с. 8, 25—26; Българска родна култура. София, 1981, с. 140.

<sup>18</sup> Федоров Г. Б., Салманович М. Я. Этнокультурные комплексы по данным материальной культуры (Исследования в Прутско-Днестровском междуречье). — Вестник АН СССР, 1970, № 8, с. 65; Зеленчук В. С. Основные типы традиционной молдавской народной одежды. — В кн.: Этнография и искусство Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1972, с. 89.

<sup>19</sup> Маруневич М. В. Некоторые особенности материальной культуры гагаузов Одесской области. — В кн.: Культурно-бытовые процессы на юге Украины, с. 165—166; Иванова Ю. В. Тенденция развития этнических групп в многонациональной среде..., с. 98.

<sup>20</sup> Об этом см.: Иванова Ю. В. Тенденция развития этнических групп в многонациональной среде..., с. 98.

вероятно, и платье (в талию, с вшитыми рукавами), вытеснившее у греков в середине XIX в. костюм, имевший черты татарского влияния<sup>21</sup>, было также следствием воздействия юродской моды.

Женский традиционный костюм, сложившийся на основании балканского компонента, казался весьма устойчивым в болгарских и албанских селениях Приазовья. Здесь до сих пор пожилые женщины сохраняют традиционное платье суканного типа. Шьют его из фабричной материи и носят как повседневную и праздничную одежду. В полном составе комплекс с платьем дополняется и теперь передником, нагрудными украшениями и своеобразно повязанным платком<sup>22</sup>.

Интересна судьба традиционного головного убора женщин, являющегося очень важной частью всякого народного костюма.

На Балканах был хорошо известен полотенчатый головной убор. Среди интересующих

нас этнических групп на территории Украины подобный головной убор прослеживается у греков. В XIX в. полотенчатый убор — перифтар имела каждая замужняя гречанка (его готовили к свадьбе и надевали перед венчанием). В начале XX в. перифтар в основном перестал бытовать и встречался лишь у пожилых женщин в составе праздничного костюма<sup>23</sup>.

Имеются некоторые данные (они не носят массового характера) о полотенчатом головном уборе у ольшанских болгар (Кировоградская область), которые ранее других болгарских групп обосновались на Украине<sup>24</sup>. Болгары, живущие в южной Бессарабии и Приазовье, его, видимо, не имели.

У албанцев подобного головного убора на территории нашей страны также не отмечалось (хотя он входит в некоторые комплексы традиционных костюмов в Албании)<sup>25</sup>.

Таким образом, известная в целом всей балканской общности традиция полотенчатого головного убора нашла на Украине весьма локальное выражение — он широко бытовал лишь у греков. Возможно, это связано с культурными контактами на Крымском полуострове, где эта группа провела значительное время, — полотенчатый головной убор был известен и крымским татарам<sup>26</sup>.



Рис. 6. Женщина в традиционной одежде (с. Георгиевка Приазовского р-на Запорожской обл.). Фото А. В. Оськина, 1973 г.

<sup>21</sup> Иванова Ю. В. Влияние социально-экономических условий и этнических традиций на одежду сельских жителей, с. 45.

<sup>22</sup> АИЭ МПОВЭ, 1973, 1975; Фотоматериалы.

<sup>23</sup> Иванова Ю. В. Влияние социально-экономических условий и этнических традиций на одежду сельских жителей, с. 46—47.

<sup>24</sup> Наулко В. И. Указ. раб., с. 240.

<sup>25</sup> См. Народное искусство в Албании. Костюмы, текстиль, галантерея, гравюры на металле и на дереве и жилые дома. Художник Димитр Мбориа. Этнограф Ррок Зойи. Тирана, 1959.

<sup>26</sup> См.: Наулко В. И. Указ. раб., с. 248; Иванова Ю. В. Влияние социально-экономических условий и этнических традиций на одежду сельских жителей, с. 47.





Рис. 7. Женщина в традиционной одежде (с. Девненское Приазовского р-на Запорожской обл.). Фото А. В. Оськина, 1973 г.

Балкан, а точнее, из Болгарии (болгар, албанцев, гагаузов) порой все еще можно узнать по этой особенности.

Обратимся еще к примерам из свадебной обрядности, характеризующим некоторые ее материальные компоненты.

У балканских народов среди различных свадебных атрибутов красного цвета в прошлом было известно покрывало, которое накидывали на голову невесты<sup>30</sup>. Обычай покрывать в определенный момент свадьбы голову невесты красным платком в XIX—начале XX в. отмечался и выходцев с Балкан, живущих в пределах Украины<sup>31</sup>.

В дальнейшем эта традиция не была совсем забыта ни в южной Бессарабии, ни в Приазовье. У болгар Болградского района Одесской области она нашла выражение и в современности<sup>32</sup>. В болгарских же селах Приазовья в 1920-е годы голову невесты покрывали красным платком, а в наши дни «крестная мать» (она продолжает играть важную роль

Болгарские, гагаузские албанские женщины в южной Бессарабии и Приазовье XIX—начале XX в. покрывали голову различного вида платками<sup>27</sup>; они имеют аналогию в народном костюме Болгарии<sup>28</sup>. В наши дни набор таких платков сильно изменился. Но некоторые традиционные способы повязывания платка продолжают сохраняться до сих пор. Так, покрывая голову, концы платка закладываются с обеих сторон у подбородка, закрепляют или завязывают сзади на затылке, либо сбоку и т. д.<sup>29</sup> Хотя девушки и молодые женщины в болгарских, гагаузских и албанских селениях теперь часто ходят без головного убора, обычай покрывать голову платком все еще продолжает быть характерным для этих селений. Традиционный же способ повязывания платка в сочетании с одеждой любого покроя придает костюму своеобразный, можно сказать этнический характер. Потомков выходцев

<sup>27</sup> АИЭ МПОВЭ, 1973. Копия фотографии 1915 г. (Приазовье); *Маруневич М. В.* Некоторые особенности материальной культуры гагаузов Одесской области, с. 168—169; *Българска народна култура*, рис. 91 (Бессарабия, нач. XX в.).

<sup>28</sup> См. *Велева М. Г., Лепавцова Евг. Ил.* Народная одежда болгар, т. I.—Народная одежда болгар в Северной Болгарии в XIX и начале XX в. София, 1961, с. 16, табл. 21, 65а; *их же.* Български народни носии, т. II, табл. 38, 39, 44, 63 и др.

<sup>29</sup> АИЭ МПОВЭ, 1973, 1975. Фотоматериалы.

<sup>30</sup> *Nahn J.* Albanesische Studien. Iena, 1854, S. 145; *Велева М. Г., Лепавцова Евг. Ил.* Народная одежда болгар, т. I, с. 23, 271, табл. 4; *их же.* Български народни носии, т. III, с. 122, табл. 86; *Българска народна култура*, с. 142; *Кизлинг Г.* Албания. Лейпциг, 6/г, илл. 126.

<sup>31</sup> В. А. Мошков писал, что воспоминания об этом обычае сохранились у гагаузов Бендерского уезда, а Н. С. Державин отмечал его для болгар Бердянского уезда. См. *Мошков В. А.* Указ. раб.—ЭО, 1901, № 1, с. 122; *Державин Н. С.* Болгарские колонии в России, с. 139; см. также: *Наулко В. И.* Указ. раб., с. 237, 240; *Иванова Ю. В.* Тенденция развития этнических групп в многонациональной среде..., с. 99; *Курогло С. С.* Указ. раб., с. 69.

<sup>32</sup> *Демиденко Л. А.* Указ. раб., с. 74—75.

свадьбе) иногда дарит невесте вместе с отрезом на платье кусок красной ткани, который та держит в течение определенного времени перекинутым на руке вместе с другими дарами. Называют эту красную ткань «було» — так же, как красное покрывало и красный платок, применявшиеся прежде в свадебном обряде<sup>33</sup>. В данном случае некогда общая для балканских народов традиция, потеряв свою функциональную значимость и изменив способ выражения, обнаруживается в определенном материальном и вербальном обозначении.

При рассмотрении даров, фигурирующих в свадебном обряде у болгар, греков, гагаузов, албанцев, обращает внимание обязательное наличие подарка из съестных припасов, который подносят определенным свадебным чинам в фиксированные моменты свадьбы. Обычай такого подношения, несущего функцию почетного угощения, отмечается для XIX в.<sup>34</sup> и имеет, по всей вероятности, древние корни. У болгар, албанцев и гагаузов основу этого подарка в наши дни, как и прежде, составляют каравай и вареная курица (варианты различаются дополнениями к ним). «Угощения» подносят уложенным в ткань, завязанную в виде узла («каниска» — алб., гагауз.). Определенная трансформация обычая может усматриваться во встречаемом иногда изменении способа подношения подарка (его составные вручают отдельно, вареная курица заменяется живой), а также, видимо, в более широком, чем прежде, использовании «каниски» в свадебном обряде<sup>35</sup> (кстати, то же относится и к другим свадебным дарам).

Здесь общее находит выражение, на наш взгляд, с одной стороны, в сохранении вплоть до нашего времени приверженности потомков выходцев с Балкан более ранней, общей для них традиции, с другой — в тенденции к расширению и обогащению материального компонента свадьбы, наблюдаемой ныне в развитии свадебного обряда у разных народов нашей страны.



Рис. 8. Гостя с традиционным свадебным подношением «каниска» (с. Георгиевка Запорожской обл.). Фото А. В. Оськина, 1973 г.

\* \* \*

Итак, не предполагая в данной статье всесторонне рассмотреть культуру живущих на Украине и в южных районах Молдавии болгар, греков, гагаузов, албанцев, мы проанализировали несколько примеров (число

<sup>33</sup> Будина О. Р. Научный отчет об экспедиционной работе Приазовского отряда 1975 году, с. 13—14 (хранится в АИЭ).

<sup>34</sup> Мошков В. А. Указ. раб.— ЭО, 1901, № 1, с. 111, 113, 119; Демиденко Л. А. Указ. раб., с. 74; Курогло С. С. Указ. раб., с. 63; Ксенофонтова-Петренко О. Н. Семейные обряды в селе Сартана.— Культурно-бытовые процессы на юге Украины, с. 176, 177.

<sup>35</sup> Будина О. Р. Научный отчет об экспедиционной работе Приазовского отряда 1973 г., с. 21. Фотоматериалы 1973, 1975 гг. (хранится в АИЭ).



Рис. 9. Свадьба. Проводы с «каниской» кумы и кума (с. Георгиевка Запорожской обл.). Фото А. В. Оськина, 1973 г.

их могло быть значительно увеличено) проявления культурной традиции достаточно убедительно, как нам представляется, свидетельствующие постоянным, и в то же время в разной форме протекающем ее динамическом развитии.

Каждой культурно-бытовой ситуации, отражающей определенный момент этнокультурного процесса, свойственно тесное переплетение разных по времени возникновения и происхождению элементов. Для анализируемых нами ситуаций это, видимо, особенно характерно. В сложности исторических судеб изучаемых групп здесь в качестве взаимодействующих наряду с новыми явлениями выступают и явления, сформировавшиеся в прошлом (на разных этапах), на иной, по сравнению с нынешним местом обитания, территории, под действием уже исчезнувших факторов. Таким образом диалектика общего и особенного в исследуемом материале находит многообразное выражение.

Обращает на себя внимание значительная разномасштабность общих, так и локальных традиций у рассматриваемых групп. В качестве локальной (всегда частной по отношению к более крупной единице) выступает традиция сравнительно ограниченного региона (например, Приазовье, Украина, Болгария и т. д.) или традиция одной из этнических групп, живущих в полиэтничном регионе. Общей традиция оказывается порой как для изучаемых групп, так и для всех балканских народов, и в целом для жителей Украины или даже Советского Союза. При этом актуальность той или иной традиции в разные моменты неодинакова порой сопряжена с действием различных факторов.

В характере культурной традиции, обусловленном этнической и региональной спецификой, обнаруживается, как мы пытались показать, непостоянство: традиция, выступающая в определенный момент в качестве этнической, может стать общей для этнически смешанного населения региона, т. е. превратиться в региональную. Региональная же традиция, потеряв свое значение и сохраняясь у одной из этнических групп, может превратиться на каком-то этапе в этническую. Подобной трансформации, связанной со свойственной традициям пластичностью и способностью к вариативности<sup>36</sup>, подверглись некоторые культурные компоненты балканского происхождения, выраженные в той или иной форме у изучаемых групп.

<sup>36</sup> См. Чистов К. В. Традиция, «традиционные общества» и проблема варьирования.— Сов. этнография, 1981, № 2, с. 106—107.

Приведенные нами примеры, свидетельствующие об условности разграничения традиций, позволяют, вместе с тем, охарактеризовать в качестве общих и локальных такие взаимодействующие традиции как общепропейские и более узких регионов; присущие родственной (или близкой в культурном отношении) группе этносов и отдельной этнической группе; общесоветские и этнические (либо региональные) и т. д. То, что эти традиции соотносятся с историко-культурными общностями разных родов и разного таксономического ранга, лишь отражает сложную взаимозависимость реальных этнокультурных явлений.

В заключение отметим также, что обнаруженная изменчивость в соотношении традиций, отражающая культурно-бытовое развитие в каждом определенном моменте, еще раз подтверждает известное, но всегда актуальное для этнографического исследования, положение о временной условности и динамичности понятия «традиционная культура».

**В. А. Александров**

### **ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ОБЫЧНОГО ПРАВА В РУССКОЙ ПОЗДНЕФЕОДАЛЬНОЙ КРЕПОСТНОЙ ДЕРЕВНЕ (XVIII — НАЧАЛО XIX в.)**

Под понятием «обычное право» в отечественной литературе со второй половины XIX в. подразумеваются неписанные, основанные на обычаях нормы, регулировавшие внутريدеревенскую хозяйственную, бытовую и семейную жизнь, а также различные гражданские отношения крестьян между собой (сделки, соглашения и т. п.), и определявшие меры борьбы с правонарушениями.

Обычное право — сложное и многофункциональное явление. Его исследование выходит далеко за пределы собственно юридической науки. Проблема обычного права в эпоху феодализма может решаться только во взаимосвязи, с одной стороны, с историей развития права феодального государства, упрочившего привилегии господствовавшего класса — дворянства, с другой — с историей крестьянства как сословия, с учетом его социального и экономического положения, внутрисословных особенностей хозяйственного быта и семейного строя.

Социальная обособленность крестьянства как сословия феодального общества, замкнутого в рамках сельских общин, обуславливала неизбежность стойкого функционирования совокупности обычно-правовых норм. Обычное право было регулятором хозяйственно-экономических и гражданских отношений крестьян внутри общин. Оно отражало многовековой хозяйственный опыт крестьян и, вместе с тем, являлось опорой общины в борьбе с феодалами против эксплуатации, за право хозяйствования.

Теоретической основой подхода к пониманию истории обычного права и его значения может быть формулировка К. Маркса: «правовые отношения, так же точно как и формы государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития человеческого духа... наоборот, они коренятся в материальных жизненных отношениях»<sup>1</sup>. Будучи явлением социальным, обычное право с изменением социально-экономических условий, в которых существовала феодальная деревня, не могло оставаться статичным.

Важнейшим элементом общинной хозяйственной жизни было землепользование. Его порядок определялся обычно-правовым статусом отдельных видов эксплуатируемых угодий. Судя по имеющимся исследованиям, посвященным крестьянскому землепользованию, к XVII в., т. е. к началу закрепощения, крестьянство подошло с наследственным под-

<sup>1</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 6, 7.

ворным владением (в рамках общинного землепользования) комплексом угодий, необходимым для ведения хозяйства (собственно дворовые участки с огородами, конопляниками, гумнами, пашни)<sup>2</sup>. Этот порядок, характерный как для северо-, так и для центральнорусского крестьянства, отражал определенный этап истории сельской общины на Руси, когда повсеместно существовала общинно-волостная организация с выборным представительным для феодальных властей, штатом.

С развитием вотчинного и особенно поместного землевладения в центральных уездах России община — волость, объединявшая сотни деревень, оказалась разрушенной, и общинная организация крестьян все более замыкалась в границах отдельных феодальных владений. Тем самым структура общинной организации в средней полосе России существенно менялась. Основной ячейкой оставалась деревенская община, объединявшая крестьян одного селения. По мере роста крупных феодальных владений — вотчин и поместий — в их границах образовывались общины сложные, объединявшие сплошь и рядом десятки селений, подчиненных поместно-вотчинному аппарату. С изменением общинной структуры, замыканием хозяйства общин в пределах отдельных феодальных владений и ростом тягловых повинностей в крестьянском землепользовании происходили существенные изменения. При всей неограниченности личной воли вотчинники и помещики, как правило, признавали сельскую общину необходимым компонентом сельского управления и оставляли за общиной право решать вопросы, связанные с крестьянским землепользованием и обеспечением тягла. Вместе с тем, заинтересованные в неукоснительном выполнении крестьянами повинностей, помещики следили за состоянием их тягловоспособности и, обязывая общины обеспечивать феодальную ренту, оказывали влияние на общинное землепользование. По мере того как в центральной полосе России частнофеодальное владение социально и структурно приобретало господствующее положение, у крестьянства все более сужались площади удобной для хлебопашества земли, и в условиях трехполья перед общиной возникала хозяйственно-тягловая необходимость земельной регламентации. Сложность этой регламентации заключалась прежде всего в неизбежности перестройки наследственно-подворного землепользования. Землепользование крепостной деревни традиционно основывалось на дуализме общего (коллективного) и частного (индивидуального) владения, при сложной коллизии, суть которой состояла в том, что тягловое обложение обуславливалось феодальным принуждением, а использование угодий — обычно-правовыми представлениями о земельном обеспечении двора, необходимым для его хозяйственной деятельности. Регулирование землепользования община могла осуществить, опираясь на совокупность обычно-правовых норм, как сохранявшихся традиционно, так и вырабатывавшихся под воздействием социально-экономической действительности.

В русской крепостной деревне традиционно сохранялось представление о том, что каждая из них владела определенными, «своими» угодьями — лесами, сенокосами, пашнями, лугами, водными источниками. В процессе непрерывного обращения вотчин и поместий внутри господствующего класса, их перехода от одного владельца к другому, у крестьян упрочивалось стремление сохранить «свою» угодья в составе своей общины вне зависимости от того, какому помещику в тот или иной момент они принадлежали. Это стремление отражалось прежде всего на характере и структуре землепользования сложных общин, особенно тех, которые складывались постепенно по мере роста отдельных помещичьих

<sup>2</sup> Алексеев Ю. Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV—XVI вв. Переяславский уезд. М.—Л., 1966, с. 170—175; *его же*. Крестьянская волость в центре феодальной Руси XV в.— В кн.: Проблемы крестьянского землевладения и внутренней политики России, Л.: Наука, 1972, с. 73, 78—81, 89, 90, 101; Кичин Г. Е. Сельское хозяйство на Руси конца XIII—начала XVI в. М.—Л.: Наука, 1961, с. 305, 316, 369, 381—388, 432; Покровский Н. Н. Актовые источники по истории крепостного землевладения в России XIV—начала XVI в. Новосибирск: Наука, 1972, с. 103—114.

владений. Стремление деревенских общин сохранить «свои» угодья вступало в противоречие с политикой помещиков, которые требовали «справедливого», т. е. уравнительного по имущественному состоянию крестьян распределения податей путем систематической тягловой переобработки, что влекло за собой земельное перераспределение между деревнями. Известно, что подобную практику в XVIII в. внедряли в своих имениях многие помещики, в том числе крупнейшие землевладельцы России — Шереметевы, Орловы, Шуваловы и др. Для достижения этой цели необходимо было по площади и качеству разверстать угодья между деревнями, входившими в состав владения. Однако осуществить это было не просто, так как каждая деревня стойко держалась за «свои» угодья, а общинная практика тяглого обложения сводилась к тому, чтобы сохранить тяглоспособность каждого двора, а не нивелировать их хозяйственное состояние<sup>3</sup>.

Тем не менее тягловое уравнение земельных владений между деревнями<sup>4</sup> с середины XVII в. стало осуществляться, в чем можно усмотреть начало процесса земельного общинного регулирования. Подробные свидетельства о таком землеустройстве в сложных общинах относятся к концу XVII — первой половине XVIII в. Так, в 1691 г. подушное земельное разграничение было осуществлено внутри обширной вяземской вотчины бояр Нарышкиных, где различные угодья были разверстаны между ее «половинами» с входившими в их состав деревнями<sup>5</sup>. Подобный межевенский раздел угодий был произведен в 1720 и 1725 гг. и в ростовской отчине Шереметевых<sup>6</sup>.

Уравнительная разверстка земель между деревнями, входившими в состав одного поместья, становилась неизбежной при барщинном хозяйстве. Она была проведена в ростовском и арзамасском имениях Щербатовых (1776 и 1794 гг.), рязанском и тамбовском имениях Гагариных (1817 и 1820 гг.), в огромном смоленском имении Н. Панина (1810—1820 гг.)<sup>7</sup>. Необходимость уравнительной разверстки вызывалась прежде всего тем, что под барскую пашню отводились лучшие и наиболее близкие расположенные от деревень поля. Так, в 1820 г. в тамбовском имении Гагариных с центром в с. Петровском барские пашни в сотни десятин находились сразу же за околицами ряда деревень; тогда же Н. Панин, расширяя собственную запашку, вообще переселил крестьян четырех деревень в другие места, а «состоящие в их владении земли и пустоши» присоединил к господской пашне<sup>8</sup>. В результате какие-либо «права» отдельных деревень на их угодья ликвидировались, и все землепользование строго подчинялось тягловому распорядку, при котором становилась обычной земельная пережевка участков не только барской, но и крестьянской пашни. За крестьянскими хозяйствами оставались лишь менее удобные пашни, и ежегодная пережевка становилась единственной возможностью уравнения хозяйственного обеспечения отдельных дворов, когда каждый из них периодически мог получить относительно более выгодный участок. Нижегородский помещик В. Бабарыкин (первая половина XIX в.) вынужден был признать пагубные последствия барщинного хозяйства для крестьянского полеводства. По его свидетельству, крестьяне при подобной системе землепользования не могли «получить

<sup>3</sup> Александров В. А. Сельская община в России (XVII — начало XIX в.). М.: Наука, 1976, гл. III, § 2, 3.

<sup>4</sup> Горская Н. А. Монастырские крестьяне Центральной России в XVII веке. М.: Наука, 1977, с. 208.

<sup>5</sup> Центральный Государственный архив древних актов (далее — ЦГАДА), ф. 1272 (Нарышкины), оп. 1, д. 1219; лл. 1—12.

<sup>6</sup> Шапиро А. Л. Крестьянская община в крупных вотчинах первой половины XVIII в. — Уч. зап. Саратовского гос. ун-та, т. I (XIV). Сер. исторического ф-та, в. 1, Саратов, 1939, с. 51—53.

<sup>7</sup> ЦГАДА, ф. 1289 (Щербатовы), оп. 1, д. 461, л. 1 — об; д. 611, лл. 1, 2; ф. 1262 (Гагарины), оп. 2, д. 76, лл. 42—107; оп. 4, д. 161, лл. 1, 2; ф. 1274 (Панины — Блудовы), оп. 1, д. 1139, л. 15; ф. 1378 (Мещерские — Панины), оп. 1, д. 739, лл. 1—3, 20 об.

<sup>8</sup> Там же, ф. 1274, оп. 1, д. 1139, л. 15.

привязанности» к своему участку земли. Та же мысль по существу про- водилась и другим сторонником барщинного хозяйства У. Карповичем, который считал целесообразным подворное крестьянское землепользование<sup>9</sup>.

Разумеется, ситуация, при которой земельные права отдельных селений на угодья ликвидировались, а распорядительные права сложной общины на их использование резко усиливались и устанавливалось систематическое уравнильно-передельное крестьянское землепользование складывалась, во-первых, постепенно, а во-вторых, зависела от величины земельного фонда, оставшегося за общиной.

Самые ранние известные в настоящее время данные о всеобщих внутриобщинных уравнильных переделах, при которых перераспределение подвергались участки во всех угодьях (сенокосы, полевая земля, рощи, усадьбы с унавоженными огородами, конопляниками и т. п.) относятся к 1680-м гг. Показательно, что подобные, причем для данного времени, безусловно единичные случаи наблюдались именно в монастырских вотчинах, где, как выяснила Н. А. Горская, феодальные владельцы стремились оставить у общин тягловые угодья, минимально обеспечивавшие простое хозяйственное воспроизводство дворов<sup>10</sup>. Вполне очевидно, что к подобным переделам общины приходили, испытывая острую потребность в жестком регулировании своего землепользования, причем даже в этих случаях некоторые общины не переделывали унавоженные участки и рощи, т. е. придерживались старого наследственно-подворного принципа владения.

Более стойко деревенское «право» на угодья сохранялось в оброчных крепостных общинах, где управление под общим надзором вотчинных контор помещиков концентрировалось в мирских управлениях, которые могли свободнее распоряжаться своим земельным хозяйством. По материалам XVIII и даже первой половины XIX в. очень четко прослеживается постепенность процесса общинного регулирования крестьянского землепользования. В целом ряде общин при этом регулировании действительно сохранялось как общедеревенское, так и наследственно-подворное право на угодья. На протяжении первой половины XVIII в. эти принципы обычного земельного права определяли хозяйственную жизнь крупной суздальской вотчины князей Долгоруких с центром в с. Лежневе. Их владение состояло собственно из Лежневской «дачи» и двух других «дач», перешедших к Долгоруким в первой четверти XVIII в. от князя Ю. Одоевского и И. Бутурлина. В каждой «даче» образовавшейся огромной общины сохранялось свое мирское управление, которое самостоятельно осуществляло земельно-тягловую раскладку податей между деревнями. В. В. Долгорукий считал само собой разумеющимся общевотчинное земельное уравнивание между селениями. В 1728 г. он запрашивал своего приказчика — «расположились ли оне промеж себя и довольны ли оне тем...»<sup>11</sup>. Добиться такого уравнивания между «дачами» он не смог. В 1730 г. он подвергся опале, вотчина у него была отнята и возвращена только в 1742 г. после воцарения Елизаветы Петровны. В 1744 г. В. В. Долгорукий вернулся к этой мысли и приказал осуществить земельную раскладку по вотчине в целом с тем, чтобы повинности уравнильно падали на каждый двор: быть всем «в равенстве и не называться разными дачами», — писал он<sup>12</sup>.

Тем не менее, несмотря на жалобы крестьян на несоответствие между возлагаемыми на них повинностями и земельным обеспечением даже внутри отдельных «дач», общинное землевладение оставалось неизмен-

<sup>9</sup> *Бабарыкин В.* Сельцо Васильевское Нижегородской губернии Нижегородского уезда. — Этнографический сборник, Спб., 1853, в. 1, с. 12, 43; *Карпович У.* Хозяйственные опыты тридцатилетней практики или наставление для управления именьями. Спб., 1837, с. 312—315.

<sup>10</sup> *Горская Н. А.* Указ. раб., с. 217, 231, 232.

<sup>11</sup> ЦГАДА, ф. 1373 (Вотчинное управление кн. Долгоруких в с. Лежневе), оп. 1, д. 19, л. 40 — об.

<sup>12</sup> Там же, лл. 20, 21.

<sup>13</sup> Только по сохранившемуся от 1759 г. приговору общемирского (мирового) схода известно, что «мирские люди» согласились установить границы между «дачами»<sup>14</sup>. Если это внутривотчинное размежевание и было проведено, то оно отражало лишь право сложной общины регулировать использование деревенских владений при сохранении каждой деревней «права» на «свои» угодья.

Общинное земельное регулирование внутри отдельных «дач», проживаемое на протяжении нескольких десятилетий (1730—1750 гг.), заключалось в том, что мирское управление «дачи» при ежегодной разрезке податей учитывало изменение тягловых возможностей каждой ревни и пашенную землю, имевшуюся в той или иной деревне «в лиш», передавало той деревне, где ее не хватало. В мирских приговорах, вынятых по поводу очередной тягловой переобролки, неукоснительно фиксировалась правомочность такого земельного перераспределения, которое, что принципиально существенно для понимания норм обычного права, имело временный, условный характер. Деревня, отдававшая часть своей земли, сохраняла на нее право и в случае необходимости могла требовать ее назад. При такой системе общинного землепользования право подеревенского владения угодьями неукоснительно сохранялось, и хват «чужих» земель карался штрафом. О сложности этой системы можно судить по тому, что в Одоевской «даче» ежегодная земельная сверстка осуществлялась между 17, а в Бутурлинской «даче» между селениями, каждое из которых систематически или принимало от соседей, или передавало им свою землю<sup>15</sup>. По данным 1720—1790-х гг. на тех же принципах обычного права основывалось общинное землепользование в нерехотской вотчине с центром в с. Писцове. Несмотря на то, что это феодальное владение с середины XVII и до первой четверти XIX в. четыре раза переходило от одних владельцев к другим (князь Долгорукий, князь Г. В. Грузинский, князь Голицыны, граф А. И. Остерман-Мстиславский), в нем при сохранении оброчной формы ренты распорядок общинного землепользования отличался удивительной устойчивостью. Так и в Лежневе, в Писцовской общине, состоявшей в 1730-х гг. более чем из 30, а в 1811 г. почти из 50 селений, землепользование основывалось на том же деревенском «владении» и праве мирского правления вносить при очередном тягловом переобложении использование пашенных угодий и сенокосов. В с. Писцове, в отличие от распадавшихся дворов и деревень отдельные участки угодий на основе того же обычного временного права использования передавались в распоряжение не целых деревень, а отдельных дворов. При этом мирское управление выдавало «билеты», удостоверявшие право на землепользование до очередной переобролки. Более эпизодически проводились междеревенские земельные поравнения в тех случаях, когда в деревнях образовывались тягловая «пустота», т. е. появлялись заброшенные полосы пашни, мешавшие трехпольному ведению хозяйства. Однако и при этом право деревенского «владения» оставалось неизменным. Такие поравнения осуществлялись в 1726, 1732—1734, 1743, 1754, 1759, 1767 гг. В 1795 г. община провела общее междеревенское уравнение земли, вновь подтвердив при этом право каждого селения на «его» угодья, но в новых границах<sup>16</sup>. Общинный надзор за землепользованием по данным 1790—1820-х гг. осуществляется также в принадлежавшей Головиным, а затем князю Б. Куракину оброчной чухломской общине с центром в с. Погорелки.

<sup>13</sup> ЦГАДА, ф. 1373, оп. 1, д. 18, лл. 51, 52.

<sup>14</sup> Там же, д. 1, л. 41 — об.

<sup>15</sup> Там же, ф. 1373, оп. 1, д. 34, лл. 1—6 об.; д. 35, лл. 1—5, 8—11; д. 42, лл. 1—4, 48, лл. 1, 2; д. 66, лл. 1—9; д. 94, л. 2.

<sup>16</sup> ЦГАДА, ф. 1396 (Писцовское вотчинное правление), оп. 1, д. 109, лл. 1—4; 120, л. 13 — об.; д. 121, лл. 2—83; д. 122, лл. 1—3 об.; д. 266, лл. 1, 2; д. 333, л. 1; 403, л. 1 — об.; д. 441, лл. 1—11; д. 442, лл. 1—7; д. 524, лл. 1 об., 2 об., 7, 9 об., 15 об.; д. 962, лл. 6, 7, 10 — об., 14 — об.; д. 963, л. 1 — об.; д. 964, лл. 1, 2; 1093, л. 1.



В этой общине, включавшей более 40 селений, проводился точный и различных земель, составлявших угодья отдельных деревень, тем не менее даже временного уравнивания угодий между деревнями не осуществлялось. При тяглого-земельном перераспределении доли тягловых участков сдавались отдельными дворами или принимались во временное пользование. Ежегодно десятки хозяйств или «скидывали» часть своих пахотных земель, или принимали эти «скинутые» участки<sup>17</sup>.

Подробные сведения второй половины XVIII — начала XIX в. сохранились об общинном землепользовании в многочисленных оброчных в дениях графов Орловых, особенно в ярославских селах Орловской Елохове и костромском селе Сидоровском. В. Г. Орлов неукословно требовал, чтобы в сложных общинах земли между селениями были разделены «справедливо», но, не вмешиваясь в мирское землепользование, оставлял его на усмотрение общин<sup>18</sup>. Вопреки стремлению В. Г. Орлова уравнительно внутри общин обеспечить землей все деревни, общинные традиции оказывались сильнее, и каждая деревня стойко держалась «свои» земли. Общины, конечно, также были заинтересованы в уравнительном тягловом обложении каждого двора на основе его хозяйственных возможностей, но добивались этого по-своему. В Никольской общине, объединявшей два села и 44 деревни, общемирское размежевание в 1771 г. по существу ограничилось учетом угодий каждого селения и строгим земельным порвнением и соглашением между ними, которые не менее не привели к общему земельному уравниению. Земельная практика в сложной Никольской общине сводилась к тому, что каждое селение располагало своими угодьями, а мирское управление, проводя ежегодную переоброчку дворов, снимая или повышая их оклад, недостающую тем или иным дворам тягловую землю отводило в зависимости от обстоятельств на участках, «скинутых» другими крестьянами, или общемирских пустошах.

Систематические данные, относящиеся к 1780—1790-м гг., показывают, что одни и те же деревни, обладавшие избытком земли, передавали ее во временное пользование крестьянам других деревень; причем случалось, что некоторые деревни передавали земли больше, нежели испрашивали сами. При этом правовой принцип подеревенского владения нарушался, так как земля в случае необходимости возвращалась владельцам.

Таким образом, временная сдача участков отдельными дворами и передача в хозяйственное пользование соседним дворам была основной формой земельно-тяглого перераспределения в Никольской общине. Одна часть «скинутой» земли передавалась соседям по их просьбе, другая — «накладывалась» на них по усмотрению общины<sup>19</sup>. При подобной системе тяглого землепользования мирское управление могло не допустить запустения участков, нарушавшего агрикультуру трехполья.

Гибкость такой практики становится очевидной, если сравнить ее с земельными распоряжками, введенными в другом ярославском имении Орловых, с центром в с. Елохове, где в 1800 г. удалось провести временное уравнивание между селениями. При неизбежном падении или уменьшении тяглоспособности отдельных дворов, а тем самым и деревень, общинное управление вынуждено было в дальнейшем вновь уравнивать участки между деревнями; в результате систематического изменения «владельцев» отдельных селений нарушалась устойчивость права подеревенского

<sup>17</sup> ЦГАДА, ф. 1369 (Наталинское вотчинное правление Чичериных), оп. 1, лл. 1—10; д. 63, лл. 1—11; д. 70, лл. 1—11; д. 82, лл. 1—8, 11—24; д. 140, лл. 44—об.; д. 172, лл. 1—3, 15—21; д. 190, лл. 6—15; д. 211, лл. 1—4; д. 199, лл. 273, лл. 14—21.

<sup>18</sup> Там же, ф. 1273 (Орловы — Давыдовы), оп. 1, д. 508, лл. 9, 10, 66, 67; д. 3—об., 20; д. 510, лл. 7—9 об.; д. 511, лл. 56—об., 85 д. 516, лл. 52 об., 85—об.; ф. 1454 (Сидоровское вотчинное управление), оп. 2, д. 1038, л. 2.

<sup>19</sup> ЦГАДА, ф. 1384 (Орловы — Чесменские), оп. 1, д. 2, лл. 1 об., 4, 5, 7 об., д. 4, лл. 1—8; д. 29, лл. 1—12; д. 35, лл. 1—11; д. 83, лл. 1, 2; д. 118, лл. 1—12; д. 119, лл. 1—12, 18, 19; д. 550, лл. 1—24; д. 654, лл. 1—29; д. 725, лл. 1—32.

ния, а потому порождались злоупотребления со стороны мирских властей, и возникали конфликты между деревнями<sup>20</sup>.

В костромском селе Сидоровском до конца XVIII в. сохранялись земельно-общинные распорядки, аналогичные бытовавшим в Никольском. Однако по мере того как местное крестьянство втягивалось в промышленную деятельность, которая становилась основой их экономики, вопрос о земельном уравнивании между селениями вообще терял свою остроту. Сохранившиеся фрагменты окладных книг за 1795 и 1820 гг. свидетельствуют, что изменения тяглого оклада дворов в Сидоровской общине не связывались с размерами их земельных угодий<sup>21</sup>. Тем самым при общинном регулировании тяглого обложения поддеревенское и поддворное право на «владение» не подвергалось изменению.

Наконец, имеются материалы второй половины XVIII—начала XIX в., свидетельствующие о прочно бытовавшем поддеревенском праве владения угодьями. В чухломском оброчном имении графа М. А. Дмитриева-Мамонова с центром в с. Аксенове община вообще не уравнивала земельные угодья ни между деревнями, ни внутри их, несмотря на «великие споры и раздоры» между малоземельными и обеспеченными селениями. В 1820 г., когда один крестьянин поставил вопрос о равном поверстании земель всех дворов в своей деревне, община вынесла решение — «тяглам не оставаться не позволяем, иметь всякому свое насколько есть»<sup>22</sup>. О внутридеревенском «владении» и отсутствии земельного уравнивания между селениями в общине села Загорья (Владимирская губ., Переяславский уезд) можно судить по рапорту 1823 г. поверенного Ф. Р. Ромашева владельцам имения Нарышкиным<sup>23</sup>.

Весьма показательно, что в земельных спорах крестьяне обращались к губернским властям в поисках официальной документации даже давно минувших времен, подтверждавшей «право» поддеревенского общинного землепользования. В 1737 г. крестьяне суздальского села Вишенки выхлопотали копию с писцовых книг 1627—1629 гг., где перечислялись различные угодья, относящиеся как к самому селу, так и к окружавшим его деревням<sup>24</sup>. В 1765 г. крестьяне ярославской дер. Слопятино, принадлежавшей князю М. М. Щербатову, добываясь в Костромской провинциальной межевой конторе благоприятного для себя разрешения земельного спора с соседними помещиками о пустоши, также ссылались на писцовые книги 1626—1629 гг. как на официальный источник, свидетельствующий о давности владения их деревни<sup>25</sup>. «Право» поддеревенского земельного держания отражалось и в другой губернской документации XVIII в. В 1777 г. при передаче М. Н. Нарышкиной унаследованного ею после смерти мужа генерал-аншефа С. К. Нарышкина имения провинциальная канцелярия Переяславля-Залесского составила опись, в которой, во-первых, была указана принадлежность тех или иных земель каждому селению, во-вторых, перечислены пустоши, составлявшие общее мирское «владение», и, наконец, в-третьих, сохранялись как очевидный анахронизм указания на принадлежность отдельных земель деревням, которых в общине уже не существовало («пустошь, что была деревня Зобово», и т. д.)<sup>26</sup>.

Итак, в условиях абсолютного подчинения феодальному землевладению община по-разному приспособляла свое земельное хозяйство к условиям тяглого существования, что отражалось на эволюции крестьянских обычно-правовых норм и представлений. При любых формах

<sup>20</sup> ЦГАДА, ф. 1384, оп. 1, д. 344, лл. 35, 36, 43—47; д. 368, лл. 24 об.—27; д. 467, лл. 11 об.—15; д. 1161, лл. 1—3; д. 1167, лл. 1—3, 5—13.

<sup>21</sup> Там же, ф. 1454, оп. 2, д. 85, лл. 1, 2; д. 107, лл. 11, 12; д. 498, лл. 1—41; д. 619, лл. 1—21; д. 1673, лл. 20—24, 26—28, 33—34, 36—39, 45 об., 47—48 об.

<sup>22</sup> ЦГАДА, ф. 1268 (Аксеновское вотчинное управление), оп. 3, д. 6, л. 12 (см. также д. 3, лл. 22 об.—23).

<sup>23</sup> Там же, ф. 1272, оп. 2, д. 63, лл. 10, 11.

<sup>24</sup> Там же, ф. 1263 (Голицыны), оп. 5, д. 1, лл. 1—4.

<sup>25</sup> Там же, ф. 1289, оп. 1, д. 512, лл. 1—2 об.

<sup>26</sup> Там же, ф. 1272, оп. 1, д. 98<sup>a</sup>, л. 1—об.

феодалной ренты, дошедшей над деревней, перед общиной стояла задача обеспечить общий объем возлагаемых на нее повинностей. Эту задачу община решала исходя из хозяйственных возможностей каждого двора и опираясь на традиционные нормы обычного права, прежде всего на право регулирования земельных отношений между ее членами и регулирования некоторыми видами угодий (леса, водные источники, паша). Эти обычно-правовые нормы приспособлялись к крепостнической действительности и постепенно трансформировались.

В условиях барщинного хозяйства, когда земельные возможности общины сводились к минимуму, правовая норма, допускавшая общинное регулирование угодий, порождала практику систематических управительных переделов их между дворами. Тем самым земельно-распорядительные функции общины усиливались. Разнообразнее проявлялся процесс эволюции общинного земельно-обычного права в оброчных имениях, где крестьяне могли более самостоятельно вести полеводство, и, следовательно, имели возможность хозяйственно распоряжаться всей землей в границах имения. В таких помещичьих владениях особенно четко прослеживались традиции по поддержанию общинно-подворного землепользования, а его регулирование осуществлялось в одних случаях путем частного условно-временного перераспределения тягловых земель между отдельными дворовладельцами, в других — путем перераспределения тех же условий земель между селениями, когда в одних из них образывалась «пашенная пустота», а в других наблюдалось малоземелье. Систематически проводившееся частное перераспределение на основе права временного пользования давало возможность общинам избежать сложного в техническом отношении и чреватого столкновениями и протестами общего земельного перераспределения и сохранять традиционные правовые нормы, определявшие «владения» отдельного селения и каждого крестьянского двора. Такое частное перераспределение отражал определенный тип общинного землепользования, при котором деревня владела «своим» полем, а каждый двор «своим» участком. Этот тип землепользования безусловно был распространен в XVII и вплоть до первой половины XIX в. Земельный контроль, будучи основой земельных прав общинной организации, был характернейшей чертой той, по словам В. И. Ленина, «чисто средневековой старины», при которой отсутствовала полная свобода мобилизации крестьянской земли<sup>27</sup>.

\* \* \*

Право общинного регулирования тягловых земель между селениями и право деревенского держания «своего» поля дуалистически сосуществовали с комплексом правовых представлений о подворном, индивидуальном «владении», отражавшем частнособственнические тенденции деревне. В дореволюционной и советской исторической литературе неоднократно отмечались факты, свидетельствовавшие о праве крепостных крестьян распоряжаться землями внутри общины, а именно потомственная передача представителям младшего поколения, обмен участками, раздел земель при распаде неразделенных семей, передача угодий в качестве приданого, купля-продажа дворов и наделов, сдача в аренду. Обращалось также внимание на разницу в обычно-правовом статусе разных земель; так, тягловая надельная земля крестьянским правосознанием

<sup>27</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 322.

<sup>28</sup> Доброклонский А. П. Солотчинский монастырь, его слуги и крестьяне XVII века. М., 1883, с. 58; Образцов Г. Н. Оброчные и порядные записи Антониевского монастыря.— Исторический архив. М.: Изд-во АН СССР, 1953, т. VIII, с. 84, 85, 90; Шапиро А. Л. Указ. раб., с. 49; Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV веках. М.: Соцэкгиз, 1960, с. 265; Сахаров А. Русская деревня XVII в. М.: Наука, 1966, с. 146, 147; Бакланова Е. Н. Крестьянский двор и община на Русском Севере. Конец XVII — начало XVIII в. М.: Наука, 1971, с. 160—180; Прокофьева Л. С. Крестьянская община в России во второй половине XVIII — первой половине XIX в. (на материалах вотчин Шереметевых). Л.: Наука, 1981, с. 96—102.

вещь признавалась общинным, а пашня, расчищенная от леса (росчисти) — индивидуальным владением<sup>29</sup>. Правда, в дальнейшем эти росчисти могли быть включены в общинное владение. В целом же обращение земли в крепостной деревне рассматривалось в связи с социально-экономическими процессами, и значительно меньше обращалось внимание на правовую обусловленность этого обращения в условиях крепостной действительности и общинного землепользования. Поэтому прослеживая эволюцию земельного обычного права необходимо учитывать огромное значение поземельного права крестьянского двора, так как правовая основа использования им земли стояла в прямой связи с его производственной деятельностью как первичной единицы сельской общины.

Было бы неверно представлять, что земельные отношения в крепостной общине основывались на чисто «механических» связях между крестьянским двором и общиной, при которых она предоставляла каждому крестьянину необходимые ему угодья и тем самым вопрос исчерпывался. Дело обстояло значительно сложнее.

Само собой разумеется, что в условиях полицейско-вотчинного режима, нередко устанавливавшегося в барщинных имениях, бытование обычного права зависело от барской администрации и могло сводиться на нет. Однако, как справедливо отмечал А. Л. Шапиро, «феодалная земельная собственность была невозможна без крестьянского земельного владения. И как бы широки ни были права собственности феодала, он должен был считаться с владельческими правами крестьянина. Даже если этот крестьянин был крепостным, его владельческие права невозможно было безгранично ущемлять, не ущемляя тем самым свои собственные барские интересы. Владение наделом не было простой формальностью или фикцией. Оно имело большое хозяйственное значение»<sup>30</sup>.

В оброчных имениях обычно-правовые установления удерживались более стойко, а потому там легче проследить их бытование и изменения, происходившие как под давлением общины, когда она приспособлявала свое земельное хозяйство, чтобы вынести гнет тягловых обязательств, так и в процессе втягивания деревни в товарно-денежные отношения.

Важнейшей нормой обычного права было неоспоримое право крепостного крестьянина на пользование тягловой землей. К. Маркс и В. И. Ленин отмечали, что в феодальном обществе крестьянин осуществлял производство на фактически принадлежавшем ему поле<sup>31</sup>. По правовым представлениям крепостной деревни наследственно-подворное держание, жестко ограничиваемое обязательным несением тягла, считалось безусловным, пока тягло выполнялось. Очень образно это право безусловного владения было сформулировано в одном мирском приговоре чухломской Аксеновской вотчины в 1816 г. Рассматривая претензию одного крестьянина на землю соседа, мир отказал ему на том основании, «что оный Антипа самовольно земли не скидывает, а сильной рукою отнимать замышляется»<sup>32</sup>. Тот же правовой момент неоднократно прослеживается в мирской документации Никольской общины. Так, в 1805 г. мирское управление по просьбе двух крестьян вернуло им части их наделных земель, которые ранее в связи с ослаблением их тяглоспособности были отданы соседям. В тяглой ведомости указывалось, что отрезанные участки «состояли» в их «владении» и ныне «обращены» в их же «владение». На том же праве, там же в 1815 г. другой крестьянин в аналогичной ситуации «беспрепятственно» возвратил «собственную свою землю в прежнее свое владение»<sup>33</sup>. Право безусловного подворного потомственного тяглого владения отражалось в общинной документации в весьма показательных формулировках — наделы считались «вечным владением»

<sup>29</sup> Бакланова Е. Н. Указ. раб., с. 172.

<sup>30</sup> Шапиро А. Л. О природе феодальной собственности на землю. — Вопросы истории, 1969, № 12, с. 59.

<sup>31</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. II, с. 358; Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 184.

<sup>32</sup> ЦГАДА, ф. 1268, оп. 3, д. 6, л. 6 об.

<sup>33</sup> Там же, ф. 1384, оп. 1, д. 544, л. 107 об; д. 550, лл. 8 об. — 9.

(иначе — «домашним», «собственным»). Это право распространялось на двор в целом, т. е. имело общесемейный характер. Случалось, что общинные власти продавали своим крестьянам тягловую землю. Такие «продажи» могут вызвать недоумение, если их понимать буквально. Так в 1788 г. мирским приговором Никольской общины выморочный комплекс тягловой земли был продан братьям Ушаковым «вечно во владении». Однако дело заключалось в том, что Ушаковы были откуда-то переведены в Никольское владельцем В. Г. Орловым, а суть общинного решения сводилась к продаже не собственно земли, которая была общинной, а права на ее «вечное» использование, коль скоро Ушаковы стали членами этой общины<sup>34</sup>. Семейное право на комплекс угодий четко проявлялось при распадении неразделенной семьи или выделении одного из ее членов. Нередко общность земельного владения сохранялась даже после раздела таких семей. Подобные факты известны из документации Никольской общины начала XIX в. В чухломской общине с центром в с. Подрелки, судя по росписи раскладки рекрутской повинности на 1787—48 близкородственных, но отдельно живших семей, чаще всего братья редко отцы с сыновьями или дядья с племянниками, несли общее тягло. По этим данным в 19 случаях при распаде неразделенных семей сохранялась общность их наделов<sup>35</sup>. Из общесемейного права на комплекс общинных угодий вытекало право распоряжения, выражавшееся в передаче их младшим членам семьи мужского пола. Наследование тягловой земли было обязательным условием самостоятельного хозяйственного функционирования малой семьи. Такое наследование приводило к тому, что из поколения в поколение отдельный двор использовал одни и те же полевые земли деревенской общины, считая их «своими», находящимися в «вечном владении», что серьезно препятствовало тем передельным тенденциям, которые возникали в общинах. Анализ окладных книг Никольской общины, хорошо сохранившихся за 1780—1820-е гг., неоспорительно свидетельствует о потомственном переходе тягловой земли в каждой деревне от отца к сыновьям<sup>36</sup>.

Сущность подворного земельного наследственного права заключалась в том, что в семье — неразделенной или малой — на каждого ее члена мужского пола в равных долях распространялось потомственное наследование. В неразделенных семьях сыновья наследовали поровну долю отца, которая в свою очередь полагалась ему наравне с его братьями.

Общинное требование тяглоспособности выделявшихся членов неразделенных семей, порожденное феодальными повинностями, укрепляло традицию раздела между ними тягловой земли; вместе с тем эта традиционная норма вовсе не способствовала укреплению внутри общины тягловой подушной уравнительности дворов, так как раздел земли осуществлялся по мужским душам и не зависел от общей численности разделившихся семей. Сохранившиеся в значительном количестве акты последней четверти XVIII — первой четверти XIX в. по разделу имущества в крестьянских семьях Никольской, Писцовской и других общин свидетельствуют о жестком соблюдении рассмотренных правил.

Личное право каждого мужчины в крестьянской семье на тягловую землю имело серьезное ограничение. Прежде всего оно действовало только в пределах деревенской общины. Если при семейных разделах кто-либо переселялся из родной деревни даже в соседнюю, входившую в нее, то в состав той же сложной общины, то в силу общинного деревенского права уходивший не мог претендовать на свою долю земли (или на компенсацию), а должен был получить ее от той деревенской общины, членом которой он становился<sup>37</sup>. Личное право крестьянина на тягловую землю в своей деревне было связано с обычно-правовым пра-

<sup>34</sup> Там же, д. 544, лл. 20, 21; д. 651, л. 6 — об.; д. 1135, лл. 1—3.

<sup>35</sup> Там же, ф. 1369, оп. 1, д. 49, лл. 1—14.

<sup>36</sup> Там же, ф. 1384, оп. 1, дд. 29, 35, 55, 118, 200, 285, 423, 435, 509, 914, 967, 116.

<sup>37</sup> Там же, д. 252, л. 1; д. 317, л. 1; д. 544, лл. 16 — об., 32 об. — 33; ф. 1369, оп. 1, д. 255, л. 5; ф. 1454, оп. 2, д. 496, л. 2.

ставлением о том, что члены некогда существовавшей неразделенной семьи имели преимущественные основания на передачу именно им тягловой земли, если по каким-либо причинам их отдельно живущий родственник отказывался от участка или его части<sup>38</sup>. При семейных разделах случалось, что даже оговаривалось взаимное право близких родственников на тягловую землю<sup>39</sup>. Правда, передача родственникам земли, от которой «навечно» отказывался крестьянин-тяглец, происходила в конкурентной борьбе с соседями, и ее успех зависел от мнения мирских властей. При этом, если борьба заканчивалась в пользу соседей, то в мирских приговорах указывалось, что земля передается новым владельцам «навечно», и эта формулировка впредь исключала претензии родственников. Таким образом, в сельской общине отражалась борьба между родственным принципом, который основывался на подворном владении землей, и соседско-общинным, вытекавшим из права общины распоряжаться землей крестьянина, если он не мог тянуть с нее тягло.

При указанных ограничениях главы крестьянских семей с согласия, разумеется, общинных властей имели право временного распоряжения тягловой землей, т. е. сдать часть ее соседям ради уменьшения тяглого оклада или передать им же в аренду. Несколько иначе крестьяне-общинники подходили к праву нетяглоспособных семей распорядиться надельной землей. Владеть ею такие семьи не могли, но ради поддержания их дальнейшего существования им предоставлялась возможность передать соседям тягловые угодья с материальной компенсацией.

Своеобразен был статус общинных земель, персонально приведенных тем или иным крестьянином в культурное состояние. Такие росчисти входили в тягловый земельный оклад двора, но крестьянин обладал правом безусловного распоряжения ими внутри общины, если она располагала земельными резервами<sup>40</sup>. Основанием к тому служил вложенный труд по освоению земли. Там, где ощущался недостаток пашенных земель, подворное право владения росчистями ограничивалось определенным сроком, и затем они включались в категорию общих надельных земель<sup>41</sup>.

Своеобразием отличалось также право владения земельными участками, составлявшими собственно дворовой комплекс (двор с хозяйственными строениями, огород, конопляник, гумна). Отвод земли под усадьбу внешне приближался к передаче в «частное» владение. По данным 1740-х гг. в суздальской Лежневской общине и в поволжских общинах, принадлежавших во второй половине XVIII в. Орловым, по решениям мирских правлений крестьянам на отводимые «дворовые места» выдавались специальные документы, удостоверявшие их право «вечного», «наследственного» владения («владенные памяти»)<sup>42</sup>. Однако «вечность» этого вида владения имела весьма существенные ограничения. Площадь подворных участков должна была соответствовать «тяге», т. е. пашенной земле, с которой несло тягло, что прослеживалось во многих общинах<sup>43</sup>. Соответствие полевой, пашенной земли дворовому комплексу предусматривало сдачу («навечно» или временно) определенной его ча-

<sup>38</sup> Там же, ф. 1384, оп. 1, д. 35, лл. 1—9; д. 83, лл. 1, 2; д. 200, лл. 1—12, 18, 19; 654, лл. 25—29; д. 725, л. 22—об.

<sup>39</sup> Там же, ф. 1384, оп. 1, д. 28, л. 19; д. 82, лл. 17 об.—18; д. 907, лл. 4, 5.

<sup>40</sup> Из переписки помещика с крестьянами во второй половине XVIII столетия.— Гр. Владимирской ученой архивной комиссии. Кн. VI. Владимир, 1904, № 25; ЦГАДА, ф. 1396, оп. 1, д. 656, л. 10—об.; д. 1620, лл. 1—4.

<sup>41</sup> *Вдовина Л. Н.* Поземельные отношения и крестьянская община в монастырских вотчинах первой половины XVIII века: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. ист. наук. М.: МГУ, 1974, с. 13; *Козан Э. С.* Очерки истории крепостного хозяйства по материалам вотчин Куракиных второй половины XVIII в. М., 1960, с. 32—35, 44, 45.

<sup>42</sup> ЦГАДА, ф. 1373, оп. 1, д. 57, лл. 2—3 об.; ф. 1384, оп. 1, д. 368, лл. 42—45; ф. 1454, оп. 2, д. 947, лл. 1—7.

<sup>43</sup> ЦГАДА, ф. 1374, оп. 1, д. 22, лл. 26—27; д. 28, лл. 15, 17; ф. 1262, оп. 1, д. 54, лл. 1—об.; ф. 1396, оп. 1, д. 739, л. 11; ф. 1384, оп. 1, д. 547, л. 1—об.; д. 1028, лл. 1, 4, 5; д. 1134, лл. 2—8; д. 1193, лл. 2, 3; ф. 1454, оп. 1, д. 1001, л. 12; д. 1225, лл. 1—6; *Шапиро А. Л.* Крестьянская община..., с. 51.

сти в том случае, если объем тягла у крестьянина при очередной переоброцке уменьшался, что представляло серьезное ограничение прав «вечного наследственного владения». Только при условии полной нетрудоспособности крестьянина и сдачи (ввиду отсутствия других тягловых земель в семье) пашенной земли соседям, дворовый комплекс мог остаться за ним пожизненно или мог быть свободно продан другим общинникам.

\* \* \*

По словам В. И. Ленина, «господство крепостников-помещиков наложило свою печать в течение веков на все землевладение страны, и крестьянские наделённые земли, и на землевладение переселенцев и сравнительно свободных окраинах...»<sup>44</sup>. Разница состояла лишь в том, что в черносошной (с XVIII в. государственной) деревне эта печать накладывалась непосредственно государством, и в условиях системы государственного феодализма крестьянство, особенно сибирское, сохраняло право подворного владения, а в крепостной деревне — помещиками. Община вынуждена была все более приспособлять с XVII в. свое землепользование к требованиям помещичьего хозяйства и форм ренты. В отечественной литературе с середины XIX в. дискутировался вопрос о возникновении земельных переделов в русской деревне, и многие ученые признавали их позднее появление. Рассмотренные материалы помещичьи-вотчинных архивов XVIII — начала XIX в. свидетельствуют о том, что даже на позднефеодальном этапе истории крепостного крестьянства сельская община по мере регулирования своего землепользования только подходила к уравнивательным переделам. Быстрее этот процесс проходил в барщинных помещичьих хозяйствах, медленнее в оброчных. Но и в том и в другом случаях в принципах земельного регулирования и в правовых нормах, их отражавших, так или иначе проявлялась общая закономерность, а именно — усиление роли деревенских общин и подчинение земельных прав отдельных крестьянских дворов общемирскому началу. При сохранявшейся общности земельного владения общины земельные права дворов приобретали сугубо условную форму. Все виды угодий в общине, в том числе рощисты и купленные участки, все более отчетливо становились объектом не наследственно-подворного, а лишь временно-условного тяглового владения двора и по вырабатывавшимся обычаям должны были ему соответствовать. В этом эволюционном процессе понятие «собственная» земля, которым оперировали в повседневном быту крестьяне, теряло свое реальное внутривотчинное содержание, а тем самым сдерживалось и развитие понятия «земельная собственность». В условиях тяглового обложения община в целом не только препятствовала развитию подворного землепользования, но и распространяла сплошь и рядом свою власть на купленные крестьянами земли, добиваясь даже их слияния с общинной землей, что затрудняло процесс капиталистического развития крепостной деревни даже в период кризиса крепостничества.

<sup>44</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 16, с. 405.

**Н. М. Гиренко**

## **ВОСТОЧНОАФРИКАНСКИЕ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (XIX—XX вв.)**

Проблема роли и места культуры в процессе формационных изменений для Африки весьма актуальна. Ее разработка нередко приводила к практическим выводам. Прагматический подход к культурологическим исследованиям в африканистике достаточно ясно обозначился еще в колониальное время. Присутствует он и в современных исследованиях, и

гда африканские этносы, как правило, сосуществуют уже в рамках обширных политических образований, что для доколониальной Африки не было типичным. В колониальный период интерес исследователей был преимущественно направлен на описание отдельных социальных институтов, явлений материальной культуры и их пространственного распространения; изучались отдельные целостные общественные организмы; во всех случаях провозглашалось, что объектом исследования является культура<sup>1</sup>.

В современных этнологических исследованиях по Африке присутствует, часто в виде подтекста, стремление найти в истории африканских культур ответ на актуальные вопросы социальной, экономической или политической практики. Это неизбежно приводит к постановке вопроса соотношения культуры или традиционно относимых к области культуры явлений и явлений социальных, экономических, политических пр.<sup>2</sup> Естественно растет и роль теоретического общенаучного знания; большое значение приобретает философская позиция исследователя. Показательна в этом отношении острая дискуссия о соотношении гносеологии и онтологии на рабочем семинаре в Дар-эс-Саламе (Танзания) 1976 г. в связи с танзанийско-финскими совместными исследованиями, проводившимися с целью изучения роли культуры в программе общественных преобразований в аграрных районах Танзании (район Западное агамою — Прибрежная область)<sup>3</sup>. Исследовалась, однако, не культура как особое явление, а реальный процесс социальных и экономических преобразований. Впрочем, есть в истории африканских исследований и обратные примеры, когда авторы стремятся основным объектом избрать именно культуру. Наиболее показательна в этом отношении книга Мердока «Африка. Ее народы и их культурная история», где региональная классификация африканских этносов по типу хозяйства, языку другим параметрам подается как историческая типология африканских культур. Основными принципами, действовавшими в культурно-историческом процессе, оказываются диффузия и логически связанная с нею миграция. Сходство даже таких характеристик, как форма наследования, филиация, тип социального устройства, не говоря уже о языке, воспринимается как признак этногенетической близости<sup>4</sup>. Вопрос об эволюции социальных и культурных систем, таким образом, по существу снимается, а стадиальные особенности становятся неотличимыми от этнических. Основными двигателями эволюции культуры и общества оказываются заимствования и развитие технологии, причем последняя не входит в предмет исследования Дж. Мердока.

В этнографических работах понятия «культура» и «общество» часто дифференцированы, но попытка уйти от разграничения их специфики всегда ведет к их отождествлению. Известно, что общества доклассовой эры социальной эволюции часто берутся в целом как объект этнографического изучения и рассматриваются как «культуры». Такая первоначальная культурологическая установка нередко приводит к отождествлению культурного и общественного<sup>5</sup>. Это особенно касается тех случаев, когда речь идет либо о становлении человеческого общества, либо об обществах, находящихся или находившихся в недалеком прошлом на ранних фазах социальной эволюции. Представляется, что указанная посылка неверна в принципе; хотя и имеет объективную основу в том, что «культурное» и «общественное» не существуют одно без другого. Расчленение процесса становления и развития явления культуры часто

<sup>1</sup> Malinowsky B. Dynamics of Culture Change. New Haven, 1946, p. 42.

<sup>2</sup> См., например: Ethnicity and Resource Competition in Plural Societies/Despres L. A. Hague — Paris, 1975.

<sup>3</sup> Jipemoyo Development and Cultural Research/Swantz M.-L., Jerman H. Bagamoyo Project 1/1977, University of Helsinki. Uppsala, 1979, p. 10.

<sup>4</sup> Murdock G. P. Africa: Its Peoples and Their Culture History. New York — Toronto — London, 1959, p. 306.

<sup>5</sup> Levi-Strauss C. Social Anthropology. N. Y., 1967, p. 356.



начинается с анализа соотношения природы и культуры, что кажется вполне правомерным, так как природа является естественной предпосылкой существования человека и общества. Однако все отдельные общественные явления, в том числе и культура, по отношению к природе полнотой опосредованы существованием общества как особой формы движения, и тем самым при любом уровне теоретического исследования в обществоведении «субъект — общество — должен постоянно выдвигаться перед нашим представлением как предпосылка»<sup>6</sup>. При прямом сопоставлении отдельного общественного явления с явлением природы это основная предпосылка существования любого общественного явления не только не снимается. Культура реального социального организма, действительно, охватывает все стороны его жизни, и тем не менее не тождественна ему. Заметим, что в работах, где «культурное» и «общественное» не различаются, терминологическая перестановка ничего не меняет в логике и выводах авторов. Сложность разграничения собственно культурного и социального давала и дает повод для далеко не безобидных произвольных манипуляций этими категориями. Известны попытки представить классовые, экономические, политические и другие противоречия как конфликт культур и рас, сняв тем самым вопрос об объективных формационных законах. Наиболее ярким примером тому является апартеид.

Представляется, что диалектика соотношения культуры и общества более всего приближается к диалектике соотношения формы и содержания. В этом смысле если любое общественное и общество как целое — это конкретный способ деятельности и одновременно результат ее (способ воспроизводства общественной жизни), то культура является конкретной формой реализации бытия этого общества. Т. е. культура — это аспект общественного, общественное с точки зрения формы его конкретной реализации. Эта форма доступна непосредственному наблюдению, исторически вырабатывается в человеческой общественной деятельности и в деятельности же воспроизводится. Действительно, «при решении проблемы взаимоотношения общества «в узком смысле» и культуры теоретически правильным и методологически плодотворным может быть лишь такое их понимание, при котором соотношение понятий «общество» и «культура» рассматривается не как соотношение части и целого, а как выражение двух различных сторон, планов органически единого и исторически одновременно возникающего целого, различного лишь средствами логического анализа»<sup>7</sup>. Но в силу этого же культура вряд ли может выступать в качестве «функции общественной жизни»<sup>8</sup>, так как культура — это форма осуществления жизни. Неразрывность формы и содержания здесь служит предпосылкой моделирования индивидуальной и коллективной деятельности, условием устойчивости системы и одновременно условием ее вариативности.

Абстрагируясь от конкретных проявлений этой формы часто строится модель культуры или культурной среды, ее идеальную, объективированную схему. Чувственно данная форма проявления конкретного «общественного» — это первое свойство, с которым сталкивается этнограф при изучении общества. Культура отдельного общества, действительно, представляет единство, но это единство формы. Эта форма может быть сильной в различных обществах, но как целостная система культура способна действовать, изменяться только в рамках единого социума, в рамках конкретных обществ, черпая свою объективную динамику в общественной деятельности (производственной, социальной, интеллектуальной и пр.). Археологические объекты вновь становятся общественными, наполняются общественным содержанием, лишь когда их включают в современные системы знания и в соответствии с этими системами интерпретируют. Итак, если система культуры — это развивающаяся система

<sup>6</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 38.

<sup>7</sup> Маркарян Э. С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1973, с. 57.

<sup>8</sup> Маркарян Э. С. Понятие «культура» в системе современных социальных наук. Доклады советской делегации на IX МКАЭН. М.: Наука, 1973, с. 11.

ю законы ее развития подчинены социальным и экономическим эволюционным законам, но, будучи законами развития формы, не могут быть им тождественны. Как отмечал К. Маркс, «если бы форма проявления сущности вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишня»<sup>9</sup>. Видимо, вполне закономерно полагать, что культура не только охватывает, но и не может не охватывать все общественные явления, доступные непосредственному наблюдению — чувственному восприятию. Но мы знаем, что помимо явлений, данных в непосредственном наблюдении, существуют такие явления экономики, социологии, идеологии и пр., которые в непосредственном наблюдении, чувственном восприятии не даны и из индивидуального опыта не объяснимы. Для их анализа и понимания необходимо абстрагироваться от формы, так как в этих процессах существенны содержательные, объективные закономерности, объективные тенденции развития. Известно, что говоря «о всяких вообще формах проявления и о скрытой за ними основе», К. Маркс отмечал: «Первые непосредственно воспроизводятся сами собой, как ходячие формы мышления, вторая может быть раскрыта лишь научным исследованием»<sup>10</sup>.

В рамках единой культурной системы, как системы форм, в которых осуществляется бытие общественного, возможно выделить нормативные, групповые, статусные и прочие формы культуры, признаваемые эталонными в отдельных контекстах, или культурой по преимуществу. Об особенностях таких форм можно говорить как о существующих только на общем фоне культуры.

Динамика культуры неизбежно отражает социальную динамику в отдельных ее свойствах, но не может сводиться к последней. Стремление интерпретировать социальные явления как культурные или культурные исключительно как социальные ведет к снятию крайне важного диалектического противоречия формы и содержания в эволюционном процессе. Л. Уайт рассматривал эволюцию социальную как текущий во времени и изменяющийся в этом течении поток культуры, обладающий своими закономерностями<sup>11</sup>. Представляется, что эволюция культуры как аспекта общественного может лишь отражать этапы общественного развития, но не становится его содержанием. Усложнение формы — культуры — далеко не всегда отражает усложнение общественного развития в целом или тенденции развития отдельного свойства общественного в собственно эволюционном плане. Так, если тенденция к простому воспроизводству видов общественных отношений или всей их системы рассматривать как тенденцию к традиционности, то можно утверждать, что чем более традиционно общество (конкретное, отдельное), тем более развиты, иногда доведены до структурного идеала, приближающегося к абсурду, его социальные, этические и прочие формы. Следование тенденции простого воспроизводства явления (традиция) — это необходимый компонент движения и развития, предполагающего обязательно момент удержания, накопления, но в то же время традиция препятствует качественному скачку, развитию общественного (содержательного), способствуя эволюции формы — кристаллизации, стилизации, созреванию и совершенствованию «культурного», т. е. нормативного. Так, в Восточной Африке оромо, масаи, гикуйю и ряд других этносов имели четко выраженные традиционные формы возрастной стратификации (системы возрастных классов) с детально разработанной системой ритуалов и сложными соотношениями с общественными подсистемами других уровней. Эти этносы интенсивно эксплуатировали в организации своих обществ один из древнейших принципов социальной организации — принцип половозрастной стратификации. У отмеченных этносов число возрастных градаций, детализация групповых подразделений были весьма разнообразными. Можно ли говорить о том, что чем более детализирована система возра-

<sup>9</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 384.

<sup>10</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 552.

<sup>11</sup> White L. The Science of Culture: a Study of Man and Civilisation. N. Y., 1969, p. 328.

стных классов, тем более развито общество или, наоборот, менее развито? Представляется, что ставить вопрос таким образом вряд ли правильно. Сам факт детализации (развития формы отдельного явления) показывает скорее специфичность развития, в частности института возрастных классов, основанного на действии принципа половозрастного деления, существующего в любом обществе. Детализованность — это особенность собственно культурного характера. Детализация (совершенствование по форме, но не по существу) этой древней социальной подсистемы свидетельствует о неизменной жизненности древнего принципа и наличии экономических и социальных условий, стимулировавших актуальность возрастной стратификации. В течение очень длительного времени этот институт находился в соответствии с указанными условиями, будучи ими не только вызван к жизни, обусловлен, но и развит. Но в ситуации же детализации, развития «внутри» на односторонней основе подобный институт при социально-экономических изменениях адаптируется тем труднее, чем больше степень его детализации, структурного совершенства. В стремительно меняющихся условиях колониальной эпохи такие институты либо замыкаются, превращаясь в консервативную, т. е. не принимающую инноваций, систему, либо разваливаются под давлением инноваций. У ньякьюса и гикуйю возрастные системы не получили столь детального развития, как у оромо или масаи, возрастные градации шли с гораздо большими возрастными интервалами<sup>12</sup>, и эти системы легче «адаптировались» к новым условиям, т. е. по существу постепенно исчезали на глазах этнографов. Более подвижные итесо Кении с переходом к оседлому хозяйству потеряли традицию возрастных градаций, чем способствовало также слабое развитие системы возрастных классов в рамках возрастной системы, значительный интервал между инициациями<sup>13</sup>. Аналогичное явление можно было наблюдать при включении такого социального института, как институт вождя в Восточной Африке, в систему колониального управления: он различным образом входил в колониальное общество и с различной скоростью разрушался, несмотря на все попытки системы «непрямого» управления сохранить его<sup>14</sup>. Эволюция явления культуры (развитие формы) в данном случае сама по себе говорит лишь о длительном периоде устойчивости, о развитии внутри как движении в некотором тупиковом варианте, после которого исторически должны произойти эволюция содержания и кризис формы. Действительно, наиболее гармоничные, детализированные, структурно совершенные формы социальной культуры мы находим в изолятах, в недифференцированных в хозяйственном отношении обществах или — в исторической перспективе — в социальных организациях, находившихся накануне некоторого локального исторического катаклизма. К таким формам относятся, например, статистические (формализованные) группирования типа дуальностей, родовых союзов, ритуализованные системы контакта социальных групп, детализированные возрастные системы типа возрастных классов и пр.

С этой позиции эволюционный переход из одного качественного состояния в другое, период смены стадий общественно-экономического развития является необходимым и определяющим динамическим толчком для возникновения качественных изменений и в социальной, и в культурной системе. Эволюция всегда предполагает как минимум три момента: появление нового в традиционном контексте; оформление, кристаллизацию этого нового; кризис старого, т. е. возникновение нового контекста. Наиболее показателен в этом отношении период перехода от доклассовой стадии к классовому образованию и государству.

<sup>12</sup> Различия в продолжительности циклов у различных систем возрастных классов см. *Калиновская К. П.* Возрастные группы народов Восточной Африки. М.: Наука, 1976.

<sup>13</sup> *Karp I.* Field of Change among the Iteso of Kenya. L., 1978, p. 16—29.

<sup>14</sup> Подробнее см. *Гуренко Н. М.* Колониальный режим и традиционные социальные институты (на примере Танзании). — Сов. этнография, 1974, № 1.

Социальные организмы доколониальной Восточной Африки в большинстве своем были потестарными общностями, по социальной структуре представлявшими различные стадии эволюции племени. Наиболее сильные и социально-экономически развитые из них возникали в Междозерье и непосредственно на восточноафриканском побережье. Социальные организмы Междозерья и прибрежной зоны (города-государства суахили) сложились на совершенно различных основаниях. Создание сильно стратифицированных социальных организмов в Междозерье было в значительной степени обусловлено природной средой, позволявшей получать большой объем продукции, в особенности различных видов банана, даже при мотыжном циклическом земледелии с естественным восстановлением плодородия почв. Эти природные условия способствовали увеличению плотности земледельческого населения и росту иерархичности социальных организмов. В западных районах Междозерья существовали благоприятные условия для разведения крупного рогатого скота и одновременно для земледелия. Здесь на базе сочетания земледелия и скотоводства возникали надплеменные, довольно устойчивые социальные образования, в основе экономики которых лежали оба вида хозяйственной деятельности — и скотоводство, и земледелие. Относительно большой и устойчивый продукт в этих обществах получался не за счет большего развития производительных сил или технологии производства. По культуре производства, по орудиям труда, агротехнике социальные организмы Междозерья мало отличались в принципе от окружающих обществ этой части континента. Земледельческие общины, равно как и скотоводческие, могли уходить из районов с повышенной плотностью населения в менее населенные, где постоянно шел процесс роста и сегментации социальных организмов с выработкой относительно общих свойств культуры. При сегментации расходящиеся социальные организмы стремились, естественно, остаться в той экологической нише, к которой их экономическая деятельность была наиболее приспособлена<sup>15</sup>. В Междозерье этот процесс, который можно определить как пульсацию<sup>16</sup>, тоже продолжал идти, но по отмеченным причинам был замедлен (рост социальных организмов и их распад происходили в рамках значительно большего временного интервала).

Культура государственных образований побережья возникала на принципиально другой основе, в результате контакта различных внутриконтинентальных систем натурального обмена с товарно-денежной системой ближневосточного, а затем и европейского рынков. Еще в XIX в. во внутриконтинентальных районах не сложились широкие системы обмена единым эквивалентом<sup>17</sup>, хотя достаточно широко ходили в качестве универсальных единиц раковины каури, изделия из железа и меди, лубяная материя и циновки. Культурные центры восточноафриканского побережья возникали в местах контакта этих принципиально отличных прежде всего в экономическом отношении комплексов и тем самым были результатом взаимопроникновения, напластования систем разного эволюционного уровня. На этой основе сложилась и весьма своеобразная культурная общность — суахили, язык которой стал в настоящее время государственным языком Танзании. При всей несхожести социальных структур Междозерья и прибрежной зоны, можно выделить их общие черты, проявляющиеся в первую очередь по отношению к типичной форме социальной организации доколониальной Восточной Африки — потестарному племени.

<sup>15</sup> Kesby J. D. The Cultural Regions of East Africa. London — New York — San Francisco, 1977, p. 267—269; Cohen R. and Middleton J. Introduction.— In: From Tribe to Nation in Africa/Cohen R. and Middleton J. Scranton, 1970, p. 11—12.

<sup>16</sup> См. подробнее: Гуренко Н. М. Тенденции этнического развития в Уньямвези X—XX вв.— В кн.: Этническая история Африки. М.: Наука, 1973, с. 84—85.

<sup>17</sup> Roberts A. Nyamwezi Trade.— In: Pre-colonial African Trade, Essays on Trade in Central and Eastern Africa Before 1900/Gray R. and Birmingham D. London — New York — Nairobi, 1970, p. 64—65.

Потестарное племя — это социальный организм. С точки зрения культуры эта исторически обусловленная форма социального устройства характеризуется тем, что можно обозначить как мононорма<sup>18</sup> — единые формы экономической деятельности, единство материальной культуры и единые формы систем родственных отношений, единые речевые нормы, мировоззренческие установки, мифология и пр. Выделившиеся еще в племенной стадии социальной эволюции специфические, приближающиеся к индивидуальным виды деятельности (преимущественность которых зависит от минимальных коллективов и даже индивидов), т. е. знахарство, колдовство, кузнечный промысел, даже на этой стадии социальной эволюции получают внеплеменной статус, хотя и разворачиваются по большей мере в рамках единой в культурном отношении общности — этноса. Мы знаем, что этническая общность в этом регионе всегда была представлена множеством племен — социальных организмов — со схожими, но не тождественными культурами. Знахарь, колдун, кузнец здесь потенциально и реально «обслуживают» множество племен, в том числе и входящих в состав различных этносов. На это обстоятельство — развитие профессиональной специализации — в этнологии обращалось внимание давно, в частности на то, что люди, занимающиеся подобной деятельностью, обладают исключительными социальными правами, воспринимаемыми как следование не норме, а антинорме. Так, М. Мосс допускает, что «обладатели» магии — это, как правило, профессионалы высшего класса и, вероятно, одни из первых профессионалов. Исследователь считал, что эти качества обусловлены особой социальной позицией<sup>19</sup> (что вполне справедливо в функциональном плане), но, как представляется в эволюционном плане причинно-следственная связь как раз обратная: социальная позиция таких людей в племенной организации первоначально определялась их исключительностью — нарушением культурной нормы, чем бы эта исключительность ни была вызвана. Сама мотивировка исключительности особой позицией в общественной системе могла возникнуть только как результат некоторого процесса развития системы. Логика исследования, совпадающая с логикой функционирования общества, исследование совсем не обязательно совпадает с исторической логикой становления, развития изучаемого явления. Как отмечал К. Маркс, «Мышление над формами человеческой жизни, а следовательно и научный анализ этих форм, вообще избирает путь, противоположный их действительному развитию. Оно начинается *post festum* (задним числом), т. е. исходит из готовых результатов процесса развития»<sup>20</sup>.

«Профессионалы», по существу, имеют самостоятельный не только социальный, но и культурный статус, выходя за рамки монокультурных мононорм. Чем более они от нее оторваны, тем более они способны «влиять» на нее своими исключительными качествами, своей магической силой. Так, самые выдающиеся предсказатели, колдуны и пр., как правило, члены внешних, чужеродных этносов<sup>21</sup>. В том случае, если местный предсказатель или колдун в силу каких-либо обстоятельств получает большой престиж, он все более отрывается от локальных статусных категорий. В связи с этим знаменитый пророк, как правило, должен быть чужаком<sup>22</sup>. Те же обстоятельства определяют тот факт, что кузнецы доклассовом обществе (рудимент этого прослеживается и в классовом обществе), как правило, попадают в разряд колдунов и знахарей, выполняя недоступную для основной массы племени работу. Их исключительность мотивирована не позицией в социальной иерархии, а, наоборот,

<sup>18</sup> О категории «мононорма» см. *Периц А. И.* Проблемы нормативной этнографии. — В кн.: *Исследования по общей этнографии*. М.: Наука, 1979, с. 210—240.

<sup>19</sup> *Mauss M. A General Theory of Magic*. N. Y., 1972, p. 27—40.

<sup>20</sup> *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч., т. 23, с. 85.

<sup>21</sup> *Harwood A.* Witchcraft, Sorcery and Social Categories among the Safwa. L., 1964, p. 49.

<sup>22</sup> *Peristiany J. G.* The Ideal and the Actual: the Role of Prophets in the Political Systems. — In: *Studies in Social Anthropology*/Beattie J. H. and Lienhardt G. L., 1975, p. 193.

пределяет эту исключительную позицию. Они в принципе отличаются от лиц, отправляющих обряды и осуществляющих ритуалы по праву своей социальной позиции или по обязанности, что, вероятно, будет точнее, и в соответствии с общеизвестной (для данного отдельного общества) жесткой нормой. Исключительность позиции людей упомянутой выше категории подчеркивается и исключительностью атрибутов, обозначающих в первую очередь их отторженность от мононормы и, по логическому оппозиту, тем самым причастность к антинорме как символу недопустимого, асоциального, внешнего. В тот же разряд попадают и лица, в каком-либо обстоятельстве нарушающие норму, проявляющие себя как исключение из общего правила (поведение, внешний вид) и тем самым противопоставляющие себя обществу по культуре — форме реализации своего бытия в обществе, а следовательно, и ко всему обществу. Колдовство и нарушение нормы для этой стадии общественного развития — явления тождественные. Продолжая известную мысль М. Мосса о том, что маги принадлежат более к миру духов, чем к миру людей<sup>23</sup>, следует отметить, что оторгнутые от мира людей, они должны принадлежать какому-либо иному миру. Знак их отторженности (т. е. содержание антинормы) должен, как и любой знак, иметь системное содержание, которое и конструируется сознанием членов общества по принципу отрицания тех качеств, которые в реальном социуме представлены. Чужаков, инородцев считают обладателями магии в том случае, если они не причастны к высшим статусам в социальной иерархии, если по отношению к ним нет традиционного обусловленных социальных обязательств. В противном случае они могут обращаться к «иному», но тем не менее понятному миру, обладать особыми свойствами в силу статуса в социальной иерархии, использовать мистические, исключительные, но нормативные средства.

При возникновении надплеменных социальных объединений с установлением единой административной власти над множеством племен параллельно неизбежно происходит нарушение соотношения формы и содержания, характерного для родо-племенной стадии, т. е. единого социально-административного организма, где существует одна культура, выступающая как форма его реального осуществления. Объединение племен, каким бы образом оно ни происходило, предполагает включение в единый социальный организм множества мононорм, монокультур; и чем больше племен включается, тем более контрастные формы неизбежно вступают во взаимодействие в рамках одной системы. У земледельцев, при всей схожести культур во множестве отдельных обществ, неизбежно присутствуют диалектные различия в языке, локально привязанная мифология, отклонения в традициях отношения к явлениям природы, привязка к местам захоронения отдельных предков и почитание воли особых (родовых, племенных) предков. Интенсивность контактов между земледельческими общинами различных племен не столь высока, чтобы создать условия для унификации культурных черт, если допустить собственно количественный рост общин в рамках единого социума. В случае такого роста вероятнее всего, произойдет сегментация, но если условия способствуют возникновению иерархии, то в пределах этого более крупного социального образования неизбежно будет представлено культурное многообразие. Различные культурные нормы в рамках новой системы обязательно вступают во взаимодействие, выстраиваются в иерархию норм, увязываются в единую систему. Конечно, этот созидательный, а одновременно и разрушительный процесс идет в соответствии с канонами предшествующего социального уровня, но само явление — объединение племен и соответственно множества мононорм — качественно нового уровня. В таких социальных организациях (организмах) возникает представление о культуре центральной и периферийной, причем не как об исключительной, отторженной культурной норме, а как об особой норме в рамках единой системы. Эталоном, или культурой по преимуществу,

<sup>23</sup> Mauss M. Op. cit., p. 40.

будет культура той части социума, которая имеет наиболее тесные традиционные связи с представителями института власти. Так, в Межозерье где представители правящих институтов ассоциировались по большей части со скотоводами (Руанда, Бурунди, Буньоро, Нторо), изменение социального статуса связывалось со сменой хозяйственной деятельности. В таком процессе земледелец иру или скотовод хима по существу одновременно менял на глазах соплеменников и социальную, и культурную характеристику<sup>24</sup>. Изменение культурной нормы в связи с изменением социального контекста становится необходимостью в классовом обществе. В Буганде тенденция развития в направлении классовообразующей действовала под влиянием контакта с комплексными земледельческо-скотоводческими обществами, но при явном преобладании земледелия, и процесс развития социальной структуры сопровождался пространственным (и одновременно этническим) делением общества на центр и периферию, где баганда занимали «центральное» и доминирующее положение в социальной иерархии<sup>25</sup>. Это существенным образом отразилось на тенденциях межэтнических отношений в последующий период. Этнические различия, будучи культурными различиями, продолжают воспроизводиться, но культура правящих слоев начинает обнаруживать тенденцию к унификации в рамках одного социума. Действует тот же принцип: чем более интенсивен контакт, тем более интенсивна выработка единой формы его осуществления. В силу этого же начинает складываться особенность культуры правящих слоев, и происходит это в силу того, что культура в любом своем виде есть конкретная форма реализации общественного и индивидуального бытия. Понимается ли следование конкретной форме как принадлежность к социальному подразделению, социальному организму в целом, как отсутствие этой принадлежности, как знак причастности к иному социуму или даже миру — она не может не быть формой, в которой для познающего субъекта такой фактор обязан присутствовать. Соответственно в такую форму всегда вкладывается содержание, наиболее приемлемое для людей конкретных обществ. В этом смысле явление культуры может менять содержание или не иметь его. Если говорить о символизме, знаковости культуры, то, по всей вероятности, это не основа ее<sup>26</sup>, а необходимое свойство человеческого мышления, не существующего вне отражения материальных форм и реализующегося в материальных формах. Основу же культуры будут составлять общественные отношения, процесс производственной и интеллектуальной деятельности людей. При существенных социальных изменениях элементы культуры приобретают и понятийное, идеологическое содержание.

Уже отмечалась такая особенность, существовавшая в Межозерье как дифференциация культур скотоводов и земледельцев в рамках единого социального организма, которая с оговорками может трактоваться как этносоциальная стратификация. Многие элементы культуры были общими для всех социальных страт. В Буганде, Руанде и Бурунди стратификация культурных систем отражала повышение (относительно племенного уровня) степени социальной иерархичности. В принципе это обусловленное особенностями бытия отличие культур в рамках единой социальной системы повторяет более общую тенденцию: различные общества или социумы вырабатывают различия и в культурах. Однако возникает существенное новое качество — эталон культуры в виде культуры высших стран. Попутно отметим, что возникновение эталона культуры, относящегося, правда, не к культуре в ее целостности, а к отдельным ее характеристикам, имитация чуждых, но престижных в отдельных своих свойствах норм могла возникать и без установления единой социально-

<sup>24</sup> Karugire S. R. A History of the Kingdom of Nkore in Western Uganda to 1894. Oxford, 1971, p. 56.

<sup>25</sup> La Fontaine J. S. Tribalism among the Gisu, an Anthropological Approach.— In: Gulliver P. H. Tradition and Transition in East Africa, Studies in Tribal Element in the Modern Era. Berkeley—Los Angeles, 1969, p. 183; Twaddle M. «Tribalism» in Eastern Uganda.— In: Gulliver P. H. Op. cit., p. 196.

<sup>26</sup> White L. The Evolution of Culture. N. Y., 1959, p. 3—6.

административной системы. Так, известно, что некоторые бантуязычные тносы имитировали своих более могущественных в военном отношении оседей (например, масаев) вплоть до принятия значительных языковых заимствований, жаргона, форм вооружения. Происходило это не столько потому что собственное оружие было обязательно менее совершенным, сколько потому, что заимствованные формы выступали как символ успеха в войне, для большего психологического воздействия на соседей немасаев.

Что касается упомянутых обществ послеплеменной фазы социальной эволюции, следует еще раз отметить, что само их формирование, возникновение как переход к новому типу общественной организации в данном случае не было обусловлено непосредственным ростом производительных сил в общинах земледельцев или скотоводов. Большая экономическая мощь появляется здесь за счет объединения различных видов хозяйства в рамках единого общества, что делало его более устойчивым. Развитие социальной иерархичности было вызвано и ростом плотности населения в этих областях. Экономические преимущества правящих слоев изначально обуславливались их постепенным отрывом от производственной сферы; после образования надплеменной иерархии эти преимущества увеличиваются. В приведенном случае создание надплеменной иерархии в исторической перспективе должно было либо форсировать изъятие продуктов общественного производства и вызывать интенсификацию последнего, либо активизировать тенденцию к внешней экспансии, в которой управленческая машина в первую очередь могла видеть источник увеличения продукта. Само по себе увеличение административной и военной машины естественным образом снижает долю непосредственно производительного населения, что должно находить компенсацию во внутренних или во внешних источниках. Увеличение прибавочного продукта в любой форме на этой стадии социальной эволюции неизбежно ведет к увеличению плотности населения, а это в свою очередь вызывает усложнение социальной организации, рост числа «чиновников», консолидирующихся в относительно самостоятельный социальный слой. Этот слой заинтересован в расширении основы своего экономического благосостояния, а тем самым неизбежно обнаруживает тенденцию к экспансии и собственному росту.

В этом отношении показательна, как представляется, тенденция к экспансии надплеменных образований, возникавших на основе трансконтинентальной (меновой) торговли. Так, суахильские города восточноафриканского побережья, возникнув в точках соприкосновения рынков натурального и товарно-денежного обмена, не имели тенденции к собственной пространственной экспансии и росту социальной иерархии. Мы можем говорить о проникновении групп суахили с караванами, об обращении в глубине континента небольших суахильских колоний, о влиянии предметов обмена на материальную культуру внутренних областей. Но пространственная экспансия мало способствовала качественным изменениям в экономике в рамках суахильского общества, так как целью караванов были золото, слоновая кость, рог носорога, рабы, предназначенные не для развития собственной экономики, а для продажи за пределы султанатов. Тем самым торговля оказывалась транзитной не только для внутриконтинентальных племен, но и для самих суахили. Население за пределами торговых центров по существу оставалось вне административной системы, хотя султаны и провозглашали над ним свой сюзеренитет. Сами продукты, участвовавшие в трансконтинентальной торговле, слабо влияли на развитие производительной базы, но стимулировали рост социальных образований, их иерархию. Это отмечал Вилсон в отношении нгонде, по многим аспектам культуры и общественного устройства весьма близких ньякьюса, но в отличие от последних имеющих гораздо более развитый институт вождя, более сложную систему социальной иерархии. Торговля (меновая), служившая источником престижных ценностей, позволяла вождям нгонде аккумулировать значительные ценности и, перераспределяя их, подчинять своему авторитету



тету других вождей. Тем самым создавалась уже иерархия во главе сакральным верховным правителем<sup>27</sup>. У близких по культуре к нгондьякьюса, обитавших в отдалении от основных торговых путей, такой институт не сформировался. В самых разных областях Тропической Африки можно найти аналогичные примеры. В Восточной Африке на глазах этнографов возникли и распались с прекращением караванной торговли «империи» Мирамбо и Ньонгу Маве (XIX в.). В более южном направлении караванная торговля проникала глубоко и развивалась за долго до португальской колонизации побережья<sup>28</sup>.

В экваториальную зону (современные Кения, Танзания) караванная торговля проникла значительно позже — в конце XVIII — начале XIX в. Где бы торговля с прибрежными социумами (т. е. связь с системой товарно-денежных отношений) ни возникала, она способствовала экспансии социальных организмов, унификации отдельных культурных характеристик, но одновременно и появлению культурного плюрализма в рамках единой социальной системы. Однако создававшиеся здесь объединения были слабы, так как основа, на которой они складывались (например, работорговля), не способствовала росту собственного экономического потенциала, а скорее, наоборот, тормозила его. Это вело к тому, что довольно скоро эти социальные образования распадались<sup>30</sup>, особенно если обрывалась связь с караванной сетью. Это явление — ускоренный распад социальной иерархичности, не обусловленный развитием внутренней экономической базы, — типично для начала колониальной эпохи. Рост богатства традиционных правителей не был обусловлен развитием производительных сил и производственных отношений. Это явление типично и для Центральной, и для Восточной, и для Западной Африки. Его причина — рост престижа вождей и усложнение социальной иерархии благодаря аккумуляции и последующему распределению среди элиты богатств, полученных через неэквивалентный обмен с внешним рынком. В дальнейшем происходил распад социального образования в силу его собственной экономической слабости<sup>31</sup>. Действительно, если вернуться к разбросанным среди других этнических и социальных образований суахильским городам, то собственно товар возникал за их пределами. Один источник лежал в глубине континента, другой — на Ближнем Востоке. На месте была продовольственная база в виде земледелия, мало отличавшегося от внутриконтинентального по технологическим производственным принципам от отличного от него по производственным отношениям. Здесь уже представлено товарное производство и в силу слабости производительных сил использовался часто труд рабов из внутриконтинентальных областей. Тем не менее рабовладение не было основой развития экономики, в которой земледелие играло подчиненную роль. В силу этого в суахильских социумах внутренний обмен тоже был слабо развит. Общественная деятельность (торговая, ремесленная, земледельческая, управленческая и др.) имела достаточно ясно выраженный социально замкнутый характер. В предколониальный, колониальный и даже еще в постколониальный периоды социальная структура здесь обнаруживала черты этносоциальной стратификации. Аналогичные этносоциально стратифицированные системы, где представители различных слоев общественной организации имеют выраженные культурные и даже расовые отличия, существовали на Африканском континенте и в далеком прошлом<sup>32</sup>. На восточноафриканском побережье ориентация высших соци-

<sup>27</sup> Wilson G. The Constitution of Ngonde.—The Rhodes—Livingstone Papers. Rhodes—Livingstone Institute. № 3. 1939, p. 48.

<sup>28</sup> Ср.: Lancaster S. S. and Pohorilenko A. Ingombe Ilele and Zimbabwe Culture. The International Journal of African Historical Studies, 1977, v. X, № 1.

<sup>29</sup> Lamphear J. The Kamba and the Northern Mrima Coast.—In: Pre-Colonial African Trade..., p. 77.

<sup>30</sup> Vansina J. Kingdoms of the Savanna. Madison. 1966, p. 248.

<sup>31</sup> Томаговская О. С. Лоанго, Каконго и Нгойо. Историко-этнографический очерк. М.: Наука, 1980, с. 189.

<sup>32</sup> Поплинский Ю. К. Из истории этнокультурных контактов Африки и Эгейского мира. М.: Наука, 1978, с. 180.

торговлю, идеологию, материальную культуру ближневосточного рынка практически устраняла различия в материальной культуре и связанной с торговлей идеологии в городах суахили. Культурные изменения по сравнению с культурами окружающих этносов выразились в возникновении плюрализма, наслоении фрагментов культурных норм самых различных этносов, причем в разных городах этот набор имел отличия. Формировалось лингвистическое единство, но возникшая письменность из-за слабости обмена между отдельными локальными и социальными группами недостаточно способствовала унификации языка. Диалектные различия были весьма существенными к началу колониального периода, это были все же диалекты в рамках единого социума. Смена индивидиумов социальных функций в системах с культурным плюрализмом, отражающим плюрализм социальный, связывается со сменой формы и вида действий, одежды, часто даже языка. Лингвистический плюрализм в таких образованиях — культурная норма.

Особенностью суахилийских социальных образований был по существу очень слабый контакт между производителем и потребителем. Они связаны посредником — торговцем, относящимся к особому слою, возникшему не в рамках социума производителя и не в рамках социума потребителей, а одновременно с новым посредническим обществом, в его рамках. Все эти три слоя составляли основу существования суахилийского общества и определяли его лицо, его культуру.

В приведенных выше известных примерах, касающихся эволюции социальных отношений в Восточной Африке колониального и предколониального периода, можно обозначить тенденцию к изменению соотношения общественного и культурного (как одного из аспектов общественного). В процессе социальной эволюции культура всегда сохраняет свою социальную значимость, определяется социальным содержанием. Изменения этого соотношения обуславливаются трансформацией, усложнением общественной действительности в ее экономическом и социальном аспектах в первую очередь. До возникновения надплеменных социальных образований культура по существу подразделяется на мононорму антинорму, что определяет принадлежность к соответствующему общественному организму или исключение из него. Развитие социума дифференцирует и культурную норму и антинорму. Первая стратифицируется в престижные и менее престижные формы, вторая — на более близкие и менее близкие, приемлемые, т. е. оценивается не по отношению социума в целом, а в зависимости от социальной позиции воспринимающего субъекта. Происходит логическое допущение, что чужая культура присутствует в едином социуме с родной и, следовательно, должна обладать определенным социальным статусом. Это возможно лишь с формированием социально-стратифицированных надплеменных объединений. Если в племенной мононорме культурные различия были обусловлены различиями социальных ролей и позиций, то в новых условиях культурная специфика прямо не связана с функциональной дифференциацией в рамках этого социума, а, наоборот, сама может служить обоснованием социальных претензий групп и индивидов, так как надплеменной институт (в период перехода от доклассовой к раннеклассовой фазе эволюции) является социальным, а через это и культурным эталоном. Но и здесь собственно культура выступает как знак отождествляемого с ней содержания. Как показывают исследования процесса инкорпорации культурных общностей, ни культурное отличие, ни культурное единство сами по себе могут рассматриваться ни как способствующие, ни как препятствующие инкорпорации факторы<sup>33</sup>. В новых условиях в новом виде предстает социальная сторона культуры как формы реализации бытия общества — самостоятельная статусность относительно других культур в рамках единого общества. В функциональном отношении культура и общество (форма и содержание) как бы меняются местами: уже не социальное со-

<sup>33</sup> Abrahams R. G. The Political Incorporation of Non-Nyamwesi Immigrants in Rhodesia. — In: Cohen R. and Middleton. J. Op. cit., p. 11.

держания определяет статусность культурной формы, а сама форма используется людьми для определения пределов социальной активности социального статуса в пределах социальной системы в целом. Возникает возможность использования культурных характеристик для создания социального положения, для получения привилегий в рамках плюралистического в культурном отношении общества, что в прогрессирующей тенденции ведет к соответствующей реакции — культурному, этническому протесту. Именно эта новая в эволюционном процессе черта характерна, в частности, для большинства африканских обществ после оформления колониальных систем на Африканском континенте. После возникновения полиэтнических социальных образований культурное единство стало использоваться в качестве аргумента для создания социальной корпоративности, а тем самым для противопоставления одного культурного единства другим, не как принадлежность к социуму (или исключенность из него), а как определение позиции в едином социуме. В таких обществах в группах различных в культурном отношении групп появляются параллельные тождественные в социально-экономическом отношении слои или в составяющейся низшей культурной общности возникают отношения, более характерные для представителей различных культур (при этносоциальной стратификации). Такие социальные конфликты между борющимися элитами принимают форму межэтнических, как это происходило в Рунде и Бурунди<sup>34</sup>.

<sup>34</sup> Lemarchand R. Rwanda.— In: African Kingship in Perspective/Ed. Lemarchand R. Plymouth, 1977, p. 89.

**Ю. Е. Березкин**

## **КУЛЬТУРНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НА СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПЕРУ В V—XV вв.**

**(по данным мифологии и изобразительного  
искусства)**

Вопрос, исследованию которого посвящена статья, можно считать ключевым для понимания того, на какой основе сформировалась самая значительная доинкская цивилизация Перу — культура чиму, известная по археологическим материалам, а также по испанским хроникам и документам XVI—XVII вв.

К середине I тыс. н. э. практически все северное побережье Перу входило в ареал культуры мочика (которому, вероятно, соответствовало единое государство). Соседями мочика в горах были создатели культуры рекуай и кахамарка. На крайнем севере Перу, в долине Пьюры, была распространена культура викус, на центральном побережье — культура лима. Ареалы мочика и лимы были разделены рядом слабозаселенных долин.

В VI—VII вв. это положение начало постепенно меняться, и в XV в. весь район был захвачен государством Чимор с центром в долине Моче (близ древней столицы мочика). Культура этого времени и носит название чиму. Ее верхняя граница определяется испанской конкистой (инкское завоевание в середине XV в. не привело к исчезновению местной специфики), но нижняя менее определена. Некоторые исследователи включают в понятие «чиму» почти все постмочикские культурные комплексы<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Menzel D. The Archaeology of Ancient Peru and the Work of Max Uhle. Berkeley 1977, p. 88.

С самого открытия мочикских являющихся на рубеже XIX и XX вв. перед археологами встал вопрос: являются ли мочика и чиму двумя этапами в развитии одной культуры, или же это самостоятельные цивилизации. В пользу обеих точек зрения имелись свои аргументы. В частности, общей была наиболее распространенная керамическая форма (сосуды со стремевидным горлом), но зато серьезные различия прослеживались в типах захоронений и в планировке монументальных архитектурных объектов. Решение вопроса о наличии или отсутствии идеологической преемственности между мочика и чиму поможет выяснить, во-первых, следует ли рассматривать некоторые появившиеся в чиму повествования прежде всего в стадильном плане или же как результат внешних влияний, притока населения с иными традициями, а во-вторых, допустимо ли данные по лучше исследованной поздней культуре хотя бы отчасти проецировать на раннюю.

Мы попытаемся осветить те стороны проблемы, которые могут быть исследованы путем анализа иконографического и фольклорного материала.

Любому первобытному или древнему этносу свойственен собственный набор мифологических сюжетов. Как целое он неповторим, но почти каждый сюжет, взятый в отдельности, встречается и у других, нередко во всех отношениях далеких народов. Соответственно если тем или иным двум народам известны один или несколько одинаковых мифов, это еще не может служить основанием для гипотезы об их родстве или влиянии друг на друга.

Индийская мифология зафиксирована, однако, не только в устной традиции, но и в изобразительном искусстве. Нередко оно символическо-геометрическое, но в ранних цивилизациях Перу в основном фигуративное и поддается смысловому анализу. Изучение репертуара древнеперуанского искусства приводит к выводу, что число сюжетов, сопоставимых с сюжетами словесной мифологии, ограничено и что на изображениях не представлены многие темы, заведомо существовавшие в устной традиции. Видимо, при выборе иконографических сюжетов действуют по меньшей мере два «фильтра». Во-первых, репертуар изображений, нанесенных на предметы, имеющие отношение к культу, наверняка зависит от характера ритуалов, во время которых эти предметы употреблялись. Поскольку произведения искусства древних обитателей побережья Перу найдены главным образом в захоронениях, в иконографии следует ожидать отражения идей и представлений, связанных с погребальной обрядностью. Такая связь порой могла быть отдаленной, но вряд ли отсутствовала вовсе. Если в изобразительном искусстве вообще встречались иллюстрации к мифам, сюжеты, касающиеся перехода в загробный мир, должны были привлекать древних художников больше, чем те, которые не имели отношения к данной теме. Второй (и для нас в данном случае более важный) критерий отбора лежит за пределами религии и мифологии как таковых. Художники скорее всего наиболее охотно обращались к темам, которые были связаны с идеологией господствующей династии, с пользующимся почитанием храмом и т. п. Соответственно увеличение или уменьшение популярности отдельных персонажей и сцен, сохранение традиции или, наоборот, разрыв с ней могут отражать важные процессы в культурной и политической сферах.

Таким образом, среди множества потенциально пригодных для воплощения в изобразительном искусстве сюжетов мифов реально использовалось лишь незначительное число. В подобной ситуации наличие одного и того же сюжета в иконографическом репертуаре двух культур гораздо более значимо, чем общность нескольких устных повествовательных текстов. Если же сходен целый комплекс сюжетов, можно смело предполагать прямые идеологические связи.

Обратимся к конкретным вопросам.

Наборы мифологических сюжетов в искусстве мочика и чиму различаются, на первый взгляд, весьма значительно. Важнейшей особенностью иконографии мочика, например, является пантеон зоантропо-

морфных божеств; в искусстве же чиму соответствующих персонажей почти нет. Некоторые сюжеты искусства чиму, явно восходящие к мочикским прототипам, вошли в его репертуар не в результате прямой преемственности, а были введены на позднем этапе путем копирования «археологических» образцов<sup>2</sup>. Хотя объяснить причины и обстоятельства такого копирования нелегко, альтернативной гипотезы, объясняющей неожиданное возрождение древних сюжетов в искусстве, пока не выдвинуто.

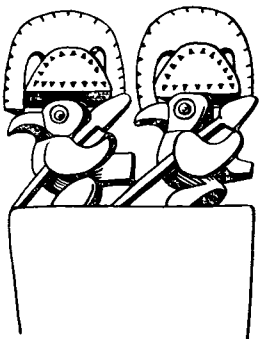


Рис. 1. Резное навершие с изображением двух птиц в полулунных головных уборах. Культура чиму, долина Моче (Schmidt M. Kunst und Kultur von Peru. В., 1929, S. 423, Abb. 3)



Рис. 2. Серебряная вставка в мочку уха с изображением двух птиц, имеющих общий головной убор. Серро-Сапаме, долина Ламбайеке, культура ламбайеке-чиму (Antze G. Metallarbeiten aus dem nördlichen Peru.— Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde in Hamburg, 1930, В. 15, Abb. 16)

Далее мы попытаемся проследить, нет ли в иконографии чиму тех же сцен, связь которых с мочикским искусством неочевидна и потому ускользала от внимания специалистов.

Одним из самых распространенных мотивов в иконографии чиму является фигура морской птицы или чаще двух таких птиц попарно, имеющих мифический признак — полулунный убор над головой или общим (рис. 1, 3). Конечности птиц иногда напоминают руки или ноги человека. На некоторых изображениях две стоящие рядом птицы имеют общий полулунный убор, нависающий над их головами (рис. 2). В руке или в клюве птица держит рыбу, отрубленную человеческую голову либо длинный предмет с треугольной, заостренной лопастью на конце. Он допускает ряд толкований: копье, землекопалка, палица, весло. По разным причинам все они маловероятны. Жители побережья не знали колющего оружия, а палицы, весла и землекопалки изображали иначе (на рисунках и рельефах весла или вообще не имеют лопастей, или заострены, но расширены на конце, у землекопалок же лопасть прямоугольная; иная форма и у наберший палиц, что особенно видно там, где персонаж с палицей и птица с заостренным предметом показаны в одном и том же сосуде)<sup>3</sup>. Полвека назад М. Уле, комментируя изображения на тканях из Пачакамака (см. ниже), на которых парные пернатые (видимо, те же птицы чиму, но более стилизованные и антропоморфизированные) стоят лицом друг к другу и держат острием какой-то непонятный длинный предмет, высказал догадку, что в руке

<sup>2</sup> Berezkin Yu. La tradición mochica y las culturas del Perú (siglos IX—XIII). *América Latina: estudios de científicos soviéticos*. М., 1978, p. 177; Burger R. L. *The Moche Sources of Archaism in Chimú Ceramics*.— *Nawpa Pacha*, Berkeley, 1976, № 14, p. 95-114.

<sup>3</sup> Baessler A. *Altperuanische Kunst*. В.— Lpz., 1902—1903, В. I—IV, Taf. 66.

них сверло для ритуального добывания огня<sup>4</sup>. Возможно, и в нашем случае речь идет о нем же, если предположить, что острие на самом деле коническое и лишь при двухмерном изображении выглядит как оплесь. Понятно тогда, почему в руках птицы оно часто направлено вниз<sup>5</sup>. Подобная идентификация согласуется и с общей мифологической характеристикой персонажей (возможна их связь с солнцем, о чем ниже). Нам, однако, неизвестны какие-либо этнографические или исторические свидетельства о соответствующем ритуале в Центральных Андах, без чего данная гипотеза остается несколько умозрительной.

Второй очень распространенный в искусстве чиму мотив (точнее, сюжет)—два антропоморфных персонажа в лодке, занятые ловлей рыбы (рис. 3—6). В большинстве случаев нос лодки заканчивается опущенной вниз человеческой головой в полулунном уборе. Силуэт подобной головы нередко включен в декоративную спираль, огибающую изображение. Мифический характер сцен несомненен. В иконографии чиму встречаются обычные лодки, нос которых не увенчан изображением головы. Данный же изобразительный элемент можно рассматривать как своего рода знак, указывающий на мифический характер сцены (использование подобных знаков типично для древнеперуанского искусства). Так как лодки делались из связок тростника и имели совершенно определенную форму, трудно предполагать наличие на носу их реальных украшений в форме перевернутой головы. Лодка, заканчивающаяся головой, по-видимому, особое мифическое существо. Известен сосуд, вылепленный в форме сходного чудовища с изогнутым телом и опущенной вниз головой; внутри чудовище наполнено рыбой<sup>6</sup>, а на спине несет обычную лодку, в которой сидит человек с веслом. На прочих изображениях лодку с людьми поддерживает гигантская рыба<sup>7</sup>. Есть сцены рыбной ловли, где голова мифического существа не увенчивает нос лодки, но на некоторых из них данный мотив все равно включен в композицию как часть опоясывающей ее декоративной бегущей спирали<sup>8</sup>.

Персонажи в лодках держат в руках весла. У ног их возвышается ящик сетей. Под днищем лодки — грузила. На одном изображении головы персонажей увенчаны отростками с головами птиц на концах (рис. 3). Во многих случаях между лодками (точнее — повторяющимися изображениями одной-единственной лодки) помещены два вставленных друг в друга изогнутых треугольника с орнаментом в виде бахромы по одной стороне. Мотив «бегущая спираль с включением головы чудовища», по-видимому, не что иное, как «скоропись», возникшая из сочетания этих треугольников с силуэтом носовой части лодки.

Мотивы мифических птиц и мифической рыбной ловли взаимосвязаны. Так, на одной композиции внутри круга, составленного из повторяющегося изображения лодки с двумя персонажами, помещена фигура птицы в полулунном уборе, тоже стоящей в лодке и держащей в лапе рыбу (рис. 3). На дне этой лодки, по-видимому, лежит сеть. Пара антропоморфных персонажей бывает увенчена таким же общим головным убором, каким наделяется пара птиц (рис. 5, 6).

На каких же предметах нанесены интересующие нас сцены? Самые характерные (т. е. со всеми отмеченными выше деталями) изображения персонажей в лодках встречаются на изделиях, которые могли принадлежать лишь элите: золотые и серебряные ушные вставки, золотая корона, серебряный диск, возможно предназначенный для обкладки щи-

<sup>4</sup> Uhle M. Die alten Kulturen Perus. B., 1935, S. 43.

<sup>5</sup> Fuhrmann E. Reich der Inka. Hagen, 1922, Bild 7; Hoyt M. A., Moseley M. E. The Buried Frieze; a Rediscovery at Chan Chan.—Nawpa Pacha, 1970, № 7/8, pl. 26.

<sup>6</sup> Baessler A. Op. cit., fig. 271. Возможные аналоги данному мотиву были рассмотрены К. Леви-Строссом, см.: Levi-Strauss C. Le serpent au corps rempli de poissons.—28 Congrès International des Américanistes (далее — ICA). P., 1948, p. 633—636.

<sup>7</sup> Bennett W. C. Archaeology of the North Coast of Peru.—American Museum of Natural History. Anthropological Papers, 1939, v. 37, pt 1, fig. 19 g; Schmidt M. Kunst und Kultur von Peru. B., 1929, S. 217, Abb. 3.

<sup>8</sup> Schmidt M. Op. cit., S. 495; Tushingham A. D., Franklin U. M., Toogood C. Studies in Ancient Peruvian Art. Toronto, 1979, pl. 23.



Рис. 3. Вставка в мочку уха из позолоченного серебра с изображением мифической рыбной ловли (круговой фриз) и птицы в полулунном уборе, стоящей в лодке (в центре). Культура ламбайеке-чиму, происхождение неизвестно. Фрагмент изображения (Arte antiguo del Peru.—Revista del Museo Nacional, 1933, t. 2, № 2, lám. VII, p. 180)

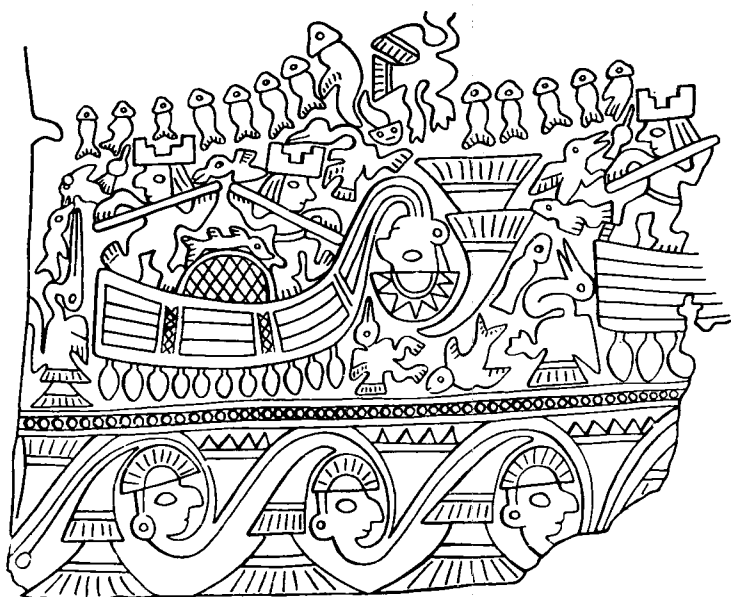


Рис. 4. Обломок золотой короны из Серро-Сапаме, долина Ламбайеке, с изображением мифической рыбной ловли. Культура ламбайеке-чиму. Фрагмент изображения (Antze G. Op. cit., Abb. 1)

9. Происхождение четырех предметов неизвестно или по крайней мере указано в источниках. Корона найдена в могильнике Серро Сапаме долине Ламбайеке. Это обстоятельство проливает определенный свет на датировку предмета. В Ламбайеке находился центр одноименной культуры, предшествовавшей и близкородственной чиму. В известной мере ламбайеке и чиму можно рассматривать как ранний и поздний варианты одной культуры, тем более что иконографические различия между ними еще недостаточно четко выявлены. Если изображения на металле связаны именно с ламбайеке, не с собственно чиму, то они имеют в интересующей нас функции.

Вторая группа изображений двух персонажей в лодке встречается преимущественно на тканях из могильника в Мачакамаке неподалеку от Чимор, близ знаменитого храма<sup>10</sup>. Вещи из этого могильника стилистически связаны с искусством северного побережья (может быть, оставлены рыбаками оттуда паломниками или изготовлены мастерами, работавшими в традициях северных долин)<sup>11</sup>. Отдельные композиции на тканях только отличаются одна от



Рис. 5. Золотая вставка в мочку уха с изображением двух антропоморфных персонажей в лодках; над их головами общий убор. Культура ламбайеке-чиму. Происхождение неизвестно (*Mujica Gallo M. Gold in Peru. Braunschweig, 1959, Taf. L.*)

другой, но еще больше — от выгравированных на металле. Головы, вершающей нос лодки, и груды сетей между персонажами чаще его нет. В подобной манере выполнено и рельефное изображение на стене монументального комплекса («сыюдаделы») Веларде в стоке Чимор Чан-Чане<sup>12</sup>. Согласно недавним исследованиям, основанным на типологии некоторых архитектурных деталей и форм кирпича, сыюдадела Веларде была возведена в начале позднего этапа застройки Чан-Чана, т. е. в конце XIV в.<sup>13</sup> Это позволяет считать данную группу изображений более поздней, чем чеканки на металле.

Мотив двух мифических птиц встречается в искусстве чиму в столь разнообразных вариантах, что перечислить их все нет возможности. Изображения нанесены на стенах сыюдаделы Веларде<sup>14</sup>, на тканях<sup>15</sup>,

<sup>9</sup> *Antze G. Metallarbeiten aus dem nördlichen Peru. — Mitteilungen aus dem Museum Völkerkunde in Hamburg, 1930, B. 15, Abb. 1; Arte antiguo del Peru. — Revista del Museo Nacional (далее — RMN), 1933, t. 2, № 2, lám. VII, p. 180; Moseley M. E., Mackey G. J. Chan Chan, Peru's Ancient City of Kings. — National Geographic, 1973, v. 143, 3, p. 322; Mujica Gallo M. Gold in Peru. Braunschweig, 1959, Taf. L.; Tushingham A. D., Franklin U. M., Toogood C. Op. cit., pl. 23.*

<sup>10</sup> *Schmidt M. Über altperuanische Gewebe mit szenenhaften Darstellungen. — Baessler-Archiv, 1911, B. 1, Fig. 6, 17, 19—22, 27; Idem. Kunst und Kultur, S. 475, Abb. 2, 3, 496, 500, 514.*

<sup>11</sup> *Keatinge R. W. The Pacatnamay Textiles. — Archaeology, 1978, v. 31, № 2, p. 30—41.*

<sup>12</sup> *Moseley M. E., Mackey G. J. Op. cit., p. 330—331, верхн.*

<sup>13</sup> *Kolata A. L. Chronology and Settlement Growth at Chan Chan. — In: Chan Chan: The Ancient Desert City/Ed. Day K. and Moseley M. Albuquerque, 1982, p. 67—85. Позже в Веларде были построены только три сыюдаделы: Банделье, Чуди и Риверо. Так как одна из них, по всей вероятности, предназначалась для нового царя, всходящего на престол в Чимор, а инки разгромили это государство в конце третьей четверти XIV в., то, принимая среднюю длительность правления одного династа за 25 лет, мы можем с достаточной уверенностью датировать комплекс Веларде последней четвертью XIV в.*

<sup>14</sup> *Hoyt M. A., Moseley M. E. Op. cit., p. 41—58.*

<sup>15</sup> *Doering H. U. Altperuanische Kunst. B., 1936, Farbtaf. X; Katz F. The Ancient American Civilizations. L., 1972, fig. 59; Schmidt M. Kunst und Kultur, S. 512, Abb. 1.*



на предметах из золота и меди<sup>16</sup>, на деревянных ларцах и навершиях довольно редко на керамике<sup>18</sup>. Хронологический и территориальный диапазон примерно тот же, что и в распространении сцен рыбной ловли — северное и в меньшей мере центральное побережье, X—XVI вв.

В поисках ранних прототипов для исследуемых изображений обратимся сначала к сценам плавания в лодке. Иконографический анализ



Рис. 6. Два антропоморфных персонажа в лодке, над их головами общий убор. Фрагмент изображения на ткани из погребения в Пачакамаке. Культура чиму (?). Возможно, это самый ранний образец в серии, синхронный изображениям на металле (ср. рис. 4) (Schmidt M. Op. cit., S. 514)

и относительной частоте изображения божеств совпадают по времени с культурно-политическими переменами: мочика теряют земли к югу от долины Моче, усиливается значение северных долин Пакасмайю Ламбайеке.

Нередко мочикское божество в лодке имеет спутника: человека чертами скопы (морского орла) или утки (рис. 7, 8, 9)<sup>21</sup>. В ряде

<sup>16</sup> Arte Antigua, p. 180; Antze G. Op. cit., Taf. 5—28, Abb. 16, 21, 63, 71; Baessler Altperuanische Metallgeräte. B., 1906, Fig. 369; Doering H. U. Kunst im Reich der Inka Tübingen, 1952, Abb. 229, лев. верхн.; Vélez López L. R. El arte orfebre entre los chimú iungas del antiguo Peru.— 21 ICA, Proc., 1 part, The Hague, 1924, pl. 1, прав. центр.

<sup>17</sup> Lehmann W., Doering H. U. Kunstgeschichte des alten Peru. Zürich, 1924, Taf. 4 Schmidt M. Kunst und Kultur, S. 423, Abb. 3.

<sup>18</sup> Baessler A. Altperuanische Kunst, fig. 251.

<sup>19</sup> Березкин Ю. Е. Морские плавания в мифах мочика (Перу).— Страны и народы Востока, 1979, в. 20, с. 162—171.

<sup>20</sup> О божествах пантеона мочика см. Березкин Ю. Е. Идентификация трех антропоморфных мифологических персонажей на изображениях мочика (Перу).— В Проблемы истории и этнографии Америки, М.: Наука, 1979, с. 142—155; Berezkin Yu. An Identification of Anthropomorphic Mythological Personages in Moche Representations.— Nawa Pacha, 1981, № 18 (1980), p. 1—26.

<sup>21</sup> Anton F. Alt-Peru und seine Kunst. Lpz., 1972, Taf. 143—144; Doering H. Altperuanische Gefässmalereien, II. Marburg, 1926, Taf. XIIb.

привел нас к выводу, что эти сцены восходят к позднемочикским рисункам на аналогичных предметах. Композиции с группами гомологичны в основных элементах.

Сюжет мифической рыбной ловли известен в мочикском искусстве с тех пор, как на поверхности сосудов стали рисовать более или менее сложные сцены, т. е. с этапа «мочика III» по пятичленной шкале (примерно III н. э.). Со временем этот сюжет приобретает большую популярность: к концу существования культуры становится одним из важнейших<sup>19</sup>. Ответственно можно предполагать рост значения того мифологического персонажа, который изображается плывущим в лодке. В период мощи V его фигура заключалась в ореол из связок оружия и он показан предводителем другого божества, в предшествующую эпоху самого популярного (персонаж «А») <sup>20</sup>. Эти изменения в иконографии

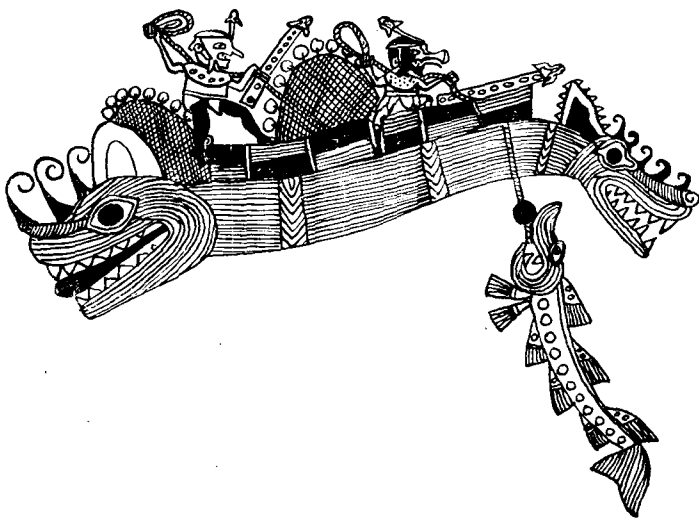


Рис. 7. Мифическая рыбная ловля, роспись на сосуде (фрагмент). Культура мочика, поздний этап. Происхождение неизвестно (Anton F. Alt-Peru und seine Kunst. Lpz., 1972, Taf. 144)



Рис. 8. Роспись на сосуде с изображением мифической рыбной ловли. Между лодками — пойманный скат. Культура мочика, средний этап. Происхождение неизвестно (Donnan C. B. Moche Art of Peru. Los Angeles, 1978, fig. 163)

персонажей весла или леса, на которую поймана рыба, на головах убо-  
ры с отростками, заканчивающимися мордами животных. В лодке  
между фигурами — груды сетей. Сама лодка показана в виде мифиче-  
ского чудовища с руками, ногами, плавниками и оскаленной пастью.  
Обычно поверхность сосуда украшена изображениями не одной, а двух  
лодок, и между ними помещены фигуры скатов, на более поздних изо-  
бражениях переданные в виде вставленных один в другой искривлен-  
ных треугольников, нижний — с бахромой (рис. 8, 9)<sup>22</sup>. Под днищем  
лодок — грузила.

Развитие позднемочикского сюжета в тот, который мы видим на че-  
ханках чиму, происходило в соответствии с законами, определяющими  
эволюцию всей иконографии на северном побережье в прединкский пе-  
риод. Эти тенденции заключаются в прогрессирующей антропоморфиза-  
ции персонажей, в утере ими сверхъестественных черт, таких, как раз-  
ного рода зооморфные отростки, клыки во рту и т. п., и, наконец, в  
стирании тех особенностей в облике персонажей, которые четко свиде-  
тельствуют о социальном ранге людей и божеств (в эпоху чиму фигуры  
сchematicны и часто не позволяют различить детали одежды). Нет по-

<sup>22</sup> Benson E. P. The Mochica, a Culture of Peru. N. Y.:— Wash., 1972, fig. 4-4; Kut-  
zner G. Chimú; eine altindianische Hochkultur. B., 1950, Abb. 69; Doering H. U. Altpe-  
ruanische Gefäßmalereien, II, Taf. XIIa.

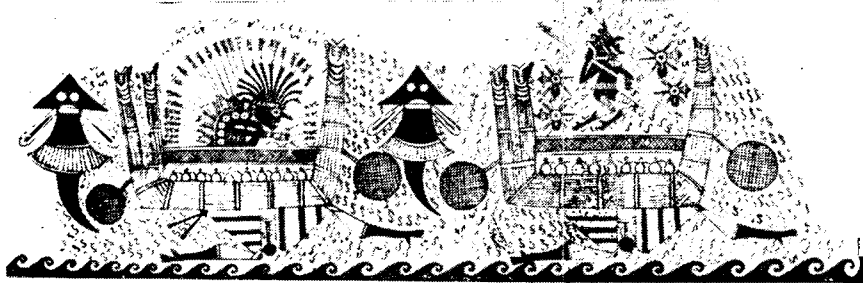


Рис. 9. Росписи на сосудах с изображением лодок, которые сами бегут по волнам. Культура мочика, поздний этап. Долина Чикамы. Вверху: между лодками силуэты скатов; внизу: в левой лодке антропоморфный персонаж и бог-орел (*Doering H. Altperuanische Gefäße-malereien. II. Marburg, 1926, Taf. XII*)

этому ничего удивительного в том, что один из двух мореплавателей эпоху мочика изображавшийся как человек-птица, позднее превратился в чисто антропоморфную фигуру, а у лодки-чудовища зооморфная голова была заменена антропоморфной. Мифические черты во внешнем облике персонажей сохранились только на изображении, воспроизведенном на рис. 3 (отростки на голове). В других случаях мореплавателей можно поначалу принять не за божеств, а за людей-рыбаков, что мешает увидеть сходство сцены с мочикскими мифологическими росписями.

Грузила, груда сетей, парность персонажей, держащих весла, рыбы и птицы, окружающие мореплавателей, и, наконец, лодка, наделенная головой чудовища (зоо- или антропоморфной), — все эти признаки характерны для изображений как поздней мочики, так и чиму и предисказывают связь между ними. Однако мотив, который более всего заставляет убедиться в том, что сцены рыбной ловли ранней и поздней культур не просто односюжетны, но что вторые генетически восходят к первым, заключается в изображении скатов между лодками. Сдвоенные изогнутые треугольники на чеканках чиму — не что иное, как перевернутая фигура мочикского ската, у которого хвост оказался тем самым приставленным к голове. Начиная с финального этапа мочика искусству северного побережья свойственна боязнь пустого пространства. Видимо, именно с целью заполнить композицию и было перевернуто изображение. Скорее всего это произошло тогда же, когда голова на носу лодки была опущена вниз (у мочикских лодок-чудовищ она поднята вверх).

Похоже, что в искусстве чиму данный мотив стал чисто орнаментальным, во всяком случае утерял исходное значение. Объяснить его первоначальный смысл можно, лишь обратившись к мочикским рисункам.

Разумеется, между позднемочикскими росписями и чеканками чиму существует немало пропущенных звеньев, что и неудивительно, если бы группы изображений разделены минимум тремя веками. Можно, однако, надеяться, что изображения промежуточного характера будут найдены в ходе ведущихся ныне раскопок или при обследовании десятков тысяч хранящихся в различных коллекциях еще не опубликованных

Предметов, извлеченных на свет грабителями. Логично предположить, что чем более ранним временем датируется изображение, тем большим должно быть его сходство с мочикским образцом. Во всяком случае, те сцены, которые мы признали относительно поздними (на тканях из Пачакамака и на настенном рельефе из Чан-Чана), сильнее отличаются от мочикских, чем более ранние чеканки.

Гораздо сложнее определить происхождение образов морских птиц чиму. Правда, для культуры мочика антропоморфизированные бакланы обычны. На многих росписях периодов IV и V эти птицы тянут за веревки лодки божества или находятся в самих лодках, держа в руках весла<sup>23</sup>. Однако бакланы выступают здесь как божества-слуги, тогда как в культуре чиму они — ведущие члены пантеона. На мочикских изображениях парность этих персонажей не подчеркивается, а в искусстве чиму — существеннейшее обстоятельство.

По мнению одного из ведущих специалистов по археологии северного побережья И. Шимады (личн. сообщ., 1982), образ антропоморфизированной птицы в иконографии ламбайеке восходит в основном к художественному стилю пачакамак, центром распространения которого был одноименный город. В VIII в. вещи, орнаментированные в этом стиле, встречаются почти во всех долинах центрального и северного побережья. В середине IX в. на основе традиций мочика, пачакамак и какамарка возник своеобразный стиль ламбайеке (или сикан, как именует его еще И. Шимада).

Гипотеза И. Шимады может быть в полной мере принята во внимание только после публикации им своих аргументов. Важное свидетельство в ее пользу — парность антропоморфизированных хищных птиц на сосудах из Пачакамака<sup>24</sup>. В любом случае, однако, речь может идти только о становлении определенного канона в изобразительном искусстве. Стоящие за иконографическим образом мифологические представления, которые мы попытаемся далее реконструировать, в Южной Америке настолько широко распространены, что нет оснований связывать их появление на севере Перу с влиянием той или иной культуры.

Прежде всего отметим, что как птицы, так и божества-мореплаватели в человеческом облике, известные в искусстве чиму, являются скорее всего близнечными персонажами, типичными для большинства индейских мифологий. Кроме того, обе пары обладают рядом общих признаков: они связаны с морем и рыбной ловлей, а форма их головных уборов одинакова, причем один-единственный убор бывает изображен над головами сразу обоих персонажей. Вполне вероятно, что перед нами два разных воплощения, две ипостаси (более и менее антропоморфные) одного в основе образа. Стремиться к их четкому различению или, напротив, искать доказательства полной тождественности вряд ли целесообразно, ибо подобная неопределенность для мифологии типична.

Изобразительные материалы чиму и данные словесной традиции позволяют в основном определить функциональное положение близнечных персонажей, о которых идет речь. Как мы отмечали ранее<sup>25</sup>, божества-птицы мыслились судругами богини, вероятно занимавшей ведущее положение в пантеоне северного побережья (они запечатлены в сцене совокупления с ней). Миф о женихе, принимающем образ птицы, чтобы проникнуть к возлюбленной, зафиксирован в Перу в районе Лимы

<sup>23</sup> Anton F. Op. cit., Taf. 144; Bankès G. Moche Pottery from Peru. Oxford, 1980, p. 36—37; Donnan C. B. Moche Art of Peru. Los Angeles, 1978, fig. 162; Kutscher G. Andperuanische Keramik. Monumenta americana. B., 1954, B. 1, fig. 66-b; Horkheimer H. Nahrung und Nahrungsgewinnung im vorspanischen Peru. B., 1960, Abb. 3; Willey G. R. An Introduction to American Archaeology. V. 2 — South America. Englewood Cliffs, 1971, fig. 3-68.

<sup>24</sup> С каждой стороны сосуда — фигура птицы, посредине (на горле) обычно голова антропоморфного божества (Baessler A. Altperuanische Kunst, Taf. 131—134, 147; Schmidt M. Kunst und Kultur, S. 281—284).

<sup>25</sup> Березкин Ю. Е. Сосуд из перуанской коллекции МАЭ. — Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1980, в. 35, с. 183—187.

в конце XVI в.<sup>26</sup> Другая его версия записана примерно там же в наши дни. Несмотря на позднюю фиксацию, нет никаких сомнений, что в главных чертах рассказ не выходит за рамки индейской традиции. Эта легенда повествует о том, как сын одного кураки<sup>27</sup> влюбился в дочь другого. Чтобы проникнуть к возлюбленной, он превратился в птицу, которую поймали и принесли в комнату девушки. Дочь рассказала отцу, что ей приснилось, будто птица в ее комнате стала мужчиной. Вскоре дочь забеременела. Узнав об этом, отец приказал убить девушку. Она ринулась бежать и увидела, что ее догоняет прежняя птица, теперь отвратительная на вид. Бросившись в море, дочь кураки и ее ребенок превратились в два острова.

Конец этой легенды совпадает с рассказом Ф. де Авилы, услышанном им в XVI в. в годы «искоренения идолопоклонства» (прекрасная Кавильяка убегает от Конираи, отца своего ребенка, так как он явился в образе безобразного нищего; она и младенец превращаются в два острова). Начало несколько отличается от записи XVI в., согласно которой Кавильяка забеременела, съев плод, в который впрыснул семя Конирая-птица. Зато оно имеет близкие аналогии в мифах народов Месоамерики, Колумбии и Венесуэлы. У племени коги (северо-восток Колумбии) герой Ниуалуэ, приняв птичий облик, в обществе других птиц разорял поле Тайку — первоначального обладателя культурных растений<sup>28</sup>. Дочь Тайку поставила силки, и Ниуалуэ в них попался. Девушка не расставалась с птицей, которая в отсутствие ее отца принимал человеческий облик. Подозревая обман, Тайку запер любовников в доме и поджег его, но те спаслись, захватив с собой семена всех культурных растений. Впоследствии они сожгли самого Тайку и его жену.

В мифе кубео (одно из племен восточных тукано на юго-востоке Колумбии) победитель ягуаров Хёманихикё также на время становится птицей (из рода стервятников), чтобы приблизиться к девушке и овладеть ею<sup>30</sup>. В мифе пиароа (южная Венесуэла) создатель солнца Вахари влюбился в Кваньяму — дочь змея Квоймоя (которого Вахари в конце концов убивает). Чтобы привлечь к себе внимание, Вахари превратился в красивую певчую птицу. Девушка подошла к ней посмотреть, тут вместо птицы перед ней оказался безобразный старик, от которого Кваньяма тщетно пыталась убежать. Позднее герой принял свой истинный облик и женился на возлюбленной<sup>31</sup>.

Среди народов майя данный миф зафиксирован у кекчи, мопан и какчикелей (Белиз, горная Гватемала)<sup>32</sup>. Солнечный герой влюбляется в дочь персонажа, имеющего в своем распоряжении волшебные предметы и властвующего над громами. Юноша принимает облик колибры, дает себя подстрелить, а затем, в комнате девушки, снова становится мужчиной. Любовники бегут, но отец девушки посылает громовника их уничтожить. Молния поражает девушку, но юноша ее воскрешает. Так как у девушки не оказалось полового органа, герой просит оленя сделать его своим копытом, и с тех пор женщины годятся для вступления

<sup>26</sup> *Avila F. de. Dioses y hombres de Huarochiri.* Lima, 1966, p. 23.

<sup>27</sup> *Arguedas J. M., Izquierdo Rios R. F. Mitos, leyendas y cuentos peruanos.* Lima, 1947, p. 41—42.

<sup>28</sup> Курака — представитель местной знати в эпоху инков.

<sup>29</sup> *Preuss K. T. Forschungsreise zu den Kagaba. Mödling bei Wien, 1926, S. 204—211.* Несколько иной вариант текста на подобный сюжет у коги был записан позднее Г. Рейхель-Долматовым (*Uscategui Mendosa N. Contribución al estudio de la masticación de las hojas de coca.*— *Revista Colombiana de Antropología*, 1954, v. 3, p. 226—227).

<sup>30</sup> *Koch-Grünberg T. Zwei Jahre unter den Indianer.* Stuttgart, 1909—1910, B. 2, S. 159—160.

<sup>31</sup> *Boglar L. Cuentos y mitos de los Piaraos.*— *Montalbán*, 1977, № 6, p. 268—269.

<sup>32</sup> *Gordon G. B. Guatemala Myths.*— *The Museum Journal/Univ. Museum, Philadelphia*, 1915, v. 6, № 3, p. 120—121; *Thompson J. E. S. Ethnology of the Mayas of Southern and Central British Honduras.*— *Field Museum of Natural History, Anthropol. Series*, 1930, Publ. 274, v. 17, № 2, p. 126—129; *Idem. Historia y religión de los Mayas. México*, 1977, p. 435—438.

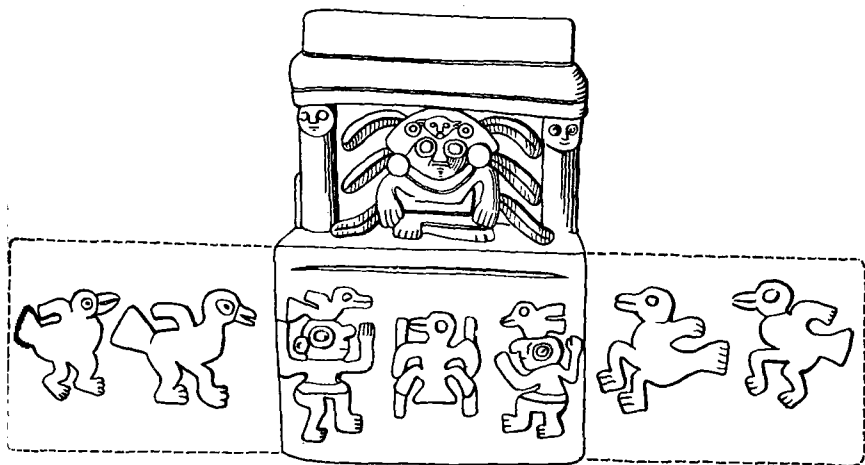


Рис. 10. Прорисовка изображения на сосуде культуры чиму. Сцена расправы над птицами. Долина Моче (Baessler A. *Altperuanische Kunst*. В.—Lpz., 1902—1903, В. I—IV, fig. 60)

брак. В Месоамерике миф о любовнике-птице отмечен также у мишегуанауа Веракруса<sup>33</sup>.

Миф о женихе-птице распространен едва ли не по всему миру, однако в Южной и Центральной Америке он, во-первых, отличается специфическими особенностями (что видно из сопоставления изложенных фактов), а, во-вторых, его ареал хотя и велик, но достаточно ограничен (в Южной Америке — только ее северо-западные районы). Это позволяет предполагать, что в пределах данного ареала сюжет имеет единое происхождение (из чего, естественно, не следует этническое родство соответствующих племен); а те общие черты, которые есть в разных версиях, могут быть использованы для реконструкции перуанского мифа.

Во всех отмеченных случаях жених-птица — солнечный или по крайней мере небесный герой, победитель демонических «хозяев» (первоначальных владельцев культурных растений, повелителей стихий и т. п.). Это представитель младшего поколения божеств, противопоставленный старшим персонажам. Вероятно, не будет ошибкой распространить те же черты и на персонажей чиму, а также на мочикского героя-мореплавателя (предшественника одного из героев более антропоморфной близнечной пары). Образ последнего в искусстве (ореол из лучей-палиц) вполне тому соответствует.

Подведем итог. Широта распространения мифа об орнитоморфном герое на северо-западе Южной Америки делает вероятным и знакомство с ним мочика. Тем не менее соответствующая изобразительная традиция чиму не имеет оснований в мочикской иконографии. Налицо лишь достаточно общее сходство отдельных мотивов, связанных у мочика с различными сюжетами, предполагать синтез которых в чиму ничто нас не заставляет. Так, если антропоморфизированные бакланы мочика имеют отношение к мореплаванию, то мотив священного брака, столь важный в реконструируемом мифе чиму, в культуре мочика отражен в совершенно ином контексте (героем является упоминавшийся выше персонаж «А», человек-ягуар). Таким образом, если изображения мореплавателей доказывают сохранение в идеологии чиму мочикской традиции, то образы божеств-птиц свидетельствуют о разрыве с ней.

Перейдем теперь к другому иконографическому сюжету. Сосуд эпохи чиму изображает храм на вершине пирамиды<sup>34</sup> (рис. 10). Внутри

<sup>33</sup> Law H. W. *Tamakasti: a Gulf Nahuatl text.*—Tlalocan, 1957, v. 3, № 4, p. 344 (там. 1), 345—355.

<sup>34</sup> Baessler A. *Altperuanische Kunst*, fig. 60; Doering H. U. *Altperuanische Hauspfeiler und eine melanesische Parallele.*—Baessler-Archiv, 1936, В. 19, Н. 1—2, Abb. 11.



Рис. 11. Роспись на сосуде культуры мочика, поздний этап (фрагмент). Сцена правы над птицами (человек-палица, ведущий птиц-пленников, присутствует не во сценах данной серии и не имеет гомологичной фигуры на сосуде чиму; ср. рис. (Donnan C. B., McClelland D. The Burial Theme in Moche Iconography.— Studies Pre-Columbian Art and Archaeology, Dumbarton Oaks, 1979, № 21, fig. 7)

здания сидит, скрестив ноги, человек в роскошном головном уборе свешивающимися с него лентами. Явных мифических признаков персонаж не имеет, но позой и облачением напоминает одно из мочикских божеств («С» — по нашей классификации), часто восседающее в пещере или под навесом храма<sup>35</sup>. Для нас, однако, интересен не столько этот бог или жрец, сколько фигуры по периметру кубического тулова сосуда изображающего платформу, на которой возвышается храм.

На передней стенке в центре показана птица; распластанная на двух вертикальных кольях. Справа и слева от нее — два антропоморфных существа с головными уборами в виде фигур птиц. На каждой из боковых сторон тулова сосуда тоже изображены по две птицы. Они лишены антропоморфных черт (если не считать напоминающих человеческие ноги, но художники чиму птиц так изображали всегда) и вряд ли имеют что-либо общее с той нарой мифологических пернатых в полумесячных головных уборах, о которых шла речь выше.

Прорисовка изображения на данном сосуде была опубликована еще в начале XX в., а его фотография — в 30-х годах, но до самого последнего времени попытки истолковать сцену не могли быть предприняты ввиду отсутствия для нее каких-либо аналогий. Однако несколько лет назад К. Доннаном была обнаружена группа позднемочикских росписей, до этого ни разу не публиковавшихся и не упоминавшихся в литературе<sup>36</sup>. Речь идет о композиции из нескольких частей, главный сюжет которой — похороны мифологического персонажа. Прочие сцены на ней же росписи рассказывают о событиях, вероятно предшествующих опусканию тела в могилу (рис. 11)<sup>37</sup>. Мы видим лежащее женское божество

<sup>35</sup> Березкин Ю. Е. Идентификация..., с. 147—149; *его же*. Божество — покровитель земледелия на изображениях мочика (Перу). — Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1981, в. 37, с. 35—53.

<sup>36</sup> Единственное исключение — опубликованный в начале 70-х годов фрагмент сцены росписи, который не позволял, однако, судить о содержании композиции в целом. См.: Hébert-Stevens F. L'art ancien de l'Amérique du Sud. P., 1972, fig. 47.

<sup>37</sup> Donnan C. B. Moche Art of Peru, fig. 143; Donnan C. B., McClelland D. The Burial Theme in Moche Iconography.— Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology, Dumbarton Oaks, 1979, № 21. Интерпретация сцены была предложена мной в статье: Berezkin Yu. E. An Identification..., p. 14—15.

рзаемое стервятниками. Следующий эпизод — видимо, месть двух филологических персонажей птицам за их глумление над трупом. Те же стервятники, которые клевали тело, изображены теперь в качестве связанных пленников, один же из них привязан к паре врытых в землю столбов. Подобный род казни описан хронистами у некоторых южноамериканских индейцев<sup>38</sup>. На мочикских изображениях пленник с дранной на спине или на лице кожей показан привязанным к деревянной раме перед входом в храм<sup>39</sup>. На интересующей нас росписи есть также храм на вершине пирамиды, в котором сидит божество (на рис. 11 не показан). На сосуде чиму изображения храма и распятой птицы также сочетаются, что вряд ли случайно.

Персонажи, творящие суд и расправу над птицами, — важнейшие герои мочикских мифов. Это уже известные нам антропоморфный (но с птичьими чертами ягуара) победитель чудовищ (божество «А») и его постоянный спутник — человек-игуана<sup>40</sup>.

Нет никакого сомнения, что рельеф на сосуде чиму передает ту же сюжетную сцену, что и мочикские росписи, хотя позднее изображение более схематично и понятно только по аналогии с ранним. Пожалуй, наиболее существенное отличие рельефа чиму от мочикской росписи — идентичность трактовки на нем обеих главных фигур. Мочикские персонажи-мстители внешне различаются как наличием у одного из них (игуаны) большего количества зооморфных черт, так и неодинаковыми головными уборами. Если у игуаны убор всегда украшен изображением птицы, то у антропоморфного божества — фигурой хищника из семейства кошачьих.

Данное отличие, однако, не может поколебать вывод о мочикских росписях как прототипе рельефа чиму. Оно лишь свидетельствует об искажении или забвении первоначального смысла сюжета в позднее время<sup>41</sup>. Как и в случае со сценами мифической рыбной ловли, изображение на сосуде чиму восходит не к мочикским росписям вообще, а к тем, которые датируются заключительным этапом этой культуры. Это важный аргумент в пользу генетических связей. В противоположность тому, выявленные другими авторами «архаизирующие» изображения чиму довольно точно воспроизводят сцены на мочикских сосудах более раннего времени, что исключает возможность прямой преемственности. Последний сюжет, который нам хотелось бы рассмотреть, связан с изображением персонажа, ведомого под руки двумя другими<sup>42</sup>. На трех четырех известных нам соответствующих рельефов на сосудах чиму персонаж в центре не имеет мифических черт, но в одной сцене вокруг него повязана змея (рис. 12). Под правую руку божество поднимает игуана, под левую — в одном случае птица (стервятник? см. рис. 13) и в двух — человек в головном уборе с полумесяцем (подобным образом наряженный персонаж в искусстве чиму встречается часто и, видимо, является важным божеством). На четвертом рельефе боковые фигуры схематичны и плохо различимы. На двух рельефах сцену снизу обрамляет ряд ступенчатых выступов (рис. 12, 13). Они редки на изображениях чиму, но чрезвычайно характерны для позднемочикской иконографии.

Опубликованные односюжетные изображения мочика отличаются от рельефа чиму многими особенностями, но в данном случае это обстоя-

<sup>38</sup> Simón P. Noticias históricas de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales. Bogotá, 1882—1892, t. 1, p. 190—191, t. 2, 5 noticia, cap. X, p. 364.

<sup>39</sup> Baessler A. Altperuanische Kunst, fig. 47; Donnán C. B. Moche art, fig. 137, 148; Hoyle R. Los Mochicas. Lima, 1939, t. 2, fig. 216.

<sup>40</sup> Berezkin Yu. E. An Identification..., p. 2—7.

<sup>41</sup> Заметим также, что, судя по фотографии, рельеф на сосуде чиму в том месте, показан убор одного из персонажей, поврежден, прорисовка же может воспроизводить детали неверно. Персонаж, у которого убор поврежден, по размеру больше его спутника, что соответствует относительным размерам божества «А» и игуаны мочикских изображений.

<sup>42</sup> Baessler A. Altperuanische Kunst, fig. 352; Kutscher G. Nordperuanische Keramik, 1976-c; Testimonianze d'arte delle culture peruviane primitive. Milano, 1974, fig. 107,



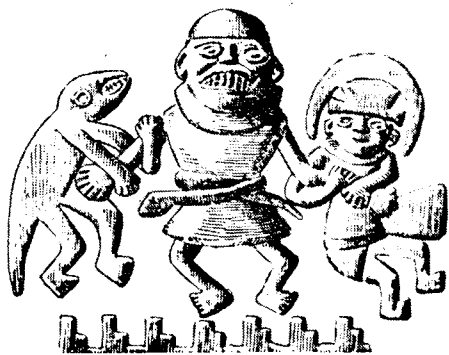


Рис. 12. Рельеф на сосуде, изображающий двух персонажей, ведущих третьего. Культура ламбайеке-чиму. Происхождение неизвестно (*Kutscher G. Nordperuanische Keramik. Monumenta americana. В., 1954, В. 1, Taf. 76-c*)

сценах птицы (стервятники, а иногда, возможно, бакланы) не враждебны ему явно, а поддерживают божество под руки (рис. 14)<sup>43</sup>. Замена на рельефе чиму одной из птиц игуаной легко понять, так как этот персонаж — постоянный спутник и помощник божества «А». Появление персонажа в полулунном уборе пока загадочно<sup>44</sup>. У центрального божества (ведомого под руки) на мочикских изображениях от пояса охватывают змеи. Это аргумент в пользу его идентичности с персонажем чиму, пояс которого также перевит змеями.

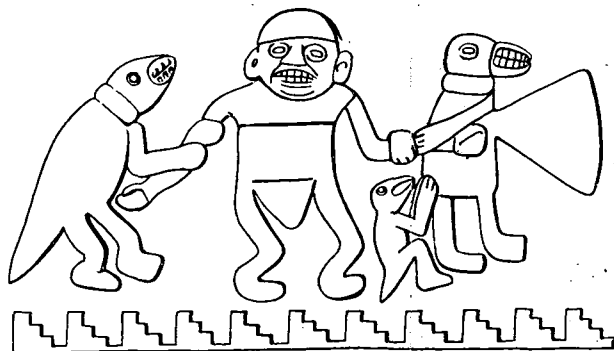


Рис. 13. Рельеф на сосуде, изображающий двух персонажей, ведущих третьего. Культура ламбайеке-чиму. Долина Пакасмайю (*Baessler A. Altperuanische Kunst, fig. 352*)

Попытка понять смысл данного сюжета в мочикском искусстве была предпринята американской исследовательницей Э. Бенсон<sup>45</sup>. Поскольку на сосуде подобная сцена бывает включена в серию других, изобра-

<sup>43</sup> *Baessler A. Altperuanische Kunst, fig. 353, 354; Benson E. P. The Mochica..., p. 2—8; Imbelloni J. L'antico Peru.— In: Le Razze e i Popoli della Terra/Ed. Biasutti, Torino, 1957, v. IV, fig. 428; Seler E. Peruanische Alterthümer. В., 1893, Taf. 16—7; García L. E. Dioses, hombres y bestias.— Cuadernos de arte antiguo del Peru. Lima, 1931, № 5, fig. 4; Wassermann B. J. Cerámicas del antiguo Perú de la colección Wassermann, San Blas. Buenos Aires, fig. 527—529.* Есть также мочикский сосуд, где вместо одной из птиц божество поддерживает человек (*Donnan C. V. Moche Art of Peru, fig. 17*)

<sup>44</sup> Сбоку от тела этого персонажа отходит трапециевидный выступ, по-видимому, деталь костюма. Однако у фигуры птицы на другом рельефе похожий выступ образует крыло. Случайное ли это совпадение или указание на эволюцию птицы в антропоморфное божество?

<sup>45</sup> *Benson E. P. The Mochica..., p. 32.*

жающих поединки божества с демонами, эти сцены, по ее мнению, взаимосвязаны, и птицы в этом случае выносят мифического героя с поля битвы.

В устной индейской традиции известны два текста, которые могли бы послужить основой для реконструкции смысла изображений мочика и чиму. В одном из текстов, записанных К. Т. Пройсом в начале нашего века от жрецов коги (мифы этого колумбийского племени упоминались выше), рассказывается, как герой Ниуалуэ поднялся на небо к «отцу птиц». Вместе с «солнечными воронами» он стал спускаться на поля собирать фасоль. Однако Ниуалуэ работал плохо, а потом не смог или не захотел вернуться на небо. Тогда по приказу отца птиц два ворона взяли его по бокам, а третий поддерживал снизу, и так они подняли его назад на небо.

Второй текст происходит с самого северного побережья, но, к сожалению, дошел до нас фрагментарно. Антонио де ла Каланча в начале XVII в. сообщает, что индейцы побережья в трех звездах Пояса Ориона видели преступника, ведомого на расправу двумя звездами — посланцами бога Луны; четыре звезды пониже — это стервятники, которые станут клевать его тело<sup>46</sup>.

Несмотря на очевидные различия между обоими текстами, в них есть и общие элементы (небесное божество, отправляющее посланцев привести героя, нарушающего какие-то правила; упоминание стервятников). Возможно, что мифологема была широко распространена на северо-западе Южной Америки, и в таком случае связь с ней древних изображений вероятна.

Рельефы на данный сюжет стилистически следует отнести к раннему периоду существования культуры чиму, скорее даже не к собственно чиму, а к поздней культуре ламбайеке. Лишь одно из четырех изображений нанесено на сосуде со стремевидной ручкой — форме, возрождающейся на северном побережье довольно поздно, после почти полного исчезновения в конце I тыс. н. э. Именно этот рельеф самый схематичный.

\* \* \*

Итак, на примере трех серий изображений на мифологические темы божества-мореплаватели, расправа над стервятниками, персонаж, веденный под руки двумя другими), особенно двух первых, мы убедились, что между цивилизациями мочика и чиму в значительной мере существовала прямая преемственность в области государственной религии и древнего, элитарного искусства, а не только в сфере «народной традиции» (знахарство и пр.)<sup>47</sup>. То, что речь идет о высших, государственных формах идеологии, доказывает характер сравниваемых памятников. В поздней культуре мочика это росписи на сосудах, отделка каждого из которых требовала много времени, предельного технического совершенства и скрупулезного знания мифологической традиции. Вряд ли следу-



Рис. 14. Божество, ведомое двумя стервятниками. Рельеф на сосуде среднего периода культуры мочика. Долина Санты (Baesslerer A. Altperuanische Kunst, fig. 160)

<sup>46</sup> Calancha de la A. Cronica moralizada del orden de San Agustin en el Peru, con otros egeplares en esta monarquia. Barcelona, 1638, lib. 3, cap. 2, p. 553.

<sup>47</sup> См. Sharon D., Donnan C. B. Shamanism in Moche Iconography. Los Angeles, 1974. См. также и другие работы тех же авторов.

ет сомневаться в том, что эти сосуды изготовлялись в особых мастерских под наблюдением жрецов и клались в могилы высокопоставленных персонажей (каких именно, мы не знаем, так как предметы извлечены из земли грабителями). В культуре чиму материал, выбранный для нанесения изображения, говорит сам за себя: золотая корона предначалась, конечно же, не простолоюдину. Сосуды чиму с рельефным декором, хотя и уступающие по великолепию отделке мочикским, относятся к категории парадной, а не бытовой керамики.

Полученные выводы позволяют с большим основанием, чем прежде, переносить данные о разного рода политических, социальных и экономических институтах эпохи чиму на позднемочикскую (но пока не более раннюю) эпоху и наоборот. Разумеется, такой перенос практиковался исследователями с самого начала изучения культур северного побережья, но вопрос о правомочности подобной интерполяции часто даже не ставился.

Центром мочикской культуры была долина Моче, и в ней же находилась столица государства Чимор. Весьма вероятно, однако, что важная роль в передаче традиции сыграли более северные долины (Пакасмай, Ламбайеке и др.), значение которых резко выросло в конце существования цивилизации мочика. Из привлекавшихся нами к рассмотрению предметов чиму (и ламбайеке-чиму) происхождение в источниках указано лишь для трех (не считая тканей из Пачакамака): одна вещь найдена в Пакасмай, одна в Ламбайеке и одна в Моче (сосуд со сценой расправы над птицами).

Однако наряду со сходством между иконографическими традициями мочика и чиму есть и различия. Главное не в том, что очень многие мочикские сюжеты не имеют в чиму продолжения. Это можно объяснить просто обеднением иконографии, вызванным самыми различными причинами. Более значимо появление в изобразительном искусстве чиму новых тем, примером чего являются образы орнитоморфных героев, связанные с ними сюжеты (брак с богиней и — пока сугубо предположительно — ритуальное добывание огня). Среди других сюжетов, характерных для позднего искусства северного и тесно связанного с ним в эту эпоху центрального побережья (рисунки на тканях из Анкона и Пачакамака), не имеющих аналогий в мочика, назовем следующие: 1) мужчина и женщина, плывущие в лодке, которую иногда поддерживает огромная рыба (этот сюжет мы упоминали); 2) поле, на котором растут гигантские кукуруза и клубнеплоды, а между растениями крошечные человечки охотятся на птиц (не ясно, идет ли речь о нарушении перспективы или подразумеваются растения действительно необычных размеров); 3) ряд сложных сцен на тканях, которые пока не расшифровываются; 4) образы ряда божеств.

Не исключено, конечно, что ранние прототипы для некоторых сюжетов просто не угаданы ввиду каких-нибудь маловажных по существу, но бросающихся в глаза внешних различий (как в случае с мореплавателями). Возможно также, что отыщется связь иконографии чиму искусством мочика не только через культуру ламбайеке, сформировавшуюся к северу от долины Моче, но и через художественный стиль кама, продолжавший в конце I тыс. н. э. мочикские традиции к югу от этой долины<sup>48</sup>. Тем не менее ясно, что в иконографии (а значит, и в идеологии) чиму есть немочикский субстрат, происхождение которого еще предстоит выяснить.

<sup>48</sup> Beriozkin Yu. E. La tradición mochica..., p. 180—184.

Е. П. Федосеева

## А. Л. ТРОИЦКАЯ И ЕЕ АРХИВ

В ряду известных исследователей истории и этнографии Средней Азии имя Анны Леонидовны Троицкой занимает почетное место. Неугомонный собиратель, исследователь восточных рукописей, автор фундаментальных работ, она внесла весомый вклад в отечественную историческую науку<sup>1</sup>.

А. Л. Троицкая родилась 10 мая 1899 г. в Ташкенте. Здесь же в 1915 г. она окончила гимназию, а в 1918—1923 гг. училась в Туркестанском восточном институте, где успешно изучала историю, этнографию, восточные языки (арабский, персидский, таджикский, узбекский). Ее учителями были известные ученые — М. С. Андреев, И. И. Зарубин, А. А. Семенов, А. Э. Шмидт. С 1921 г., еще будучи студенткой, А. Л. Троицкая работала в этнографическом отделе Среднеазиатского государственного музея в Ташкенте, а после окончания института, с 1923 г. — в Среднеазиатской публичной библиотеке.

В 1925 г. А. Л. Троицкая переехала в Ленинград и стала младшим научным сотрудником Комиссии АН СССР по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. По характеру работы ей много времени приходилось проводить в поездках. Например, в 1926—1927 гг. она в составе Среднеазиатской экспедиции АН СССР изучала этнографию таджиков долины Зеравшана, в частности их обряды, связанные с первыми годами жизни ребенка.

С 1932 по 1938 г. А. Л. Троицкая — главный библиотекарь Государственной публичной библиотеки (ГПБ), впоследствии ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Здесь помимо описания книжных фондов Отдела национальностей ею было завершено начатое в 1931 г. составление библиографии работ по истории и этнографии Таджикистана. По-прежнему А. Л. Троицкую интересовали и некоторые проблемы истории этнографии Средней Азии, в частности Узбекистана, где в 1936 г. был поднят вопрос об изучении истории народного театра. К этому времени народный театр Узбекистана фактически прекратил свое существование. Необходимо было в ближайшее время, пока еще были живы многие старые актеры-кызыкчи (скоморохи), записать тексты юмористических рассказов (фарсов), которые они обычно сочиняли сами и хранили своей памяти, а также организовать несколько представлений, сфотографировать хотя бы отдельные их сцены. Иными словами, надо было собрать исчезающий этнографический материал. Эту важную работу начал Научно-исследовательский институт искусствознания УзССР, направив в 1936 г. двух сотрудников — Д. Кадырова и А. Адилова — Ферганскую долину для сбора материалов по народному театру. Руководителем экспедиции была назначена А. Л. Троицкая, которая записывала тексты фарсов, выявляла известный среди местных кызыкчи репертуар, определяла важность собираемых членами экспедиции сведений. В результатах полевой деятельности в Фергане она опубликовала заметку<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Об этом см.: Чехович О. Д. Анна Леонидовна Троицкая. К семидесятилетию со дня рождения. — Народы Азии и Африки, 1969, № 4, с. 228—229; Миллибанд С. Д. Троицкая Анна Леонидовна. Библиографический словарь востоковедов. М., 1975, с. 556; Учин Б. В. Анна Леонидовна Троицкая. Библиографические очерки о деятелях общественных наук Узбекистана. Ташкент: ФАН, 1977, с. 172—174.

<sup>2</sup> Троицкая А. Л. Ферганская театральная экспедиция. — Сов. этнография, 1937, № 1, с. 163—164.

В конце 1936 г. изучение узбекского народного театра было прервано, но собранные экспедицией материалы благодаря усилиям А. Л. Троицкой сохранились. По возвращении в Ленинград она продолжала работать в ГИИ, а в 1938 г. стала старшим научным сотрудником Института антропологии и этнографии АН СССР.

В 1938 г. по совокупности работ А. Л. Троицкой была присвоена ученая степень кандидата исторических наук.

Вернуться к изучению узбекского народного театра ей удалось лишь в 1940 г. На этот раз сбор материалов происходил в основном в Ташкенте, куда были приглашены кызыкчи из Ферганской долины. Возглавила работу опять А. Л. Троицкая. Небольшая группа сотрудников ташкентских институтов под ее руководством записывала фарсы, а также разнообразные сведения об издавна существовавших в Узбекистане цеховых организациях артистов и музыкантов, об условном языке этих организаций. Тогда же удалось наладить работу с Юсуп-кызыкчи (Юсупджан Шакарджанов), который был не только знатоком традиционного узбекского репертуара, но и учителем кызыкчи в Ферганской долине и в Ташкенте. О некоторых результатах этой работы А. Л. Троицкая рассказала в статье «Народный театр в Узбекистане»<sup>3</sup>.

Изучая узбекский народный театр, А. Л. Троицкая все более углубилась в жизненности его репертуара. Она предложила устроить републиканский смотр искусства узбекских скоморохов, и ее предложение было поддержано. Научно-исследовательский институт искусствознания УзССР и Государственная филармония республики подготовили смотр, который состоялся 21 октября в помещении цирка г. Ташкента. Выступления кызыкчи прошли успешно, смотр стал праздником народного искусства Узбекистана. А. Л. Троицкая принимала активное участие в подготовке этого смотра, а во время его организовала детальную фотосъемку представлений. Ей удалось также дополнить свои записи текстов фарсов.

В дальнейшем, работая над собранными материалами, А. Л. Троицкая проверяла прежние записи текстов, уточняла значение встречающихся в них терминов и редких слов.

Великая Отечественная война застала А. Л. Троицкую в Ташкенте с марта 1942 г. она стала сотрудником Фундаментальной библиотеки Среднеазиатского государственного университета, а с июня 1942 г. — старшим научным сотрудником эвакуированного из Ленинграда в Ташкент Института востоковедения АН СССР. Здесь в секторе тюркской филологии А. Л. Троицкая смогла продолжить исследование народного театра Узбекистана, что было очень нелегко, ибо во время войны были утрачены многие из собранных под ее руководством материалов, в том числе и фотографии выступлений узбекских скоморохов на смотре 1940 г.

В 1943—1944 гг., изучая материалы по условному языку (арго) цеховой организации артистов и музыкантов, А. Л. Троицкая обнаружила его родство с арго среднеазиатских цыган, а также выявила по рукописи XIV в. «Китаб-и-саснан» («Книга нищих») наличие в нем общих элементов с условным языком нищих «сасиан». В результате научных изысканий, записи и анализа текстов рассказов и песнопений маддахов и каландаров А. Л. Троицкая пришла к заключению, что, во-первых, арго пользовались и дервиши-каландары, и рассказчики-маддахи<sup>4</sup>, во-вторых, между ними и кызыкчи существовала тесная связь. Впоследствии А. Л. Троицкая посвятила этой теме специальную работу<sup>5</sup>.

Собранные А. Л. Троицкой в течение 10 лет (1936—1945) богатейшие материалы по узбекскому народному театру, в том числе цирка

<sup>3</sup> См. Рабочая хроника Института востоковедения АН СССР. Ташкент, 1944, № 1, с. 33—35.

<sup>4</sup> Троицкая А. Л. Abdoltili — арго цеха артистов и музыкантов Средней Азии. Советское востоковедение, 1948, № 5, с. 251—274.

<sup>5</sup> Троицкая А. Л. Из прошлого каландаров и маддахов. — В кн.: Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М.: Наука, 1975, с. 191—223.

ольному театру, скоморошеству, цеховой организации артистов и выкантов, легли в основу ее докторской диссертации на тему «Народный театр в Узбекистане», которую она защитила в 1947 г. после возвращения в Ленинград. В 1948 г. ею была опубликована статья о народном театре и цирке Узбекистана<sup>6</sup>.

В последующие годы А. Л. Троицкая подготовила по материалам своей диссертации монографию «Народный театр Узбекистана» (объем в 20 п. л.) с приложением 11 выпусков (объемом в 20 п. л.), включающих тексты и переводы с узбекского языка на русский народных фарсов, клоунад и юмористических рассказов. Произведения, помещенные в 11 выпусках, затрагивают почти все стороны узбекского дореволюционного быта. Это фарсы, высмеивающие администрацию, мелких торговцев и предпринимателей, кустарей и лекарей, цирковые клоунады, язычки и артисты цирка, различного рода небылицы и анекдоты. Каждый из выпусков имел краткое предисловие с характеристической выдержкой из включенных в него текстов, примечания к переводам, словарь терминов и редких слов, встречающихся в тексте.

Исследование А. Л. Троицкой — первый обобщающий труд по истории народных зрелищ Узбекистана. Много места в нем отведено искусству скоморохов. По ее мнению, скоморошество Узбекистана имело ярко выраженный сатирический характер и определенную социальную направленность. А. Л. Троицкая рассказывает о воспитании и обучении язычки, их костюмах для выступления, гриме, репертуаре и декорациях. Особую ценность представляют записи сенок и фарсов, а также материалы о цеховой организации артистов и музыкантов, которая, по мнению автора, складывалась по типу производственных цехов. К сожалению, публикация этого фундаментального труда так и не была осуществлена. Именно поэтому мы специально охарактеризовали огромный клад А. Л. Троицкой в изучение народного театра Узбекистана — ведь в других темах, успешно разрабатывавшихся А. Л. Троицкой, читатель найдет из ее публикаций. А они посвящены многим вопросам традиционной культуры народов Средней Азии<sup>7</sup>.

В 1950 г. А. Л. Троицкая работает в Отделе рукописей ГПБ, а с 1958 до 1963 г. (до выхода на пенсию) она — старший научный сотрудник Института народов Азии АН СССР.

Следует остановиться еще на исследовании А. Л. Троицкой архива кокандских ханов. Этот архив поступил в ГПБ в 1876 г. и до А. Л. Троицкой никем не изучался. После того как сотрудники библиотеки завершили трудоемкую работу по реставрации документов архива, А. Л. Троицкая смогла в 1950 г. начать их систематизацию, описание и анализ<sup>8</sup>. Только благодаря кропотливому труду исследовательницы, продолжавшемуся около 20 лет, архив стал достоянием науки. После избора и описания всех документов архива он был передан в Главное архивное управление УзССР. В Ленинграде хранятся только микрофильмы (в ГПБ и Институте востоковедения АН СССР).

Многие годы А. Л. Троицкая принимала участие в разных этнографических экспедициях: в 1921 г. в экспедиции Совнаркома Туркестанской АССР по сбору материалов для составления этнографической карты Средней Азии; в 1926—1927 гг. — в Среднеазиатской экспедиции АН

<sup>6</sup> Троицкая А. Л. Из истории народного театра и цирка в Узбекистане. — Сов. этнография, 1948, № 3, с. 71—89.

<sup>7</sup> Наиболее полный перечень трудов А. Л. Троицкой см.: Лукин Б. Р. Указ. раб., с. 173—174.

<sup>8</sup> Уже в 1955 г. она опубликовала первую статью этого цикла, см.: Троицкая А. Л. Заповедник — курук кокандского хана Худояра. — Тр. ГПБ. Т. III. Л., 1955, с. 122—170. Позднее вышли в свет: ее же. Архив кокандских ханов XIX в. Предварительная статья. — Тр. ГПБ. Восточный сборник. Л., 1957, т. II(V), с. 185—209; ее же. Сагира в Кокандском ханстве (XIX в.). — В кн.: Исследования по истории культуры народов Востока. Сборник в честь академика И. А. Орбеля. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1960, с. 271—279; ее же. Каталог архива кокандских ханов XIX в. М.: Наука, 1968. 582 с.; ее же. Материалы по истории Кокандского ханства XIX в. По документам архива кокандских ханов. М.: Наука, 1969. 154 с.

СССР под общим руководством И. И. Зарубина; в 1936, 1941—1941 гг. — в Ферганской экспедиции Научно-исследовательского Института искусствознания УзССР. В 1936 и 1938 гг. она собирала в Узбекистане материалы по традиционному и современному быту народов. Во свою сознательную жизнь — со студенческой скамьи и до последнего дня — А. Л. Троицкая посвятила науке. Умерла она в 1980 г. К сожалению, не все работы исследовательнице удалось издать; некоторые из них хранятся в ее архиве, который в 1982 г. был передан в ГПБ, ■ составил специальный фонд. Он включает 231 единицу хранения. Прежде всего заслуживают внимания материалы о народном узбекском театре, собранные ею в Узбекистане в 1936, 1940 и 1944 гг. Среди них: рукописи монографии «Народный театр Узбекистана» (№ 1, 2)<sup>9</sup>. «Очерк по народным театральным зрелищам» (№ 3) и «Узбекский народный театр» (№ 4), а также: 1) тексты фарсов-клоунад, которые планировалось включить в один из 11 выпусков Приложения к монографии (№ 8—29), и 2) 72 фотоснимка (№ 53—54) представлений народного театра (1936 и 1940 гг.), подготовленные для монографии. Особого внимания заслуживают тексты фарсов-клоунад, записанные на узбекском языке арабским шрифтом членами экспедиции и самой А. Л. Троицкой (№ 57—98). Многие из них она не только перевела на русский язык, и тщательно подготовила к печати.

Другая значительная по объему группа материалов фонда связана с экспедиционными исследованиями А. Л. Троицкой в Узбекистане в 1920—1930-е годы (№ 100—187). В архиве также хранятся собранные А. Л. Троицкой документы о среднеазиатских цыганах (люли), в том числе корректура неопубликованной статьи «Ташкентские цыгане (люли)» (№ 160—169).

Большое значение имеют и материалы А. Л. Троицкой о народных промыслах, в частности об изготовлении тюбетеек (№ 170—176). Ей собраны многочисленные фотоснимки тюбетеек, украшенных различными видами вышивок, образцы нитей разноцветного шелка, используемых для тесьмы и для вышивки тюбетеек; 28 узоров вышивок; свыше 100 оттисков штампов (калыб). Этот ценный материал по истории народного прикладного искусства Узбекской ССР можно с успехом использовать в практической работе, особенно сейчас, когда во всех республиках нашей страны развиваются народные промыслы.

В архиве хранятся и материалы к биографии А. Л. Троицкой: диплом об окончании института, трудовая книжка, фотопортреты и др.; также ее переписка, в том числе письма к ней академиков М. Е. Мясоедова, А. А. Семенова и др.

В целом материалы личного архива А. Л. Троицкой — несомненно ценнейший источник для изучения истории и этнографии народов Средней Азии.

<sup>9</sup> Здесь и далее указываются номера единиц хранения в ГПБ.

А. Б. К а л ы ш е в

## МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРАКИ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ КАЗАХСТАНА

(По материалам Павлодарской области.  
1966—1979 гг.)

При изучении семьи как микросреды этнических процессов большой интерес представляют межнациональные браки — их ареалы, частота и этническая структура.

В нашей стране вследствие социалистических преобразований экономики, быта и культуры межнациональные браки стали весьма распространенным явлением. В настоящее время в городской и сельской местности наблюдается «отчетливо проявляющаяся тенденция ежегодного роста частоты межэтнических браков»<sup>1</sup>. Если раньше такие браки встречались чаще среди интеллигенции, то теперь они характерны для всех социально-профессиональных групп населения, включая рабочих и колхозников<sup>2</sup>. При этом главным мотивом вступления в брак являются такие факторы, как любовь и общность духовных интересов.

Основным источником для написания данной статьи послужили материалы архивов загсов<sup>3</sup> Баянаульского, Ермаковского и Иртышского районов Павлодарской области (Павлодарское Прииртышье) за 1966—1979 гг. Всего было подвергнуто анализу 13 300 бланков регистрации браков; для их обработки был применен метод О. А. Ганцкой и Г. Ф. Дебеца<sup>4</sup>.

Выбор названных районов не случаен: Баянаульский представляет собой компактную зону расселения коренных жителей (казахов) с незначительными иноэтническими вкраплениями, а Ермаковский и Иртышский районы образуют этноконтактную зону, где проживают русские, казахи, украинцы, немцы и другие народы. Контакты между представителями всех этих народов, усилившиеся со второй половины XIX в., стали особенно заметными в 1950-е годы в связи с освоением целины. Ю. В. Андропов отмечает, что в результате этнодемографических процессов и «естественной миграции населения еще более многонациональной становится... в той или иной мере — каждая область, каждый город»<sup>5</sup>. По переписи населения 1979 г., в Павлодарской области проживало около 100 национальностей, при этом численно преобладали четыре этноса: русские, казахи, украинцы и немцы, составляющие в целом

<sup>1</sup> Основные направления изучения национальных отношений в СССР. М.: Наука, 1979, с. 217.

<sup>2</sup> Харчев А. Г., Мацковский М. С. Современная семья и ее проблемы. М.: Статистика, 1978, с. 71—72.

<sup>3</sup> Впервые к материалам загсов как источнику для исследования межнациональных браков обратилась А. Г. Трофимова (см. Трофимова А. Г. Материалы отделов загс о браках как этнографический источник. — Сов. этнография, 1965, № 5, с. 114—121).

<sup>4</sup> См. Ганцкая О. А., Дебец Г. Ф. О графическом изображении результатов статистического обследования межнациональных браков. — Сов. этнография, 1966, № 3, с. 109—118.

<sup>5</sup> Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР. М.: Политиздат, 1982, с. 14.



## Межнациональные браки в Павлодарской области в 1966—1979 гг.

Год	Баянаульский район			Ермаковский район			Иртышский район		
	всего браков	из них межнациональных		всего браков	из них межнациональных		всего браков	из них межнациональных	
		число	%		число	%		число	%
1966	344	98	28,5	337	133	39,5	404	187	46,3
1967	314	89	28,3	351	163	46,4	369	146	39,6
1968	303	59	19,5	250	87	34,8	361	147	40,7
1969	340	90	26,5	235	89	37,9	396	154	38,9
1970	318	72	22,9	282	95	33,7	440	174	39,6
1971	271	61	22,5	256	98	38,3	422	171	40,5
1972	278	54	19,4	236	94	39,8	414	174	42,0
1973	332	54	16,3	205	115	56,1	425	173	40,7
1974	348	70	20,1	318	118	37,1	454	191	42,1
1975	337	62	18,4	316	117	37,0	438	172	39,3
1976	295	49	16,6	244	87	35,7	428	160	37,4
1977	327	66	20,1	266	102	38,4	407	171	42,0
1978	341	69	20,2	301	110	36,5	460	182	39,6
1979	348	71	20,4	287	115	40,1	501	199	39,7
1966—1979	4497	965	21,5	3984	1523	38,2	5919	2401	40,6

93% населения области<sup>6</sup>. Индекс этнической мозаичности здесь равен 0,712<sup>7</sup>.

Доля межнациональных браков в Павлодарском Прииртышье была выше, чем в других сельских районах страны, и приближалась к показателям в городах. Так, межнациональные браки составляли в изучаемый период в Баянаульском районе 21,5%, в Ермаковском — 38,2%, в Иртышском районе — 40,6% (см. табл. 1); в то время как (по данным 1970 г.) в сельских районах Молдавской, Киргизской, Казахской и Латвийской республик — 10—17%, а в городах Молдавии, Украины, Белоруссии и Латвии — 25,4—34,1%<sup>8</sup>.

Такая же ситуация характерна в целом и для других районов Северного Казахстана. Например, в Алексеевском и Есильском районах Тургайской области межнациональные браки составляют 26 и 32%<sup>9</sup>, а в районном центре Рузаевка Кокчетавской области — 24,9%<sup>10</sup>. В межнациональных браках находят отражение и этнический состав жителей данной местности, и длительность проживания здесь, и давность этнокультурных контактов<sup>11</sup>.

В Павлодарской области в межнациональные браки вступали в основном русские, казахи, украинцы и немцы. На долю этих четырех этносов приходится в Баянаульском районе 96,1%, в Ермаковском 96,7% и в Иртышском 98,2% всех межнациональных браков, заключенных в области в 1966—1979 гг. В супружеских парах преобладают русские, украинцы, белорусы (шесть сочетаний); такие пары составляют 32,2% в Баянаульском, 41,1 в Ермаковском и 45,1% в Иртышском районах. Значителен процент русско-украинских браков (соответственно 25,6, 32,4, 40,9%). Следующими по распространенности являются браки представителей упомянутых этносов с немцами (в Баянаульском райо-

<sup>6</sup> Общая численность населения Павлодарской области — 807 тыс. чел., в том числе русских — 370 тыс. (45,9%), казахов — 216 тыс. (26,7%), украинцев — 83 тыс. (10,3%), немцев — 81 тыс. (10,1%), см. Вестник статистики, 1980, № 9, с. 68.

<sup>7</sup> Вычислен по: Эккель Б. М. Определение индекса мозаичности национального состава республик, краев и областей СССР. — Сов. этнография, 1976, № 2, с. 38.

<sup>8</sup> См. Дробизева Л. М. Духовная общность народов СССР (Историко-социологический очерк межнациональных отношений). М.: Мысль, 1981, с. 220.

<sup>9</sup> Шатаев Б. Миграция населения и интернациональное воспитание. Алма-Ата: Казахстан, 1977, с. 50.

<sup>10</sup> Современные этнические процессы в СССР. М.: Наука, 1977, с. 475.

<sup>11</sup> Дахилейгер Г. Ф. Формирование многонационального региона и этнокультурные контакты (на материалах КазССР). — В кн.: Проблемы современной тюркологии. Алма-Ата: Наука, 1980, с. 298—299.

## Межнациональные браки в Павлодарской области (национальность мужчин)

национальность женщина	Баянаульский район			Ермаковский район			Иртышский район		
	всего браков	из них межнациональных		всего браков	из них межнациональных		всего браков	из них межнациональных	
		число	%		число	%		число	%
казахи	2607	116	4,4	1263	93	7,3	1665	105	6,3
русские	976	327	33,5	1485	553	37,2	1767	884	50,1
украинцы	257	186	72,3	475	356	74,9	1007	667	66,2
немцы	515	166	32,2	338	179	52,7	1014	477	44,1
татары	54	33	61,1	70	42	60,0	43	28	65,1
евреи	49	43	87,8	99	87	87,9	103	89	86,4

Таблица 3

## Межнациональные браки в Павлодарской области (национальность женщины)

национальность мужчина	Баянаульский район			Ермаковский район			Иртышский район		
	всего браков	из них межнациональных		всего браков	из них межнациональных		всего браков	из них межнациональных	
		число	%		число	%		число	%
казахи	2514	23	0,9	1199	29	2,4	1590	30	1,9
русские	1047	368	36,2	1514	582	38,4	1728	845	48,9
украинцы	258	187	72,4	467	348	74,5	1096	756	68,9
немцы	523	174	33,3	427	267	62,5	1019	452	44,4
татары	79	58	73,4	97	69	71,1	68	53	77,9
евреи	52	46	88,5	81	69	85,2	66	52	78,9

30,8, в Ермаковском — 26,0 и в Иртышском районе — 34,5%). Гораздо реже вступают в межнациональные браки казахи. Браки их с русскими, украинцами и татарами составляют 1,3% в Баянаульском и 1,9% в Ермаковском районах.

Аналогичная этническая структура браков наблюдается и в других сельских районах Северного Казахстана<sup>12</sup>.

В Павлодарской области (табл. 2 и 3) доля межнациональных браков выше у тех народов, которые живут дисперсно в инонациональной среде (например, у белорусов и татар). У народов же, составляющих компактные массивы (казахи) этот показатель гораздо ниже. Наблюдается различная частота межнациональных браков среди русских, казахов, украинцев и немцев. У украинцев она составляет 67,7% в Иртышском, 72,4 в Баянаульском и 74,7 в Ермаковском районах, у русских колеблется от 34,9 и 37,8 в Баянаульском и Ермаковском до 49,5 в Иртышском районах, а у немцев — от 32,8 в Баянаульском до 58,2% в Ермаковском районах. Наименьшая частота межнациональных браков отмечена в этих районах у казахов (от 2,7 до 5,0%).

Среди лиц, заключивших межнациональные браки в изучаемый период, наблюдается значительное преобладание женщин русской, украинской и немецкой национальностей. Браки с казашками составляют всего 0,9% в Баянаульском и 2,4% в Ермаковском районах, что ниже аналогичных показателей у мужчин-казахов. Отмеченная ситуация характерна не только для Северного Казахстана, но и для Средней Азии<sup>13</sup>.

Исследование этнической структуры межнациональных браков показывает, что у всех этносов наиболее распространены браки с русскими

<sup>12</sup> Евстигнеев Ю. А. Межэтнические браки в сельских районах Северного Казахстана. — В кн.: Вопросы истории СССР. М.: Изд-во МГУ, 1972, с. 466—474.

<sup>13</sup> Исмаилов А. И. Некоторые аспекты развития межнациональных браков в СССР. — Изв. АН КиргССР, 1972, № 4, с. 88; Нарынбаев А. И. Опыт социологического исследования межнационального брака. — В кн.: Нация и национальные отношения. М.: Илим, 1966, с. 69, и др.

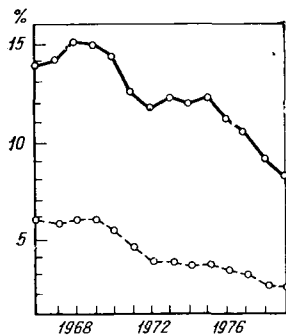


Рис. 1

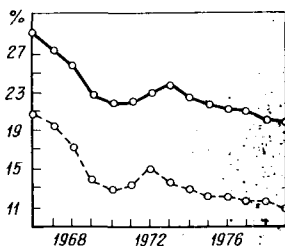


Рис. 2

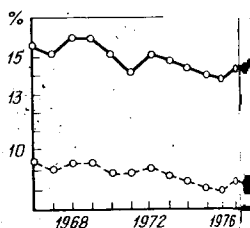


Рис. 3

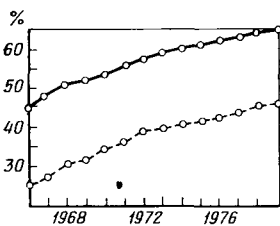


Рис. 4

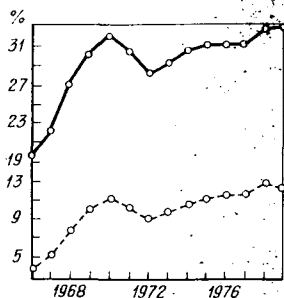


Рис. 5

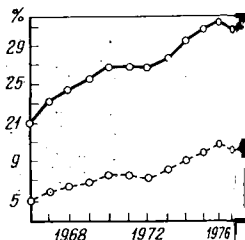


Рис. 6

Рис. 1. Однонациональные русские браки (выравненные данные) в Баянаульском районе. Здесь и в следующих графиках сплошной линией показана фактическая частота, пунктирной — теоретическая вероятность межнациональных браков; по абсциссе даны годы, по оси ординат — проценты

Рис. 2. Однонациональные русские браки в Ермаковском районе

Рис. 3. Однонациональные русские браки в Иртышском районе

Рис. 4. Однонациональные казахские браки в Баянаульском районе

Рис. 5. Однонациональные казахские браки в Ермаковском районе

Рис. 6. Однонациональные казахские браки в Иртышском районе

ми. Например, у украинцев браки с русскими составляют от 66,2% в Баянаульском до 70,0% в Ермаковском районах; у белорусов — соответственно 55,1 и 64,7%. Примерно такое же соотношение наблюдается у немцев. Казахи при вступлении в межнациональные браки отдают предпочтение русским и татарам (в пределах 25,9—33,6%), а татары — казахам и русским (см. табл. 4).

Попытаемся выявить значение различных факторов при создании однонациональной или национально-смешанной семьи, а также национальную предпочтительность при образовании последней. Для этого сопоставим фактическую частоту заключенных браков с их теоретической вероятностью.

Исходные данные показывают, что в однонациональных браках представителей этносов фактическая частота и теоретическая вероятность соотносятся по-разному (см. рис. 1—12). Разрыв между этими показателями больше у казахов и немцев, меньше у русских и украинцев. У казахов (рис. 4—6) характерна тенденция роста однонациональных браков, причем фактическая частота их опережает теоретическую вероятность. Например, если фактическое число таких браков в Баянаульском, Ермаковском и Иртышском районах составляло в 1966 г. соответственно 44,8, 19,7 и 21,2%, а в 1979 г. 62,3, 32,5 и 32,3%, то теоретическая вероятность равнялась в 1966 г. всего 20,3, 3,9 и 5,1%; в 1979 г. — 40,9, 12,3 и 11,6%. У русских (рис. 1—3) фактическая частота браков в 1966 г. была 13,9, 29,1 и 15,6%, в 1979 г. — 8,3, 20,1 и 14,8%.

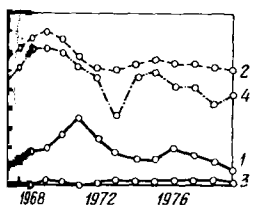


Рис. 7

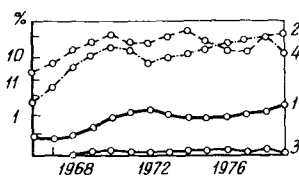


Рис. 8

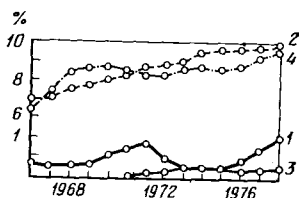


Рис. 9

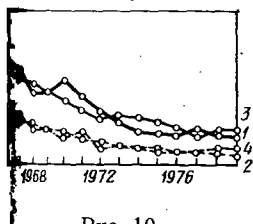


Рис. 10

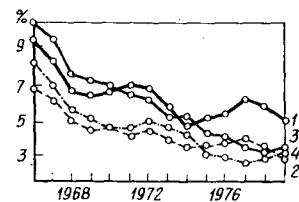


Рис. 11

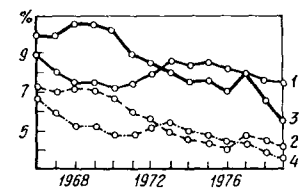


Рис. 12

- рис. 7. Казахско-русские и русско-казахские браки в Баянаульском районе (1, 2 — муж казах, жена русская; 3, 4 — муж русский, жена казашка)
- рис. 8. Казахско-русские и русско-казахские браки в Ермаковском районе (1, 2 — муж казах, жена русская; 3, 4 — муж русский, жена казашка)
- рис. 9. Казахско-русские и русско-казахские браки в Иртышском районе (1, 2 — муж казах, жена русская; 3, 4 — муж русский, жена казашка)
- рис. 10. Русско-украинские и украинско-русские браки в Баянаульском районе (1, 2 — муж русский, жена украинка; 3, 4 — муж украинец, жена русская)
- рис. 11. Русско-украинские и украинско-русские браки в Ермаковском районе (1, 2 — муж русский, жена украинка; 3, 4 — муж украинец, жена русская)
- рис. 12. Русско-украинские и украинско-русские браки в Иртышском районе (1, 2 — муж русский, жена украинка; 3, 4 — муж украинец, жена русская)

теоретическая вероятность в 1966 г.—5,9, 21,7 и 9,5% и в 1979 г.—2,5, 11 и 8,4%. Здесь прослеживается уменьшение доли однонациональных браков. То же можно сказать о браках украинцев и белорусов. Тем не менее по стране в целом процент однонациональных браков все еще выше в сельских районах, чем в городах<sup>14</sup>.

Фактическая частота и теоретическая вероятность браков между представителями восточнославянских народов и казахами различны. Для казахов характерно несоответствие (во всех рассматриваемых сочетаниях) этих показателей, в частности теоретическая вероятность всегда превышает фактическую частоту. Так, анализ казахско-русских браков в обоих вариантах: муж — казах, жена — русская и муж — русский, жена — казашка) показывает (рис. 7—9), что во всех трех районах теоретическая вероятность превышает (от 6,3 до 11,2%) фактическую частоту. Несколько ниже показатель теоретической вероятности в казахско-украинских браках (от 2,0 до 5,2%). В браках казахов с другими народами (особенно с татарами и башкирами) разрыв между теоретической вероятностью и фактической частотой менее заметен. У казахов еще сильны традиционные представления о предпочтительности брачного партнера из среды родственных народов, хотя эти представления постепенно стираются.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> См. Тер-Саркисянц А. Е. О национальном аспекте браков в Армянской ССР (по материалам загов).— Сов. этнография, 1973, № 4, с. 92—93; Наулко В. И. Развитие этнических связей на Украине. Киев: Наукова думка, 1975, с. 150—151; Харченко А. Г., Мацковский М. С. Указ. раб., с. 71—72, и др.

<sup>15</sup> Кауанова Х. А. Современные этнокультурные процессы среди горняков и металлургов Казахстана.— В кн.: Актуальные проблемы истории Советского Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1980, с. 318.

Таблица 4

## Этническая структура межнациональных браков (%)

Национальность и пол	Баянаульский район						Ермаковский район						Иртышский район					
	казахи	русские	украинцы	немцы	татары	белорусы	казахи	русские	украинцы	немцы	татары	белорусы	казахи	русские	украинцы	немцы	татары	белорусы
Казахи	—	30,9	13,7	10,8	25,9	2,9	—	33,6	9,0	11,5	27,0	0,8	—	28,2	14,8	10,4	31,9	3,7
мужчины	—	33,6	11,2	6,9	2,76	2,5	—	38,7	7,5	9,7	28,0	1,1	—	27,6	16,2	12,4	33,3	0,9
женщины	—	17,4	26,1	30,4	17,4	4,3	—	17,2	13,8	17,2	24,1	—	—	30,0	10,0	3,3	26,7	13,3
Русские	6,2	—	35,5	34,4	4,3	7,1	3,6	—	43,4	25,8	3,4	8,9	2,2	—	56,8	27,9	1,0	2,5
мужчины	1,2	—	37,6	36,4	4,6	7,7	0,9	—	45,8	29,3	3,1	7,6	1,0	—	58,9	26,0	1,0	2,5
женщины	10,6	—	33,7	32,6	4,1	6,5	6,2	—	41,2	22,5	3,6	10,1	3,4	—	54,6	29,8	1,1	4,0
Украинцы	5,1	66,2	—	12,9	2,7	4,0	1,6	70,0	—	11,7	2,3	4,6	1,4	69,0	—	20,5	0,6	3,1
мужчины	3,2	66,7	—	12,9	2,2	3,8	1,1	67,4	—	15,5	3,1	5,3	0,5	69,1	—	22,0	0,7	2,3
женщины	6,9	65,8	—	12,8	3,2	4,3	2,0	72,7	—	7,8	1,4	3,7	2,3	68,9	—	19,2	0,4	3,8
Немцы	4,4	70,3	14,1	—	1,1	2,9	3,2	65,8	18,4	—	1,1	3,4	1,6	53,6	32,5	—	0,7	2,9
мужчины	4,2	72,3	14,5	—	1,2	2,4	2,8	73,6	15,2	—	1,1	2,2	0,2	56,4	32,4	—	0,2	2,2
женщины	4,6	68,4	13,8	—	0,6	3,4	3,4	60,7	20,6	—	1,1	4,1	2,9	50,9	32,5	—	1,1	3,5
Татары	39,6	33,0	11,0	4,4	—	4,4	2,7	34,2	14,4	4,6	—	1,8	53,1	22,2	9,9	7,4	—	2,5
мужчины	12,1	45,5	18,2	3,0	—	6,1	16,7	50,0	11,9	7,1	—	2,4	28,6	32,1	10,7	17,9	—	3,6
женщины	55,2	25,9	6,9	5,2	—	3,4	37,7	24,6	15,9	2,9	—	1,4	66,0	17,0	9,4	1,9	—	1,9
Белорусы	4,0	55,1	16,9	11,2	4,5	—	0,6	64,7	20,5	9,6	1,2	—	3,5	39,8	31,2	18,4	1,4	—
мужчины	2,3	55,8	18,6	13,9	4,7	—	—	67,8	14,9	12,6	1,1	—	4,5	38,2	32,6	18,0	1,1	—
женщины	6,5	54,3	15,2	8,7	4,3	—	1,4	60,9	27,5	5,8	1,4	—	1,9	42,3	28,8	19,2	1,9	—

В браках русских с другими этносами обнаруживается совпадение рассматриваемых показателей, даже некоторое превышение фактической частоты заключенных браков над теоретической вероятностью. Совпадение отчетливо прослеживается в русско-немецких браках (в обоих вариантах). Это же относится к бракам русских с этносами, живущими персперсно в изучаемом регионе. В русско-украинских браках (также в обоих вариантах, рис. 10—12) фактическая частота на протяжении изучаемого периода неизменно превышала теоретическую вероятность от 1 до 3,5%. Исходя из сопоставляемых данных, можно определенно сказать, что в межэтнических браках русских национальная принадлежность не имеет особого значения<sup>16</sup>.

В Павлодарском Прииртышье, как свидетельствуют приведенные материалы, межнациональные браки получили широкое распространение. В зависимости от этнического состава населения в каждом из обследованных районов преобладают те вариации межнациональных связей, которые включают представителей основной национальности района. Часты браки между русскими, украинцами и белорусами — родами, близкими по языку и культурно-бытовым укладам, причем в значительной части таких браков один из супругов — русский. Этнотурная близость сказывается и в браках казахов с татарами, башкирами и др. В настоящее время наблюдается тенденция увеличения числа браков между казахами и русскими; процент таких браков уже достиг 30,9% в Баянаульском и 33,6% в Ермаковском районах. Очевидно, в этом и аналогичных процессах немалую роль наряду с миграцией и урбанизацией сельского населения играет межэтническая интеграция, способствующая сложению общесоветской культуры, широкому распространению русского языка как языка межнационального общения, умиротворению единого общесоветского самосознания<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> То же наблюдается и в других регионах страны (см. Современные этнические процессы в СССР, с. 469).

<sup>17</sup> Бромлей Ю. В. Ленинизм и национальные процессы в современном мире. — кн.: Актуальные проблемы развития наций и национальных отношений. М.: Наука, 1981, с. 21; *его же*. Современные проблемы этнографии. М.: Наука, 1981, с. 323.

**Г. А. Гайсин**

## **ГАРМОНИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ БЫТУ КАЗАХОВ (XIX — начало XX в.)**

Разнообразные этнокультурные связи казахов с русскими, усилившиеся особенно в XIX в., во многом способствовали появлению в казахском быту нетрадиционных форм культуры. Так, например, к середине XIX в. в среде казахов широко распространилась гармоника. Об этом, в частности, рассказывает в своих записках Я. П. Жарков, саратовский купец, не раз бывавший в Казахстане по торговым делам. «Нынче развеись еще везде у азиатцев наши деревенские гармоники, что сотнями тысяч изготавливаются под Тулой; есть еще органчики в ящичках: всем этим потешаются не только малые ребята да девки и бабы, а даже взрослые, даже первейшие министры, даже сам хан»<sup>1</sup>. Далее он описывает интересный случай, происшедший с ним во время поездки: «Между тем для разнообразия удовольствий явились музыкантши. В дверях китетки показалось несколько простых киргизских (казахских.— Г. Г.)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Записки саратовского купца Я. П. Жаркова о киргизах.— Библиотека для чтения. Спб., 1854, т. 126, с. 231.

<sup>2</sup> До 1925 г. в литературе и документах казахи ошибочно именовались киргиз-кай-ками или просто киргизами.

девушек и стали играть кто на балалайке (видимо, домбра.— Г. Г.), кто на варганчике (т. е. шанкобызе.— Г. Г.), кто на деревянной гармонике»<sup>3</sup>. Описанный Жарковым случай относится к Внутренней (Букеевской) орде, где торговые связи казахов с Россией были очень тесны. Русские купцы привозили сюда железо, медь, латунь, сукно, различные ткани, сахар, чай, бумагу, краски, сабли, ружья, меха и даже музыкальные инструменты.

М. Иванин, например, в 1864 г. писал, что гармоники, называемые местным населением *гармон, сырнай*, раскупаются во множестве и очень любимы<sup>4</sup>. Популярными становились и новые мелодии. Так, в гармониках казахи часто исполняли напев песни «Ванька Таньку побил».

Ярмарки, как правило, становились не только местом купли-продажи, но и собирали музыкантов и певцов разных национальностей, выступления которых порой носили характер творческого соревнования в мастерстве игры на музыкальных инструментах, в пении, в искусстве импровизации. Исполнители нередко перенимали друг у друга понравившиеся мелодии.

Процесс распространения гармоники в XIX в. захватил и Среднюю Азию<sup>5</sup>. Известный русский путешественник и ученый П. И. Небольсин побывавший в середине XIX в. в Хиве, так описывает впечатления местных жителей от игры на этом инструменте: «Хивинцы — большие охотники до музыки, сам хан приглашает к себе тех же русских приказчиков, которые умеют наигрывать на раздвижной гармонике разные плясовые песни, и его хивинское высокостепенство каждый раз приходит в восторг от необыкновенного искусства музыкантов, умеющих извлекать из небольшой и простой игрушки такие волшебные звуки, что даже египетские плечи приходят в судорожное движение»<sup>6</sup>.

В значительной мере распространению гармоники в Казахстане способствовало начавшееся в 1860-х годах переселение крестьян из центральных губерний России. С 1870 по 1916 г. на земли Уральской, Тобольской, Акмолинской, Кокчетавской, Семипалатинской и других областей прибыло около 2 млн. крестьян. Среди привезенных ими различных предметов быта и культуры имелись и музыкальные инструменты.

Немаловажное значение для широкого распространения гармоники в быту казахского народа имело также сходство этого инструмента по звучанию с традиционным духовым музыкальным инструментом сынаем. Данный момент, а также довольно широкие художественные и технические возможности гармоники, позволявшей извлекать богатый звукоцвет, одновременно исполнять мелодию и аккомпанемент, способствовали тому, что она стала одним из самых распространенных и популярных музыкальных инструментов в дореволюционном Казахстане. На гармонике играли во время общественных праздников, на вечеринках, во время гуляний молодежи; принимая гостей, хозяева старались развлечь их игрой на гармонике.

Часто использовалась гармоника и в творчестве профессиональных народных музыкантов. Во второй половине XIX в. гармоника наряду с домброй и кобызом стала непременной «участницей» состязаний акынов. Любимый инструмент помогал акыну в поэтической импровизации. На вопрос, при каких обстоятельствах акын может быстро и удачно импровизировать, известный акын-гармонист Нартай Бегежанов, например, ответил: «Когда я беру перо и бумагу, у меня ничего не получается. Когда же я беру в руки гармонь и начинаю отвечать на вопросы своих противников (имеется в виду айтыс), я пою быстро».

<sup>3</sup> Записки..., с. 245—246.

<sup>4</sup> Иванин М. Внутренняя, или Букеевская, киргизская орда.— Эпоха, 1864, № 1, с. 35.

<sup>5</sup> Вызго Т. С. Музыкальные инструменты Средней Азии. М., 1980, с. 154—155.

<sup>6</sup> Небольсин П. И. Очерки торговли России со странами Средней Азии.— В кн. Зап. Русского географического об-ва. Т. 10. Спб., 1887.

«родшо»<sup>1</sup>. Популярность гармоники среди казахов была настолько велика, что наблюдался даже некоторый спад интереса к традиционным музыкальным инструментам — *сырнаю, сыбызге, кобызу*.

Широко распространена была гармоника до революции в рабочей среде. Так, на Успенском руднике, Спасском заводе, Нобелевских нефтяных промыслах на Эмбе, в Караганде и других промышленных центрах наряду с русскими работали казахи — недавние выходцы из сел, у которых еще во многом сохранялись традиции сельского быта. В семьях казахских рабочих обязательно имелись национальные музыкальные инструменты, а также гармоника. В начале XX в. в среде казахских рабочих появились новые формы музицирования, принятые наряду с традиционными. Вместе с русскими казахи, например, пели под гармонику революционные песни «Смело товарищи в ногу», «Варшавянка» и др. Проникновение гармоники в казахский быт XIX — начала XX в. — один из многих примеров взаимодействия двух народных культур — казахской и русской. Исполнительство на этом музыкальном инструменте прочно вошло в музыкальный быт казахского народа, приобрело национальный колорит и своеобразие.

<sup>1</sup> Исмаилов Е. Акыны. Алма-Ата, 1957, с. 33.

Л. А. Файнберг

## СУДЬБЫ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ БРАЗИЛИИ

«Геноцид — сначала огнем и мечом, а потом мышьяком и пулями; цивилизация привела к исчезновению шести миллионов индейцев» — так озаглавил свою статью в газете «Санди Таймс» известный английский журналист Норман Льюис, посетивший в 1969 г. Бразилию, чтобы ознакомиться с положением коренного населения этой страны<sup>1</sup>.

Будущее индейцев — это острейшая проблема для Бразилии, одной из стран Латинской Америки, в которой начиная с появления на ее территории европейцев в XVI в. и до сравнительно недавнего времени совершалось уничтожение аборигенного населения. Менялись лишь способы геноцида, но не практика его. Как справедливо заметила одна современная бразильская индеанистка: «В настоящее время, как и в прошлом, мы можем определенно сказать, что развитие (в тексте речь идет о развитии капиталистической экономики в Бразилии. — Л. Ф.) губит индейцев»<sup>2</sup>.

В 1500 г. в Бразилии было, по разным оценкам, от 2—2,5 млн. до 6 млн. индейцев. Теперь их осталось в лучшем случае не более 80 тыс., а по подсчетам некоторых исследователей, намного меньше, порядка 70—100 тыс. человек<sup>3</sup>. В колониальную эпоху тремя главными инструментами геноцида были так называемые «справедливые» войны португальцев против индейцев, порабощение, быстро приводившее к

<sup>1</sup> Lewis N. Genocide — From Fire and Sword to Arsenic and Bullets, Civilization Has Killed Six Million Indians to Extinction. — Sunday Times, 23, 11.1969, Davis Sh. Victims of the Miracle. Cambridge, 1977, p. 11—12.

<sup>2</sup> Ramos A. Development, Integration and the Ethnic Integrity of Brazilian Indians. — In: Land, People and Planning in Contemporary Amazonia. Cambridge, 1980, p. 23.

<sup>3</sup> Mayer E., Masferrer E. La población indígena de América en 1978. — América Indígena, 1979, № 2, p. 221; Ramos A. Op. cit., p. 222; Demographic Summary: Lowland Indians of South America. — In: The Situation of the Indian in South America. Geneva (World Council of Churches), 1972, p. 385; Moser R. Zur heutigen Lage der Indianer in brasilianisch Amazonien. — Bulletin des Société Suisse des Américanistes 1979, № 43, p. 17—20; Noticiero indigenista. — América Indígena, 1977, № 2, p. 530.



смерти, и распространение среди аборигенов ранее неизвестных эпидемических заболеваний, против которых они не имели иммунитета. Так, в 1729 г. только одна военная экспедиция Бельхиора Мендеса де Мораиса истребила почти 21 тыс. индейцев манаус, живших на Риу-Бранку, о чем Мораис с удовлетворением сообщил в письме губернатору капитани Сан-Хосе-до-Риу-Негру Жоао да Майя да Гам. После такого удара этот дотоле многочисленный и могущественный индейский народ доколумбовой Америки не смог оправиться и вскоре перестал существовать, и память о нем сохранилась лишь в названии города Манаус, второго по величине бразильского города на р. Амазонке<sup>4</sup>. А таких карательных экспедиций, отправлявшихся в разные части страны и уничтожавших множество индейцев, были сотни.

Еще больший урон, чем непосредственное истребление, нанесло порабощенному населению Бразилии его порабощение, практиковавшееся исключительно широких масштабах. Двигаясь из центра португальской колонизации г. Сан-Паулу, бандейры (экспедиции охотников за рабами) достигали западных границ Бразилии. По подсчетам известного историка А. Эллиса-младшего, бандейры паулистов (выходцев из Сан-Паулу) только в XVI—XVII вв. захватили около 350 тыс. индейцев, 80% которых были вывезены на восток страны для работы на сахарных плантациях. Лишь на плантаторов Байи работали в середине XVI в. 40 тыс. индейцев-рабов<sup>5</sup>.

Еще в больших масштабах, чем в других частях страны, порабощались индейцы в Амазонии. На востоке Бразилии основной рабочей силой вскоре стали привезенные из Африки негры-рабы, заменившие в этом качестве индейцев. В Амазонии негров-рабов было очень мало. Колонисты не хотели тратить деньги на их покупку, поскольку побольше жили индейцы, и фактически все хозяйство португальцев в этой области было основано на подневольном труде коренного населения. Некоторые колонисты в Амазонии владели более чем тысячей рабов. Сначала были порабощены племена устья Амазонки. К середине XVIII в. обезлюдели и многие крупные притоки этой реки, например Риу-Негру. Живших там ранее индейцев, из числа оставшихся в живых, обратили в рабство и вывезли для работы на плантациях какао и кофе на берегах Амазонки, на сахарных плантациях Восточной Бразилии.

Жизнь индейцев-рабов была коротка. Они умирали от непосильного труда, недоедания, плохого обращения и не в последнюю очередь потому, что не могли приспособиться к резкой смене образа и условий жизни. Кстати сказать, в порабощении индейцев, особенно в начальном период колонизации, активно участвовали и миссионеры, в частности капуцины, убеждавшие целые племена сниматься с насиженных мест и переселяться ближе к центрам португальской колонизации.

Коренные жители массами умирали от принесенных европейцами в Америку эпидемических болезней. Эпидемиям неизбежно сопутствовал голод, так как оставшиеся в живых ослабленные и деморализованные индейцы не могли вовремя возделывать огороды с маниоком и маниоку, основными местными продовольственными культурами, охотиться и ловить рыбу. По свидетельству авторов XVI в., некоторые индейские племена понимали, что болезни вызваны приходом европейцев, следовательно, особенно миссионеры, хотя и осознали истинную причину массовых заболеваний аборигенов, но уверяли их, что болезни — это кара за грехи, за веру в ложных богов. В 1562 и 1563 гг. в районе Байи были две эпидемии. Одна из них унесла жизни около трети местных индейцев, вторая погубила до трех пятых людей, переживших первую эпидемию. Примерно в те же годы от острых респираторных заболеваний умерло огромное число индейцев районов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

<sup>4</sup> Hemming J. Red Gold. The Conquest of the Brazilian Indians. L., 1978, p. 4. A ultima chance dos ultimos guerreiros.—Realidade, 1971, № 67, p. 206—207.

<sup>5</sup> Ellis junior A. Panoramas Historicas. São Paulo, 1946, p. 19—21; Hemming J. Op. cit., p. 143.

<sup>6</sup> Hemming J. Op. cit., p. 217—222, 409—427, 443 a. o.

В 1621 г. в низовьях Амазонки свирепствовала эпидемия оспы, приведшая к массовой гибели индейцев ряда племен. К 1651 г. она захватила племена, обитавшие в верховьях этой реки. Такие же эпидемии часто вспыхивали и в дальнейшем. Так, только с 1743 по 1749 г. 40 тыс. индейцев Амазонки умерли от эпидемии оспы<sup>7</sup>. Правда, для этого периода нет данных, что их заражали преднамеренно, как это делалось в XIX—XX вв., но и никаких попыток оградить их от контакта с носителями инфекции также не предпринималось.

К концу XVII в. перестала существовать большая часть племен туиннамба, еще незадолго до этого населявших все Атлантическое побережье Бразилии от устья Амазонки на севере до Кананеа на юге. К концу XVIII в. их участь разделили омагуа, тапажос и другие крупные индейские племена, обитавшие в среднем и верхнем течении р. Амазонки.

Численность коренного населения еще в первые века после появления в Америке европейских завоевателей уменьшалась не только в Бразилии. Так, от многочисленных индейцев островов Карибского моря к концу XVI в. осталась лишь горстка людей, живших маленькими разрозненными группами. Индейское население центральной Мексики, которое к началу колонизации достигало, видимо, 11 млн. человек, сократилось к 1565 г. до 4 400 тыс., а к 1700 г. — до 2 млн. человек. Коренное население Перу, как предполагают, только между 1531 и 1561 гг. уменьшилось как минимум наполовину<sup>8</sup>.

То же в несколько больших или несколько меньших масштабах происходило и в других странах Америки. И повсюду причины массовой гибели аборигенов были в своей основе теми же, о которых мы говорили применительно к Бразилии.

В XIX в. истребление индейцев Бразилии продолжалось. Особенно интенсивно оно шло на юге и юго-востоке страны в зоне массовой европейской колонизации сертанов (внутренних областей) на землях современных штатов Минас-Жерайс, Эспириту-Санту, Парана, Санта-Катарина, Сан-Паулу. Здесь жило большое число племен охотников и собирателей, объединяемых в научной литературе под общим названием ботокуды из-за присущего им обычая вставлять в отверстие в губе деревянную втулку — ботоке.

С 1808 г., т. е. после переезда в Бразилию португальского королевского двора, бежавшего из метрополии от наполеоновских войск, принц-регент Жоао всячески стимулирует колонизацию внутренних районов юга и юго-востока страны. Намечаются и начинают осуществляться различные меры, направленные на истребление индейцев на землях, предоставленных европейским колонистам. С 1808 г. принц-регент Жоао объявляет открытую войну ботокудам. Индихенистская или точнее антииндихенистская политика Жоао была сформулирована в королевских рескриптах от 13 мая и 2 декабря 1808 г. В них утверждалось, что «мягкие методы» обращения с индейцами не дают результатов и необходимо начать против них наступательную войну. Для этого предлагалось создать специальные военные отряды и платить солдатам и офицерам жалованье в соответствии с числом уничтоженных ими индейцев. Тем, кто убил и взял в плен большее число индейцев, давали премии<sup>9</sup>.

Законодательство принца-регента Жоао обладало только одним достоинством — оно было открыто антииндейским, в то время как в более ранних и в более поздних индихенистских законодательствах Бразилии и других латиноамериканских стран истинные цели прикры-

<sup>7</sup> Marchant A. From Barter to Slavery: The Economic Relations of Portuguese and Indians in the Settlement of Brazil. Baltimore, 1942. p. 116—117 (цит. по Wagley Ch. Welcome of Tears. N. Y., 1977; p. 273); Hemming J. Op. cit., p. 140—145; Sodre N. Formação histórica de Brasil. São Paulo, 1963, p. 129, 131.

<sup>8</sup> Cook Sh. and Simpson L. The Population of Central Mexico in the Sixteenth Century. Berkeley, 1948, p. 38; Kubler G. The Quechua in the Colonial World.— In: Handbook of South American Indians. V. 2. N. Y., 1963, p. 334—338.

<sup>9</sup> Цит. по: Marcata S. de Almeida. A Repressão contra os botocudos em Minas Gerais.— Boletim do Museu do Índio (Rio de Janeiro), 1979, № 1, p. 8—11.

вались провозглашением защиты аборигенов во имя принципов гуманности и христианства.

В 1822 г. Бразилия стала независимой империей, и вскоре, в 1831 г., были отменены законодательные установления Жоао. Однако войны, направленные на уничтожение ботокудов и других индейских народов юга и юго-востока страны, не прекратились. Совсем напротив, способы их ведения стали еще более бесчеловечными и изощренными. Только они велись уже не специальными военными формированиями, а самими колонистами при покровительстве властей. На протяжении XIX в. индейцы истреблялись следующими способами: организация особы экспедиций для поголовного уничтожения жителей целых селений, использование собак, обученных охоте на индейцев (их кормили исключительно мясом убитых аборигенов), преднамеренное заражение индейских общин, смертельными для индейцев болезнями — оспой, корью и т. п. Так, вблизи индейских селений разбрасывалась одежда с пылью оспы.

К концу XIX в. уничтожение аборигенов в Минас-Жераис, Эспириту-Санту и соседних провинциях стало проводиться еще интенсивнее в связи с усилением притока новых европейских колонистов. Для некоторых европейцев и метисов охота на индейцев стала профессией (так называемые бугрейро)<sup>10</sup>.

Тем не менее, несмотря на длительное систематическое истребление, в 1887 г. только в долинах двух рек — Досе и Мукури — в Минас-Жераис насчитывалось около 5 тыс. ботокудов<sup>11</sup>. Общее число их было значительно большим. Не вызывает сомнения, что на рубеже XVIII и XIX вв. перед началом массового истребления ботокудов их численность могла достигать десятков, если не сотен тысяч человек. Истребление ботокудов продолжалось и позднее. К 1977 г. от некогда многочисленного племени ботокудов-кренак сохранилось лишь 30 человек<sup>12</sup>. Многие другие племена этой когда-то большой и широко расселенной этнокультурной общности (накнанук, крекмун, бакуен) ушли в небытие.

Было бы неверно думать, что в XIX в. планомерно уничтожались только ботокуды и вообще индейцы интенсивно колонизовавшего в то время юга и юго-востока Бразилии. Уже упоминавшийся выше Жоао еще в 1798 г., т. е. до своего переезда в Бразилию, отдает распоряжение о «справедливой войне» против каража р. Арагуаи и тимбира Мараньяна, обитателей бразильского севера<sup>13</sup>.

В то же время значительное число индейцев бразильского севера живших на мелких несудоходных реках Амазонской системы или на крупных реках, но выше порогов и водопадов, препятствовавших судному ходу, почти до конца XIX в. было практически недосыгаемо для колонизаторов, как и индейское население амазонских областей соседних с Бразилией государств — Колумбии, Перу, Боливии. Здесь, почти неизвестные европейцам, жили многочисленные индейские племена. Начало их порабощения и уничтожения совпало с так называемым каучуковым бумом, наступившим после открытия примерно в середине XIX в. способа вулканизации каучука. В связи с этим возможности его применения в промышленности и на транспорте резко расширились. Европе и Северной Америке стал стремительно расти спрос на это природное сырье.

В последние десятилетия XIX в. в амазонскую сельву, где произрастают каучуконосные деревья, устремились в надежде на быстрое обогащение предприимчивые дельцы и авантюристы из разных стран Америки и даже из Европы. Потребность в рабочих — сборщиках каучука

<sup>10</sup> *Marcata S. de Almeida*. Op. cit., p. 16—20.

<sup>11</sup> *Ehrenreich P.* Ober die Botokudens der brasilianischen Provinzen Espiritu Santo und Minas Geraes.— In: *Zeitschrift für Ethnologie*, B., 1887, B. 19, S. 8—11; *Handbook of South American Indians*, v. I, 1963, p. 532.

<sup>12</sup> *Marcata S. de Almeida*. Op. cit., p. 35.

<sup>13</sup> *Moreira Neto C.* Some Data Concerning the Recent History of the Kaingang Indians.— In: *The Situation of the Indian in South America*, p. 288.



Надо признать, что с окончанием каучукового бума, т. е. примерно с 1912—1914 гг. и до середины 1950-х годов, в период, характеризовавшийся экономическим застоём и запустением внутренних областей бразильского севера и запада, численность коренного населения сократилась главным образом не в результате физического истребления, а из-за болезней, занесенных бразильцами, нарушения, в частности под влиянием миссионеров, хорошо приспособленных к экологическим условиям традиций и т. д.

Очередной этап истребления бразильских индейцев с применением различных видов современного оружия начался с конца 1950-х годов. Как и в прошлом, это было связано с усилением внутренней колонизации неосвоенных или мало освоенных до того бразильским и международным капиталом областей, главным образом в бассейне р. Амазонки. Эта капиталистическая экспансия в бразильской печати нередко называлась маршем на север. Колонизаторы стремились очистить земли от их исконных владельцев — индейцев для создания крупных частных скотоводческих хозяйств или предприятий горнорудной промышленности.

В 1957—1963 гг., когда крупные скотоводы захватывали земли племени Мату-Гросу, живших там индейцев преднамеренно заражали оспой, гриппом, туберкулезом и другими смертельными для коренного населения болезнями<sup>18</sup>. В 1963 г. для планомерного уничтожения индейского племени синтас ларгас фирма «Арруда и Юнкейра» из Куябы, которой их исконные земли были нужны для добычи здесь полезных ископаемых и сбора каучука, наняла банду головорезов. Жители селения в р. Камаре, включая маленьких детей, были расстреляны из пулеметов. На жителей другого селения и окрестных стойбищ, собравшихся на племенное празднество, сбросили динамитные шашки. Предварительно, чтобы собрать возможно большее число людей в местах бомбежки, туда были сброшены куски сахара. Бандитам платили сдельно по 50 конто за голову убитого индейца.

Индейцам бейсо де пау один предприниматель роздал сахар, отравленный мышьяком<sup>19</sup>. Множество таких преступлений совершалось в год в год. В них активно участвовала Служба защиты индейцев, созданная еще в 1910 г. для охраны прав и интересов коренного населения. За полвека своего существования, особенно в 1960-е гг., когда руководство этой организацией перешло в руки военных, она окончательно коррумпировалась и превратилась в послушное орудие в руках различного рода колонизационных обществ и просто спекулянтов землей.

В 1967 г. Министр внутренних дел Бразилии генерал Альбукеке Лима поручил Ж. Фигейреду расследовать сообщения о злоупотреблениях против индейцев. В 1968 г. последний провел прессконференцию, на которой ознакомил журналистов с результатами деятельности возглавлявшейся им комиссии. Обнаружились факты широкого распространения коррупции и садизма среди работников Службы защиты индейцев — от истребления целых племен с помощью динамита, пулеметов, отравленного сахара до превращения 11-летней девочки в рабыню офицером названной службы. Официальный отчет комиссии Ж. Фигейреду, распространенный как документ Конгресса Бразилии в 1971 г., содержит 20 томов и, по одним сообщениям печати, 5 тыс. страниц, а по другим — даже 7 тыс. страниц. Между тем один из участников расследования свидетельствует, что в отчете вскрывается лишь 30% прест

<sup>18</sup> Davis Sh. Op. cit., p. 11.

<sup>19</sup> A ultima chance dos ultimos guerreiros, p. 212; Massacre no Paralelo O Globo (Rio de Janeiro), 14, II, 1969; Lewis N. Sie werden alle ausgerottet. Der Senmord an den brasilianischen Indianern.— Der Spiegel, 1969, № 45, S. 46; Davis Sh. Op. cit., p. 79.

ний, совершенных в 50-е — 60-е годы против индейцев, в том числе и самими тогдашними руководителями Службы защиты индейцев М. Рибейро Коэльо и Л. Виньясом<sup>20</sup>.

Эти разоблачения имели широкий резонанс в бразильской и мировой печати и вызвали всеобщее возмущение. Служба защиты индейцев была расформирована. Несколько сот ее бывших служащих были переданы суду, но, насколько известно, никто из них не понес заслуженного наказания. При Министерстве внутренних дел была создана новая организация — Национальный индейский фонд, и первые заявления ее руководителя профессора Кампос внушали надежду, что эта организация будет на деле выступать за сохранение коренного населения страны. Но вскоре после смерти в 1969 г. президента Бразилии Артура Коста и Силва новый Министр внутренних дел Хосе Коста Кавальканти и генерал Бандейра де Мелло, ставший руководителем Национального индейского фонда (ФУНАИ) заявили, что будут относиться к индейской проблеме с осторожностью, но в то же время не допустят, чтобы индейцы стали препятствием на пути прогресса страны<sup>21</sup>.

С конца 60-х — начала 70-х годов Бразилия предпринимает широкую программу экономического освоения Амазонии, начавшуюся со строительства дорог. Эта программа затронула почти все индейские группы Амазонии. В результате разрушения среды обитания индейцев, недоедания, эпидемий и прямого истребления численность их в этом регионе быстро сокращалась. Так, племя креен-акароре, на территории которого строилась дорога Куяба — Сантарен, менее чем за 20 месяцев уменьшилось с 400 до 79 человек. Паракана были «умиротворены» во время постройки Трансамазонской магистрали, что означало смерть 45% индейцев этой группы за 12 месяцев. У яноама в первый год постройки Периметраль Норте, дороги вдоль северных границ Бразилии, четыре селения потеряли 22% своих жителей. В 1978 г. 50% жителей еще четырех селений умерли от эпидемии кори. А старатели, добывавшие в 1975—1976 гг. оловянную руду на землях яноама, заразили многих индейцев венерическими болезнями и туберкулезом<sup>22</sup>.

Агробизнес, интенсивно развивавшийся в Амазонии в 1970-х годах, также унес много жизней индейцев, главным образом в результате захвата промысловых и сельскохозяйственных угодий индейских общин и лишения их средств к существованию. Голод ослаблял и без того низкую сопротивляемость индейцев заразным болезням, спутникам колонизации, медицинская же помощь со стороны государства отсутствовала или была совершенно недостаточной. В результате, например, численность намбиквара долины р. Гуапоре приблизительно за 10 лет, с конца 60-х до конца 70-х годов, сократилась по меньшей мере на две трети. С захваченных крупными скотоводами земель индейцы насильственно вывозились в места, малопригодные для земледелия, охоты, рыболовства. Практиковалось также перемещение индейцев на земли других и даже враждебных им племен, что создавало сложные психологические и, конечно, не только психологические проблемы; у многих пропадало желание жить и иметь детей<sup>23</sup>.

Не случайно в 1974 г. группа бразильских индеанистов, пожелавшая ввиду тогдашней политической обстановки в стране не объявлять в печати свои имена, представила XLI Международному конгрессу американистов документ, озаглавленный «Политика геноцида против индейцев Бразилии»<sup>24</sup>. В 70-х годах бразильские этнографы, социологи и историки опубликовали в бразильской и мировой печати еще несколь-

<sup>20</sup> Davis Sh. Op. cit., p. 10—11; Wagley Ch. Op. cit., p. 289—290; A ultima chance dos ultimos guerreiros, p. 207.

<sup>21</sup> A nova política vem pela BR-80.— Visão (São Paulo), 26, IV, 1971, p. 26.

<sup>22</sup> Ramos A. Op. cit., p. 222—223.

<sup>23</sup> Ramos A. Op. cit., p. 223; Davis Sh. Op. cit., p. 118—119, 160.

<sup>24</sup> Цит. по Davis Sh. Op. cit., p. 177; Wagley Ch. Op. cit., p. 291—292.

ко заявлений по поводу угрозы, нависшей над индейцами в ходе осуществления планов экономического развития Амазонии.

Несмотря на все эти протесты, и в конце 1970-х годов против аборигенов Бразилии и среды их обитания — тропической экосистемы — продолжала вестись, по выражению Шелтона Дэвиса, «молчаливая война». По мнению Ш. Дэвиса ошибочно думать, хотя так иногда и выказываются отдельные журналисты, что искоренение бразильских индейцев — это горькая, но неизбежная плата за быстрый экономический рост Бразилии, будто бы выгодный для широких народных масс. И в самом деле «молчаливая война» против индейцев не необходимость, следствие специфической модели экономического развития, во многом разработанной международными банками и многонациональными корпорациями. Эта модель, включающая как непрменный элемент уничтожение или по крайней мере маргинализацию коренного населения, выгодна крупному капиталу, а вовсе не народу Бразилии<sup>25</sup>.

С 1979 г., после прихода к руководству страной президента Фигейреду, начавшейся общей либерализации режима, а также смены руководства Национального индейского фонда, появилась, судя по некоторым признакам, надежда на какое-то улучшение положения коренного населения. Правда, пока еще рано высказываться по этому вопросу более подробно. Остается лишь надеяться, что не оправдается мрачное пророчество английского индеаниста Р. Хенбери-Тенисона, что остатки коренного населения Бразилии быстро исчезнут<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Davis Sh. Op. cit., p. 74, 167—168.

<sup>26</sup> Ingles preve o fim dos indios.— Estado de São Paulo (São Paulo), 8, VII, 1972.



## ПОИСКИ ФАКТЫ ГИПОТЕЗЫ

Я. С. Смирнова

### УСЫНОВЛЕНИЕ ПОКРОВИТЕЛЯ

Этнографии хорошо известно закрепление отношений между покровителем и покровительствуемым обрядом адопции, т. е. усыновления и удочерения. При этом покровитель, патрон, естественно, выступает в качестве усыновителя, а покровительствуемый, клиент, — в роли усыновляемого. Такой порядок возник уже в пору первоначального социального расслоения, на позднем этапе распада первобытного общества, сохранился в раннеклассовую эпоху.

В частности, у эскимосов Гренландии состоятельные люди усыновляли сирот и затем использовали их в качестве слуг<sup>1</sup>. В древнем мире подобно рода усыновление получило дальнейшее стадийное развитие как один из источников закабаления. От Ассирийского царства остался ряд договоров об усыновлении, в которых предусмотрено, что усыновляемый обязан работать на усыновителя «в поле и внутри поселения», а в некоторых — даже, что такой-то усыновляется таким-то вместе с его полем и домом». В ассирийских же договорах об удочерении указывалось (и, видимо, не без оснований), что удочеритель не вправе обижать удочеряемую, например принуждая ее к сожительству<sup>2</sup>. Сходный обычай кабальной адопции существовал в V—IV вв. до н. э. на Крите, где по Гортинским законам усыновитель не имел никаких обязательств по отношению к усыновленному<sup>3</sup>. Наконец, как бы усыновленными или удочеренными членами семьи либо более широкой родственной группы были домашние рабы. Да и не только домашние: общеизвестно, что даже римские рабы, эти «говорящие орудия», формально считались членами семьи хозяина. В Риме же вольноотпущенники и другие клиенты принимали фамилию патрона.

Таким образом, повсюду покровитель, патрон, хозяйчик усыновляет покровительствуемого, клиента, раба. А вот бывает ли наоборот? Оказывается, бывает. Такой редкостный и странный обычай засвидетельствован у трех близкородственных народов Кавказа — абхазов, абазгов и адыгов. Он тем более удивителен потому, что в традиционных обществах народов Кавказа обычное право, этикет, обыденное сознание пождествляли соотношение отец — сын с оппозициями не только старший — младший, но и начальник — подчиненный<sup>4</sup>. И тем не менее обычаем, в соответствии с которым покровительствуемый усыновлял покровителя, здесь существовал.

Одним из первых об этом обычае упомянул адыгский просветитель второй четверти XIX в. Хан-Гирей. «Когда уздень (т. е. дворянин, вассал. — Я. С.) желает сблизиться с князем, — писал Хан-Гирей, — то при-

<sup>1</sup> Файнберг Л. А. Общественный строй эскимосов и алеутов. От материнского рода соседской общине. М.: Наука, 1964, с. 129.

<sup>2</sup> Дьяконов И. М. Развитие земельных отношений в Ассирии, Л.: Изд-во ЛГУ, 1949, с. 68.

<sup>3</sup> Казаманова Л. Н. Очерки социально-экономической истории Крита в V—IV вв. до н. э. М.: Изд-во МГУ, 1964, с. 125.

<sup>4</sup> Подробнее см.: Смирнова Я. С. Роль старших возрастных групп в абхазской феодално-патронимической организации. — В кн.: Феномен долгожительства. М.: Наука, 1982; *ея же*. Роли и статусы старших в абхазской семье (к проблеме геронтофильных факторов долгожительства). — Сов. этнография, 1982, № 6.





Рис. 1. Обряд усыновления. 1920-е годы. (Гос. музей Абх. АССР)

глашает его к себе, причем совершает торжественно и подносит ему подарки состоящие из оружия, исполнением обычая, с блюдаемого при примирении и состоящего в том чтобы приложиться губами к сосцам жены того дня, который делается «аталыком»<sup>5</sup>. *Аталык* (тюрк. *ата* — отец) — принятое на Северном Кавказе обозначение названного отца, усыновителя, воспитателя. Следовательно у адыгов вышестоящий феодал посредством ряда молочной адопции усыновлялся заинтересованным в нем нижестоящим феодалом. О причинах такой заинтересованности будет сказано далее, пока же проследим сам обычай у других народов.

Хан-Гиреем сходное усыновление у абазин описал русский офицер-разведчик Ф. Ф. Торнау. Он сам был усыновлен абaziном Багры, коснувшись губами груди его жены, чтобы отныне «полагаться на него, как и самого себя»<sup>6</sup>.

У абхазов такого рода усыновление было описано позже, но значительно обстоятельнее. В конце прошлого века М. Т. Джанашвили рассказывает, как абхазские дворяне усыновляют князей, а зажиточные свободные крестьяне — князей, дворян, купцов и даже духовных лиц. Их приглашают словами: «Я желаю повести тебя в мой дом и, по состоянию своему, оказать тебе почет». Устраивают пиршество, затем становятся на колени перед усыновленным и говорят: «С этого дня мы считаем тебя вскормленным грудью в нашей семье, мы одинакового с тобой образом мыслей и не пожалеем для тебя ничего; надеемся, что и ты не поспешишь для нас ничем». В заключение следует сам обряд молочной адопции (рис. 1): «На постланном ковре ставят сундук, на него садится жена хозяина дома, т. е. будущая кормилица; ее окружают женщины. Усыновляемый «становится перед восседающей на сундуке хозяйкой, кланяется ей и троекратно прикасается губами к соску ее груди, и, как абхазы говорят „три раза кусает сосцы“; после каждого раза он произносит: „С этого дня ты — родная моя мать“»<sup>7</sup>.

Во второй половине 1940-х годов, во время полевых этнографических работ в абхазских селениях Отхара, Дурипш, Хопа, Джирхва, Киндги и др., автору этих строк удалось восстановить по рассказам стариков-информаторов некоторые подробности усыновления или удочерения покровителей. Обычай этот назывался *аюнадара* — «пропуск-

<sup>5</sup> Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик: Эльбрус, 1978, с. 281.

<sup>6</sup> Т. (Торнау Ф. Ф.). Воспоминания кавказского офицера. — Русский вестник, 1881 г. т. 51, № 9, с. 394.

<sup>7</sup> Джанашвили М. Абхазия и абхазцы (этнографический очерк). — Зап. Кавказского отдела Русского географического общества, 1894, кн. XVI, с. 22—23; ср.: Индипа Ш. Д. Абхазы. Историко-этнографические очерки. Сухуми: Абгосиздат, 1960, с. 293—294.



Рис. 2. Одаривание аталычки. 1920-е годы. (Гос. музей Абх. АССР)

е через дом», «приобщение к дому». Как правило, он состоял в том, что семья, чувствовавшая себя недостаточно сильной, усыновляла и удочеряла кого-нибудь из влиятельных людей. В одних случаях жестокие феодалы усыновляли вышестоящих, в других — крестьяне усыновляли других крестьян, побогаче и посильнее (например, принадлежащих к многочисленной и влиятельной в данной местности фамильно-патронимической группе), или дворян, или даже князей. Число усыновителей традицией не ограничивалось, однако большое число усыновленных одной семьей считалось нежелательным. Эта своего рода рара в одни ворота вполне соответствовала иерархическому духу саго обычая и некоторой асимметричности порождавшихся им обязательств. Хотя обе породнившиеся стороны постоянно обменивались подарками по случаю разных жизненных событий и праздников (рис. 2), однако подарки усыновителя должны были превышать по ценности марки усыновленного. Усыновившая семья помогала усыновленному удочеренными затратами и подарками при устройстве свадеб, похорон, похорон и неизменно становилась на защиту его интересов вплоть до того, что брала на себя вину за убийство, разбой, конокрадство или другое преступление, совершенное названным сыном. Усыновленный также могал названным родителям и членам их семьи, в частности защищая от насилия и произвола со стороны сильных мира сего, но эта помощь отнюдь не шла так далеко, как скажем, взять на себя вину за какое преступление.

Обряд адопции чаще всего проходил в описанной М. Джанашвили форме молочного породнения. Однако существовала и другая форма, *ша-ашхала*, — «породнение через бедро», при которой прикосновение груди женщины заменялось поднесением усыновляемому бедра заколотого для пиршества животного. Это, несомненно, более поздняя обрядовая форма. Бедро — распространенный символ мужской потенции (в библейское: «произошли от чресл его»<sup>8</sup>), и здесь перед нами стремление заменить архаическое породнение через женщину породнением без ее участия, непосредственно между самими мужчинами. Форма эта даже сравнительно более редкая. У абхазов она большого распространения не получила, а у других народов Кавказа, насколько нам известно, не практиковалась совсем.

<sup>8</sup> Кн. Бытия, 46, 24.

Удалось услышать и о нескольких случаях адопции покровителей. Так, одна из княгинь Анчабадзе, владевшая до Крестьянской реформы 1870 г. селением Отхара, была несколько раз удочерена не только членами численно преобладавшей здесь фамильной группы Айба, но и жителями соседнего селения Дурипш. Воспитатель одного из князей Анчабадзе, после того как его воспитанник занял место своего отца вошел в силу, был усыновлен более ста раз. Неоднократно была удочерена также очень влиятельная прорицательница из сел. Мгудзырва — З. Пашкюрия. А в Киндги сохранилась память о коллективном усыновлении в середине XIX в. жителями этого селения владетельного князя Абхазии Хамудбея Шервашидзе. Непрерывно разоряемые враждой владетеля Абхазии с их собственным князем, киндгцы выбрали из своего числа 12 женщин-усыновительниц и, когда Хамудбей Шервашидзе поочередно коснулся их груди, подарили ему 30 быков и 60 коров.

О совсем уже необычайном коллективном усыновлении покровителей сообщил в своем описании религиозных верований абхазов Н. Джанашиа. Весной 1914 г., когда в Абхазии свирепствовала эпидемия оспы один из поселков решил оградить себя от болезни, усыновив божество оспы Ахи Зосхана и его жену Ханию Шквакву. «Поселок этот устроил складчину, купил пару откормленных белоснежных козлов, забрал в достаточном количестве провизию и отправился в лес. Здесь на лоне природы был устроен „пир на весь мир“ для божественных гостей». Затем глава поселка произнес молитву и принес жертву богам. Тут же стояли две кровати, на которых сидели две молодые женщины, дворянка и крестьянка, в расстегнутых платьях, с грудью, покрытой шелковыми платками. «Народ от мала до велика стал на колени, а глава поселка произнес слово-молитву, в которой приглашал великих богов милостиво удостоить их принять жертву, приложиться к груди лучшей жен поселка и тем, по обычаю предков, усыновиться поселку»<sup>9</sup>.

Может быть, этот эпизод не покажется таким поразительным, если иметь в виду, что грозная эпидемия оспы в какой-то мере напоминала абхазам поведение феодалов, принуждавшее их к усыновлению покровителей. Для этого, как рассказывали наши информаторы, будущие названные сыновья нередко систематически вытапывали посева, организовывали угон скота и в конце концов заставляли тех, кто послабее, усыновлять себя в качестве покровителей и защитников.

Все это позволяет понять, чем было вызвано широкое распространение адопции покровителей в условиях феодальной раздробленности земель адыгов, абазин и абхазов и патриархально-феодального быта этих народов, однако не объясняет, откуда взялся редкостный обычай усыновлять не покровительствуемого, а покровителя.

По-видимому, возможны два подхода к истолкованию происхождения интересующего нас порядка: первый — от исторических универсалий и второй — от местной конкретики. Рассмотрим их поочередно.

В первом случае логично исходить из того, что данный обычай был выгоднее покровителю, нежели покровительствуемому, и он сам представлял инициативу своего усыновления. Действительно, инициатором было легче попросить о своем усыновлении, чем усыновить самому. Однако это чисто теоретическое рассуждение легко разбивается теоретическими же соображениями. Если бы оно было верно, то мы встречали бы усыновление покровителя не только у народов Северного и Западного Кавказа, но и у многих других. Между тем оно засвидетельствовано только у абхазов, абазин и адыгов. Более того, следует полагать, что этот обычай возник у названных народов в результате не конвер-

<sup>9</sup> Джанашиа Н. Религиозные верования абхазов.— Христианский Восток, 1915 т. IV, в. 1—3, с. 111—112.

енции, а зависимо культурного развития<sup>10</sup>. Известно, что предки абазин долгое время жили по соседству с абхазами и испытали их культурное влияние, впоследствии же большая их часть влилась в состав адыгов, сообщив им некоторые особенности абхазо-абазинской культуры<sup>11</sup>. Стало быть: обычай усыновления покровителя по существу уникален, а уникальные обычаи не порождаются историческими универсалиями.

Во втором случае следует исходить из того, что в общественном быту абхазо-адыгских народов было нечто, породившее обычай усыновления покровителя. И такая особенность действительно была — институт аталычества, т. е. обязательная передача детей на воспитание вне родительской семьи. Этот институт существовал и у ряда других народов Кавказа — грузин-мегрелов, осетин, карачаевцев, балкарцев и ногайцев, но наибольшее развитие в регионе он получил именно у абхазо-адыгских народов<sup>12</sup>. Отличительная черта аталычества (по крайней мере в раннеклассовое время, потому что об исторических корнях его можно спорить) состояла в том, что на воспитание, как правило, передавались дети из семей вышестоящих в семье ниже стоящих на лестнице социальной иерархии. Так было не только на Кавказе, но и в других основных очагах распространения этого института — в кельто-германском, славянском и тюрко-монгольском мире. «Ведь того, кто берет себе чужого ребенка на воспитание, всегда считают менее знатным (tínni madr), чем тот, чьею ребенка он воспитывает» — эти приводимые А. Я. Гуревичем слова исландца Олафа из «Саги о людях из Лаксдала» приложимы к практике и психологии аталычества всюду, где оно имелося<sup>13</sup>.

При передаче детей на аталыческое воспитание из семей вышестоящих в семье нижестоящих воспитанник вскармливался и тем самым усыновлялся путем все того же молочного породнения, и между обеими семьями устанавливалось названное родство. Как и при усыновлении взрослого покровителя, оно было выгодно обеим сторонам, но больше выгод извлекала из него семья воспитанника, скреплявшая породнением отношения патроната-клиентеллы в одних слоях общества, сюзеренитета-вассалитета — в других. Таким образом, функционально усыновление покровителя и аталычество не различались, хотя в первом случае усыновлялся взрослый человек, а во втором — ребенок. Сходны эти обычаи также и в том, что в обоих случаях нижестоящий усыновлял вышестоящего.

Здесь-то, думается, и лежит разгадка странной особенности рассматриваемого обычая усыновлять не клиента, а патрона, не вассала, а сюзерена. Понять его можно только как обычай, возникший под влиянием аталычества и представляющий собой упрощенное, усеченное аталычество. При аталыческом воспитании ребенок, естественно, не мог усыновить взрослого, а тем самым богатый и знатный — менее богатого и знатного. Напротив, специфика воспитания в данных социальных условиях требовала усыновления вышестоящего нижестоящим. При породнении взрослых патрон или сюзерен, разумеется, мог усы-

<sup>10</sup> О генетических и диффузионных культурных сходствах как принадлежащих к одной категории зависимых см.: *Нершиц А. И.* К проблеме сравнительно-исторического языка (на примере отставших в своем развитии народов Востока). — Народы Азии и Африки, 1980, № 4.

<sup>11</sup> *Лавров Л. И.* «Обезы» русских летописей. — Сов. этнография, 1946, № 4.

<sup>12</sup> *Косвен М. О.* Аталычество. — Сов. этнография, 1935, № 2; *Смирнова Я. С.* Аталычество и усыновление у абхазов. — Сов. этнография, 1951, № 2; *Гарданов В. К.* Аталычество. — IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук (Париж, сентябрь 1973). Доклады советской делегации. М., 1973 г., и др.

<sup>13</sup> *Гуревич А. Я.* Генезис феодализма в Западной Европе. М.: Высшая школа, 1970, с. 79; ср.: *Гарданов В. К.* Кормильство в древней Руси. — Сов. этнография, 1959, № 6; *Владимирцов Б. Я.* Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л.: Изд-во АН СССР, 1934, с. 183.

новить клиента или вассала, однако в обществах, широко практиковавших аталычество, этот институт предлагал уже готовую, привычную форму установления иерархизированного искусственного родства. Больше того, в обыденном сознании усыновление любого покровителя — ребенка или взрослого — воспринималось как аталычество. Хан-Гирей, описав аталычество у адыгов, отметил, что «аталыка можно приобрести и будучи уже в годах мужества»<sup>14</sup>, хотя здесь по отношению к взрослому человеку слово «аталык» означает, конечно, не воспитателя, а названного отца.

Если наше объяснение правильно, то следовало бы ожидать существования обычая усыновления покровителя не только на Западном и Северном Кавказе, но и повсюду, где также засвидетельствовано иерархизированное аталычество, т. е. у кельтов, германцев, славян, тюрков, монголов, у боспорских греков<sup>15</sup>. Однако такие сведения отсутствуют или, может быть, пока отсутствуют. Это не должно нас удивлять. Даже на Кавказе, где рассматриваемый обычай сохранялся в живом быту до конца XIX в. и где побывали многие десятки путешественников, быт писателей, этнографов, он упомянут или описан очень немногими. Ясно, что трудно надеяться найти аналогичные показания применительно к тем обществам, о которых сохранились лишь свидетельства саг, законов и летописей, относительно намного более скудные, чем обильные материалы по этнографии народов Кавказа.

---

<sup>14</sup> Хан-Гирей. Указ. раб., с. 280—281.

<sup>15</sup> Равдоникас Т. Д. Кормильство на Боспоре.— Сов. этнография, 1981, № 1.

## КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЫЕ МЕТОДЫ И КОНЦЕПЦИИ В ИЗУЧЕНИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ»

14—17 октября 1983 г. в Доме отдыха и конференций Венгерской Академии наук в Матрафьюред (Северная Венгрия) состоялись очередные заседания редакционной коллегии международного журнала «Ethnologia Europaea». По традиции в дни заседаний редколлегии была проведена XII теоретическая конференция, материалы которой предполагается опубликовать в журнале.

«Ethnologia Europaea» возникла в 1967 г. по инициативе группы этнографов европейских стран во главе со С. Эриксоном при ближайшем сотрудничестве Б. Братанича, Х. Диаса и Ж. Роган-Чермака. Последние двенадцать лет журнал редактирует проф. Гюнтер Вильгельман (Мюнстер, ФРГ). В настоящее время в составе редколлегии представители двадцати европейских стран, включая СССР (С. А. Токарев и К. В. Чистов), ВНР, ЧССР, СФРЮ.

Главной целью основателей журнала была коллективная разработка предмета, метода и важнейших проблем формировавшейся в послевоенные годы новой этнографической дисциплины — «этнологии (или этнографии) Европы». Она мыслилась при этом исторической дисциплиной, изучающей Европу как единый историко-этнографический регион и противопоставленной националистическим традициям фашистской (или шире — правой) этнографии. Расчленение этнографии на «фолькскунде» и «фёлькеркунде» преодолевалось в единой «этнологии Европы». Расовым группировкам народов противопоставлялось представление об историческом единстве народов Европы и их этнокультурных контактах. Тем самым подчеркивалось единство исторических закономерностей и важность длительных контактов европейских народов.

Следует подчеркнуть, что за последние 10—15 лет «этнология Европы» стала университетской дисциплиной в ряде европейских стран. Так, например, в ФРГ этнография во многих университетах перестала именоваться «фолькскунде» и была выведена из цикла германистских дисциплин. Кафедры этнографии стали называться кафедрами «европейской этнологии»; они значительно расширили круг своих интересов и образование, которое они дают теперь своим студентам, воспринимается как историческое (историко-культурное) и социологическое. Нельзя не признать, что в развитии этого направления в целом и в постановке целого ряда общеевропейских проблем журнал «Ethnologia Europaea» сыграл определенную положительную роль.

Теоретические конференции «Ethnologia Europaea» бываю\*т составу обычно несколько шире официальной редколлегии (30—40 участников) за счет некоторого числа компетентных лиц и ученых принимающей страны. Так было и на этот раз. XII конференция «Ethnologia Europaea» получила название «Новые методы и концепции в историческом изучении народной культуры Европы». На пяти заседаниях было прочитано 19 докладов ученых из 11 стран (среди них 6 докладов из европейских социалистических стран, включая СССР). Подавляющее большинство докладов отвечало основной теме конференции. В них предлагались различные исторические истолкования понятия «народная культура» (Volkskultur, popular culture) либо конкретные обзоры проблем истории народной культуры в различных странах (ВНР, Англия, ФРГ, Швеция, Дания и др.). В двух докладах рассматривались фундаментальные проблемы теории традиции (Е. Б а р а б а ш — ВНР, К. В. Чистов — СССР).

В дискуссии, которой отводилось довольно много времени, дебатировались предлагавшиеся концепции истории «народной культуры» и методы ее изучения у народов Европы. Отметим три характерные черты докладов и выступлений в прениях:

а) Стремление большинства докладчиков к развитию исторической методологии и преодолению формально-типологического и эмпирико-географического методов. Вместе с тем историзм в изучении народной культуры трактовался определенной частью докладчиков и выступавших в прениях как «исторический эмпиризм» в духе известной и до сих пор авторитетной «Kulturfixierungstheorie» (периоды обновления традиции или периоды «новаций» перемежаются периодами стагнации, «фиксирования» традиции; новации обуславливаются не саморазвитием культуры, а экстраэтнологическими факторами — общей экономической конъюнктурой, экономическим расцветом или кризисом, социально-престижными ситуациями, правительственными распоряжениями, войнами, революциями и т. д.).<sup>1</sup> Для 70-х гг. характерно интенсивное применение количественных

<sup>1</sup> Wiegelmann G. Wirtschaftslagen und kulturelles Verhalten. Die schwedische «Kulturfixierungstheorie» in der internationalen Diskussion. — Saga och sed, Uppsala, 1982, s. 225—252.

методов и ЭВМ при обработке массовых источников (Seriale Untersuchungen). На конференции эта методика была продемонстрирована в докладе сотрудницы Г. Вигельманна Р. Морманн «Возможности и пределы количественного анализа городской народной культуры» и в некоторых других докладах.

б) Неприятие терминов «das Volk», «Volkskultur» в их этническом смысле. Для ученых из ФРГ это связано с нежеланием возвращаться к спекуляциям понятием «das Volk», характерным для нацистского времени. Так, один из докладчиков при этом заявил, что «народ» — «фантом»; термин «народ», по его мнению, вообще не должен употребляться, или ему следует придавать не этническое, а социальное, а географическое содержание. Одновременно предполагалось употреблять термины «die Bevölkerung» («население»), не «Volkskultur» («народная культура»), а «Alltagskultur» («бытовая культура», «обыденная культура»), либо в англосаксонском смысле «people culture» («массовая культура») (например, в докладе В. Брюкнера (ФРГ) «Массовая культура — конструкт, интерпретация, реальность. Проблемы исторической методологии истории с точки зрения центрально-европейских исследований» и др.). В то же время особенностью и одним из достоинств «эмпирико-исторической» методики несомненно является то, что она с неизбежностью ведет к социальной дифференциации изучаемых явлений бытовой культуры и к стремлению охватить исследованием разные социальные слои населения.

в) Сохранение ставшего уже традиционным для конференций «Ethnologia Europaea» стремления к общеевропейским масштабам, к оперированию категориями «европейской этнологии», например, доклад П. Барке — Англия «Европейская массовая культура между историей и фольклором. 1350—1950».

В прениях по докладам и в вопросах, которые задавались докладчикам участниками конференции от Советского Союза и других социалистических стран содержалась критика ограниченности исторической концепции «Kulturfixierungstheorie», отрицание понятия «народ» как этнической и этнокультурной общности и вместе с тем подерживались плодотворные опыты исторического рассмотрения «народной культуры» и ее отдельных аспектов и явлений в общеевропейском масштабе (выступления В. Фогта, Т. Хоффера, К. Чиллери — ВНР, Я. Подолака — ЧССР, К. В. Чистова — СССР).

Вечером 16 октября 1983 г. состоялось организационное заседание редакционной коллегии журнала «Ethnologia Europaea» с отчетом главного редактора проф. Г. Вигельмана. В нем участвовало 19 членов редколлегии. Г. Вигельман приветствовал новых членов редколлегии — Дж. Буасевена (Нидерланды), К. Бьянки (Италия), К. В. Чистова (СССР), особенно подчеркнув желательность регулярных контактов этнографами СССР и более активного их участия в деятельности журнала. Советская сторона сообщила о мерах, которые предпринимаются в этом смысле. На заседании обсуждался, но не был окончательно решен вопрос о будущем Главного редактора журнала<sup>2</sup>. Были также поставлены вопрос о сближении «Ethnologia Europaea» и Европейского общества этнологии и фольклора и другие организационные проблемы.

18 октября в Матрафьюред началась еще одна международная конференция, сванная Постоянным комитетом по изучению народной пищи Европейского общества этнологии и фольклора. Она открылась обсуждением доклада Э. Кишбан (ВНР «Периоды и поворотные пункты в истории народного питания в Европе» по своему содержанию совпадающего с основной темой сессии. От Советского Союза был представлен доклад М. Г. Рабиновича «Главные этапы развития пищи русских горожан XVI—XIX вв.».

17 октября участники обеих конференций совершили однодневную экскурсию в г. Дендеш, где осмотрели краеведческий музей, приготовивший специальную экспедицию и встретились с руководством города. Во второй половине дня они побывали в ближайшей деревне Надьред — виноградском кооперативе, где познакомились с деятельностью кооператива, его подсобными обрабатывающими предприятиями и местным фольклорным ансамблем.

К началу и концу конференции «Ethnologia Europaea» в Матрафьюред в столице ВНР Будапеште были приурочены еще два публичных мероприятия. 14 октября в республиканском Этнографическом музее, при участии президента Европейского общества этнологии и фольклора проф. Н. Бренгеуса (Лунд, Швеция) состоялось открытие выставки «Венгерское народное искусство», а 19 октября — чтения памяти академика Д. Ортутая, связанные с открытием при Будапештском университете библиотеки его имени, на основу которой была положена личная библиотека покойного выдающегося ученого.

И наконец, 20 октября участникам конференции была предоставлена возможность посетить Венгерский этнографический музей под открытым небом в Сентендре.

Сентендрский музей был основан в 1972 г. Вместе с развивающимися региональными музеями (Гечейский музей-заповедник в г. Залаегерсег, музей-заповедники в г. Самбатхей и Ньиредхазы-Шошто и в с. Сенна) он должен собирать, хранить и демонстрировать посетителям памятники материальной культуры сельского населения Венгрии XVIII—XIX столетий. По плану здесь на территории в 46 га будет размещено около 300 построек из 10 различных историко-этнографических регионов страны. В настоящее время этот план реализован примерно на 20%, причем один сектор

<sup>2</sup> Проф. Г. Вигельман обратился к редколлегии с просьбой об отставке.

арктический завершен и доступен посетителям<sup>3</sup>. Следует особенно подчеркнуть, что для планирующихся регионов значатся два городских, т. е. отражающих материальную культуру и жилую архитектуру малых городов Венгрии того же времени.

К. В. Чистов

<sup>3</sup> См. путеводитель: «Верхний Тисайский край», Сентендре, 1980, 83 с. В серии: Этнографические единства Этнографического музея под открытым небом», в. I (на русск. яз.).

## КИНОЭПОПЕЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЭСКИМОСАМ

В последние десятилетия во многих странах ведется большая целенаправленная работа по выпуску этнографических фильмов, освещающих особенности хозяйства, типологию образа жизни и быта населения отдельных этнокультурных регионов. Среди таких этнографических лент значительную известность приобрел семисерийный фильм об эскимосских народах под общим названием «Инуиты».

Интерес к этой серии фильмов в значительной мере вызван тем, что в ней всесторонне рассматривается эскимосская проблема. Как известно, эскимосские народы населяны на огромной территории Севера протяженностью около 1500 км от Чукотки в Гренландии и входят в состав четырех государств. В США их 30 тыс., в Канаде — 45 тыс., в Гренландии (Дании) — 47,5 тыс. и в СССР — 1,5 тыс.<sup>1</sup>

Судьбы эскимосов в связи с интенсивным промышленным освоением Севера привлекают к себе в настоящее время большое внимание мировой общественности. Актуальности и перспективы развития эскимосских народов, адаптация их культуры к основанной на присваивающем — охотничье-собираческом типе хозяйства) к современности, воздействие на них индустриальных очагов, возникающие при этом конфликты и трудности являются основным содержанием фильмов, объединенных в серии «Инуиты».

Автор этого цикла, руководитель Парижского центра арктических исследований французской организации по изучению высоких широт, профессор Ж.-Н. Малори — признанный специалист по истории и этнографии эскимосов Гренландии, Канады и США. Он участвовал во многих экспедициях к эскимосам и подолгу жил среди них. Широкую известность приобрела его книга, посвященная группе эскимосов северо-западного района Гренландии — Туле, под названием «Последние короли Туле» (в русском переводе «Загадочный Туле». М., 1973).

Ж.-Н. Малори — активный общественный деятель, неоднократно выступавший за права северных меньшинств в условиях их конфронтации с современным капиталистическим миром. Он неустанно развенчивает экономический колониализм, прикрываемый цивилизаторской миссией. Ж.-Н. Малори уделяет большое внимание различным аспектам жизни эскимосов, их хозяйству, культуре и быту, всячески подчеркивая их тесную связь с окружающей природной средой. Он неизменно выступает с призывами охранять традиционную самобытную культуру эскимосов. Ж.-Н. Малори считает, что главные беды несет эскимосам и другим народностям грубо навязанная им западная цивилизация, все усиливающаяся индустриализация Арктики. В 1973 г. Ж.-Н. Малори организовал I Конгресс по истории нефтедобычи в Арктике и привлек к участию в нем представителей эскимосских общин. В 1977 г. Ж.-Н. Малори был среди организаторов участников Международной эскимосской конференции в Пойнт-Барроу (Аляска). В том же году он выступил по советскому телевидению и продемонстрировал один из своих фильмов об эскимосах Гренландии.

Серия фильмов «Инуиты» состоит из семи частей. Вводный фильм «Общий клич эскимосского народа» начинается с рассказа о коренных жителях Арктики, первыми открывших этот суровый край. Используются старые фильмы, заснятые в начале века, которые хранившиеся в архивах и не демонстрировавшиеся на экранах, а также собственные съемки, автор воскрешает традиционный образ жизни эскимосов: примитивный быт в снежных иглу, сцены охоты на китов и моржей, способы рыболовства, добычи доплавающей птицы, езды на собаках, изготовление нартов, выделку шкур, пошив одежды, искусство резьбы по моржовой кости и т. д. Документальные картины прошлого, весьма ценные для понимания традиционной культуры эскимосов, сменяются кадрами, рисующими современную жизнь — возникновение нефтедобывающих предприятий, пауперизацию коренного населения, переход эскимосов к работе по найму в административных и промышленных поселках, азартные игры, алкоголизм, разрушение эскимосской культуры, деградацию отдельных групп эскимосов в Новом Свете. Смертные этносоциальные и этнокультурные процессы среди эскимосов Аляски, Канады и Гренландии показаны Ж.-Н. Малори очень отчетливо. Резко критикует он монополии и правящих кругов по отношению к коренным народностям, результаты новейших программ, осуществленных американским и канадским правительствами в 60—70-е годы в отношении эскимосов и индейцев. Не признавая за ко-

<sup>1</sup> Брук С. И. Население мира. Этнодемографический справочник. М.: Наука, 1981, с. 750, 742, 208.



ренными жителями прав на национальное самоопределение, современная национальная политика этих государств по-прежнему направлена на их ассимиляцию, навязываемой капиталистической системы отношений со всеми вытекающими отсюда, неизбежными для этих народов последствиями. Фильм призывает задуматься о будущем эскимосов, помочь им сохранить свою культуру и право «на отличие». Второй и третий фильмы серии под общим названием «Гренландцы и Дания» с подзаголовками «Гренландия поднимается» и «Нанарпут (Наша земля)» посвящены гренландским эскимосам. В них говорится о политике Дании по отношению к Гренландии, «данизации» территории, об использовании природных богатств колонии; отражено также движение за независимость, стремление гренландцев развивать свою самобытную культуру. В фильме включены интервью автора с представителями разных социальных слоев гренландской учащейся молодежи. Ярко показаны жизнь и быт эскимосов Туле, этнографическая группа на северо-западе Гренландии, сохранившей свой традиционный облик до наших дней. Привлекают внимание сцены охоты на каяке (одноместная каркасная лодка), разделка туши моржа, рыбная ловля и т. д. Фрагменты фильма, отснятого в 1933 г. известным путешественником Расмуссоном, отражают традиционную культуру и быт эскимосов юго-восточной части Гренландии. Уникальные кадры запечатлели архаический быт эскимосов в снежном жилище — иглу. В фильме высказывается надежда, что Гренландия найдет свой самостоятельный путь развития в современном мире.

Ценный этнографический источник представляет собой фильм «Эскимосы и Канада» об эскимосах канадского Севера, сохранивших до недавнего времени крайние архаичные быт и культуру. Ж.-Н. Малори вел свои съемки на северо-востоке Канады в охотничьем поселке, недалеко от места, где в 1922 г. был снят фильм «Нануки» ким образом, можно проследить изменения, произошедшие в этой группе эскимосов за полвека. В фильме «Эскимосы и Канада» хорошо представлены быт охотников на кого оленя (карибу), сезонные промыслы и подготовка к ним, охота с копьями на карей, переплывающих озеро (наиболее древний способ охоты народов Севера), разделка и распределение добычи между членами группы; фильм дает также представление о ловле лосося, домашнем быте, изготовлении одежды и пр. Заслуживает внимания отснятый автором материал о соревновании в гримасах: побеждает тот, кто сильнее деформирует свое лицо (такое же развлечение было недавно обнаружено у оленевых чукчей).

В фильме показана борьба эскимосов за свои права, их стремление отстаивать мыслевые угодья от посягательств горнодобывающих компаний.

Два фильма об аляскинских эскимосах снимались в разных районах. В первом «Аляскинские эскимосы и США: сыновья кита» — показана хозяйственная деятельность эскимосов-китобоев на о. Св. Лаврентия: ритуал подготовки к охоте, предшествующий ей умилостынительные обряды с танцами под бубен. Заслуживают внимания кадры, где эскимосы с помощью гарпунов охотятся на кита и моржа, вытаскивают убитого кита на берег, разделяют моржовую тушу, сооружают байдару из шкур моржов.

В фильме подчеркнуто важное значение морского зверобойного, в том числе китового, промысла для аляскинских эскимосов. Есть в нем и кадры о жизни континентальных эскимосов — охотников на карибу.

Во втором фильме — «Аляскинские эскимосы в США: нефть — доллар и власть» автор рассказывает о вторжении нефтяной промышленности на Аляску и изменениях, возникших в связи с этим в жизни эскимосов, трудностях адаптации охотников к новой обстановке, сегрегации и безработице. Будущее аляскинских эскимосов, по мнению Ж.-Н. Малори, связано не с промышленным развитием, а с традиционным хозяйством и малыми поселениями.

Традиционная жизнь азиатских эскимосов в заключительном фильме «Азиатские эскимосы и СССР. У истоков истории инуитов» представлена менее подробно, так самостоятельные съемки на Чукотке Ж.-Н. Малори не проводил. Однако в фильме включен уникальный кинодокумент 1911 г., самый старый фильм о сибирском Севере, показывающий охоту на моржей в начале века, опасную охоту на медведя с луком и копьем, повседневную жизнь эскимосов в их жилищах и шаманские действия.

Начав с политики царского правительства в Восточной Сибири, автор привлекает внимание на Чукотку сегодняшнего дня. Титры повествуют о состоянии народов тундры и тундры в первые годы после революции и о первых советских мероприятиях по оказанию помощи малым народам Севера и Сибири, о деятельности Комитета Севера по культурному строительству. Ж.-Н. Малори анализирует современное состояние азиатских эскимосов, этой наиболее малочисленной эскимосской группы (1500 чел.), и сравнивает его с положением эскимосов американского и гренландского Севера. Он подчеркивает, что современная жизнь эскимосов Сибири базируется на традиционных привычках для них отраслях хозяйства — морском зверобойном промысле и отруболовстве, что традиционная культура азиатских эскимосов не утратила своего значения. С горячим одобрением повествуется в фильме об улучшении быта в эскимосских поселках, о росте образования и подготовке национальных кадров, об основных принципах советской национальной политики. В комментариях к фильму автор заявляет: «Малые народы должны укрепляться культурно, экономически и этнически, что оставаясь самими собой, на равных вести диалог с индустриальными обществами». Современное состояние эскимосов СССР, по его мнению, обнадеживающий при таком подходе к развитию малых народностей.

Фильм, созданный Ж.-Н. Малори, — первый кинодокумент об этом удаленном крае Северной Сибири и о советской национальной политике, который увидели зрители.

Фильмы Ж.-Н. Малори об эскимосах затрагивают проблемы современного освоения Севера в международном масштабе. Говоря о необходимости рационального подхода к огромным богатствам Арктики, ученый показал, что непременным условием такого подхода является уважение к населяющим ее коренным народностям и их потребностям. Он настаивает на принятии решительных мер для того, чтобы эти народности, в первую очередь эскимосы, вчера еще стоявшие на первобытной ступени развития, смогли войти в сегодняшнюю историю. Задачи автора фильма сливаются с программой, поставленной самими эскимосами на их Первой Международной конференции в Пойнт-Барроу (Северная Аляска) в 1977 г., имеющей целью спасти самый северный народ от исчезновения, уберечь его древнюю культуру, сохранить его историческую и личную индивидуальность, не допустить, чтобы его поглотила цивилизация предпринимателей.

Семь фильмов обо всех группах эскимосов, населяющих Арктику, имеют несомненное научное значение как ценнейший этнографический источник. Обилие уникальных элементов традиционной культуры, запечатлевших ушедшие в прошлое или исчезающие элементы, — большая заслуга автора. Освещение современных проблем развития эскимосов в различных политических и социально-экономических условиях также представляет немалый интерес.

И. С. Гурвич, Т. М. Мастюгина

### КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

Деревянное зодчество Архангельска — одно из важных проявлений городской культуры. Отражение роли города в формировании ценностей народной культуры Севера, показ общественных условий и быта горожан в прошлом, выявление предметов и явлений материальной и духовной культуры различных социальных и социальных групп горожан — решение этих и многих других задач экспедиции музейной зоны невозможно без комплексного этнографического изучения го-

рода. В 1981 г. по инициативе Секции этнографии и краеведения Архангельского отделения Географического общества СССР сотрудниками и студентами кафедры этнографии Архангельского государственного педагогического института (АГПИ) М. В. Ломоносова, специалистами Архангельской научно-реставрационной мастерской (АНРМ) и Архангельским музеем деревянного зодчества (АМДЗ) начата работа по комплексному архитектурно-этнографическому изучению Архангельска. Дважды — в июне-июле 1981 г. и в январе 1983 г. — силами студентов-историков АГПИ производился систематический сбор информации по программе этнографического изучения города (составленной на основе программы М. Г. Рабиновича и М. Н. Шмелевой)<sup>1</sup>. Студенты прошли специальную подготовку: в 1981 г. экспедиции проведены в рамках музейно-краеведческой

практики занятия по этнографии и музееведению, сбору полевого этнографического материала, а в 1982/83 учебном году студенты прослушали курс лекций «Введение в этнографию и основы этнографии Русского Севера».

Территория города условно была разделена на зоны исследования (улицы, кварталы), где работали небольшие группы (2—4 человека). Главное внимание обращалось на деревянные жилища и хозяйственные постройки второй половины XIX — начала XX в. Выявлялись наиболее интересные объекты, делалось их краткое описание. Беседы с жителями позволяли выяснить в сравнительно короткий срок, кому принадлежал тот или иной городской объект в прошлом, определить структуру городской усадьбы и ее специфику у различных общественных групп горожан, собрать обширную информацию по материальной и духовной культуре архангелогородцев в конце прошлого века. Был выявлен ряд экспонатов для Архангельского музея деревянного зодчества и выяснена возможность их приобретения.

На основе предварительных рабочих записей велись полевые дневники. Общий объем дневниковых записей составил 31 школьную тетрадь. В результате проведенных работ было выявлено и кратко описано более 120 объектов, представляющих интерес для музейной зоны. Координация действий между работниками АГПИ и специалистами АНРМ дала возможность летом 1981 г. в довольно короткий срок силами студентов Харьковского инженерно-строительного института

<sup>1</sup> Шмелева М. Н., Рабинович М. Г. Этнографическому изучению города. — Этнография, 1981, № 3, с. 23—24.

произвести обмеры наиболее интересных памятников.

Начатые работы по этнографическому изучению города позволили сделать ряд важных предварительных выводов, которые надо учитывать при создании музейных зон деревянного зодчества Архангельска. Имеющийся материал важен для составления предпроектной документации экспозиции (научного обоснования тематико-экспозиционного плана, историко-архитектурно-этнографического характера записки к плану и проекту детальной планировки зоны и т. п.).

**А. Н. Давыдов**

\* \*  
\*

В 1982 и 1983 гг. Камская этнографическая экспедиция Пермского государственного университета им. А. М. Горького продолжила изучение формирования русского старожильческого населения Урала и его материальной культуры.

В экспедиции (руководитель Г. Н. Чагин) участвовали 13 студентов исторического факультета, два сотрудника Пермского областного краеведческого музея и два художника.

Экспедиция работала в бассейнах Печоры и Камы. Были обследованы деревни по верхней Печоре и ее притоку Унье (Усть-Унья, Светлый Родник, Усть-Бердыш, Шижим, Шайтановка Усть-Уньинского сельсовета; Курья, Пачгино, Волосница Курьинского сельсовета Троицко-Печорского района Коми АССР), по притокам Камы — Лысьве (Пегушино, Ефремы, Харенки, Пузаны, Елькина, Пластинина, Порошино, Белкино, Вавилова, Тетерино Пегушинского сельсовета Соликамского района) и Кондасу (Сорокова, Загизга, Гунина, Игнашина, Трезубы, Зыряна, Рассохи, Кокшары, Кекур, Лечканово, Кургановка, Сырчаги, Заполье Сороковского сельсовета; Щекино, Кокуй, Комино, Высоково, Петухи, Сенькино Щекинского сельсовета Усольского района Пермской обл.).

Участники экспедиции составляли планы поселений, во время подворных обходов собирали информацию об усадьбах, занятиях населения, одежде, быте, прикладном искусстве, обычаях и праздниках, вели полевые дневники, записывали местную терминологию. Было установлено, что в бассейне Лысьвы и Кондаса русские поселились в конце XVI—XVII в., когда в Прикамье наблюдался наиболее массовый приток населения с Европейского Севера.

Верхпечорские земли стали осваиваться лишь с конца XVIII в. русскими из бассейна Колвы (приток Вишеры, впадающей в Каму). Несмотря на то, что русские появились на Печоре поздно, у них сохранилось много архаических черт в хозяйстве, культуре, быту, чему во многом способствовали удаленность района и обладание старообрядческого населения. Полевые материалы, собранные в этих районах, позволяют глубже проследить взаимосвязь историко-культурных традиций русского населения Урала в мест раннего и позднего заселения.

В Камском бассейне большинство обследованных поселений имеет уличную застройку, которая официально вводилась конца XIX в. Но несмотря на это, экспедиции удалось наблюдать элементы форм застройки. Так, деревни Вавилова, Игнашино сохраняют свободную кучерявую застройку. Аналогичные черты имеются в планировке с. Щекино. Застройка д. Белкино наглядно свидетельствует об умении народа соединить природную среду застройкой. Все печорские деревни хранят изначальную рядовую и боковую рядочную застройку.

По Лысьве, где основным занятием населения было земледелие, до сих пор сохраняется редкий для Урала гнездовой тип расселения.

Экспедицией собран разнообразный материал по постройкам. В обследованных местах преобладает трехкамерное жилище «связью» с севернорусской внутренней планировкой. К нему сзади примыкают двухъярусные дворы, а в Усольском районе — сбоку загоны с амбарами, погребам и взвозами. На Печоре сохраняется немало амбаров-житниц на высоких столбах.

В дер. Гунино обследована редкая для этих мест усадьба середины XIX в., которая сохраняет некоторые архаические черты: крыша самцовая с желобами на гонцах, резные повалы, двойной пол, вход в голбец-подклеть через дверь в сени и т. д.

Экспедиция обнаружила 25 крестьянских изб, в которых интерьеры и наличники были украшены многоцветной живописью — сложными букетами цветов, древом жизни, гирляндами, птицами. Получены интересные сведения об авторах этих работ. В дер. Светлый Родник на Печоре выявлены росписи 1905 г. с авторствами известных вятских живописцев И. Павлова и Я. Залещикова (в предыдущих экспедициях обнаружены их многочисленные работы в районе городов Чердыни и Соликамска Пермской обл.). В Усольском районе помимо пришедших из

ров работали и местные. В дер. Расписные живописные работы выполнял С. Г. Из заброшенных домов деревень роковая, Загижга, Гунино, Петухи, Зы и др. вывезено свыше 50 расписных предметов: припечные доски, грядки, за шкафы, божницы, обеденные столы. тех же местах получены расписные ки, кухонная утварь.

браны орудия труда, связанные с зем- елем, строительством, кузнечным де- В с. Пегушино обследовано помеще- пожарной части со старым оборудо- ем. Записаны рассказы старожилов о ровольных пожарных отрядах.

фотографированы многие виды заня- населения: обработка земли, пастьба а, сенокос, ловля рыбы, возведение бов и изготовление лодок, ткачество и рное вязание, перевозка тяжестей на кушах, одноколке, лодке, изготов- ве бочек, туесов, коробиц, пестерей, ских игрушек.

Жители Печоры до сих пор придают шное значение охоте и рыболовству. них записаны данные об устройстве чьих ловушек и рыболовных сна- , охотничьего снаряжения, лесных из- ек.

Усольском районе собрана одежда шнего изготовления: мужские и жен- ле рубахи, сарафан, юбки, кофты, об-

разцы холщовой пестряди, льняные поло- тенца, коллекция лаптей, а на Печоре — узорные чулки и рукавицы.

Среди русского населения Усольского района в небольшом количестве прожи- вают коми-пермяки. Это позволило вы- явить черты коми-пермяцкой культуры и быта, на месте записать терминологию.

Опрошено 175 старожилов в возрасте до 95 лет, заснято 12 черно-белых и 7 цветных фотопленок, заполнено 125 анкет по различным постройкам, записано свы- ше 500 микропонимов. На 22 состав- ленных планах поселений отмечены типы 800 усадеб. Из похозяйственных книг Пе- гушинского сельсовета за 1930—1950 гг. извлечены сведения о составе и размерах усадеб, о времени возведения 940 по- строек. Художники в 350 графических и живописных работах запечатлели виды де- ревень, усадеб, многочисленные детали и строительные приемы жилых и хозяйст- венных построек, орудия труда и быта.

В результате проделанной работы при- обретено около 400 экспонатов и 12 ста- рых фотографий. Экспонаты с Печоры и из Пегушинского сельсовета переданы на постоянное хранение в Соликамский крае- ведческий музей, а из Усольского района вместе с работами художников — в Перм- ский областной краеведческий музей.

**Г. Н. Чагин**



## КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

В. А. Шнирельман

ЭТНОАРХЕОЛОГИЯ — 70-е ГОДЫ

Термин «этноархеология» восходит к началу нашего столетия, да его впервые применил американский археолог Дж. Фьюкс, имея в виду свои исследования, ставившие целью проверку устной традиции индейцев-пуэбло методами археологии. Однако в те годы термин привился и специалисты вспомнили о нем спустя 50 лет для того, чтобы обозначить совершенно иное научное направление, которому предназначалось улучшить методы реконструкции древних обществ по археологическим остаткам. В 60—70-е годы наблюдался поистине головокружительный взлет этноархеологии от робкого, порой интуитивного изложения отдельных научных принципов до превращения их в методическую систему, нашедшую многочисленных приверженцев. Все это произошло лишь за какие-то полтора — два десятилетия этноархеологическому учению подверглись десятки самых разнообразных обществ — от австралийских аборигенов до обитателей американского города Таксона. На протяжении 70-х годов некоторые из этих исследований были завершены. Тогда же в США прошло несколько конференций, призванных координировать действия этноархеологов. Все это вылилось в серию публикаций, позволяющих судить о методических установках этноархеологов, характере и направлении их исследований и отдельных итогах их деятельности. В настоящей работе рассматриваются лишь основные из этих изданий<sup>1</sup>.

В чем же заключалась причина успеха этноархеологии? Прежде всего в стремлении отказаться от упрощенного понимания процедуры реконструкции древних обществ, долгое время господствовавшей в науке. Так как становление истории первобытного общества как научной дисциплины получило мощный импульс в эпоху эволюционизма, эволюционистский идейный багаж в той или иной форме постоянно воздействовал на умы отдельных специалистов. Тем самым наряду с безусловно полезной идеей поступательного развития в науке надолго

<sup>1</sup> 1) Yellen J. E. *Archaeological Approaches to the Present: Models for Reconstructing the Past*. N. Y., 1977. 259 p.; 2) Binford L. R. *Nunamiut Ethnoarchaeology*. N. Y., 1978. 509 p.; 3) *Explorations in Ethnoarchaeology*/Gould R. A. Albuquerque, 1978. 330 p.; 4) *The Spatial Organization of Culture*/Hodder I. Pittsburg, 1978. 310 p.; 5) *Ethnoarchaeology: Implications of Ethnography for Archaeology*/Kramer C. N. Y., 1979. 292 p.; 6) Hayden B. *Palaeolithic Reflections. Lithic Technology and Ethnographic Excavations among Australian Aborigines*. Canberra, 1979. 181 p.; 7) Gould R. A. *Living Archaeology*. Cambridge, 1980. 270 p.; 8) Steensberg A. *New Guinea Gardens. A Study of Husbandry with Parallels in Prehistoric Europe*. London, 1980. 222 p.; 9) *Modern Material Culture. The Archaeology of Us*/Gould R. A., Schiffer M. B. N. Y., 1981. 347 p. Здесь не рассматривается монография П. Уотсона, которой была посвящена специальная рецензия. См. Шнирельман В. А. Рец. на P. J. Watson. *Archaeological Ethnography in West Iran*. Tucson, 1979. — Сов. этнография, 1980, № 4. Не анализируется и содержание следующего с 1982 г. «*Journal of Anthropological Archaeology*», специально посвященного близкой тематике. Далее ссылки на рассматриваемые здесь работы будут даваться в ходе изложения в скобках, где эти работы будут нумероваться цифрами в порядке перечисления в данной сноске.

сделалась привычка иллюстрировать материальную сторону этой эволюции археологическими фактами, а социальную и духовную — фактами этнографии. И в этом не было бы ничего порочного, если бы, во-первых, этнографические материалы всегда давали однозначную картину, а во-вторых, этот метод не применялся бы для реконструкции реальных древних обществ, известных по археологическим данным. До тех пор пока этнографических материалов было немного и они могли интерпретироваться достаточно свободно, у многих специалистов, а особенно археологов, сохранялась вера в идентичность социокультурных систем, характерных для того или иного уровня развития. Стремление к более детальным реконструкциям, вполне понятное для исследователей-энтузиастов, создавало определенную психологическую атмосферу, способствовавшую переносу концепции идентичности и на некоторые частные моменты культуры. В такой обстановке трудно было заметить слабости указанного выше метода (впоследствии критики назвали его полупрезрительным названием «метода иллюстративного сравнения»), недостаточно обдуманное использование которого породило массу псевдореконструкций.

Многочисленные этнографические и археологические исследования последних десятилетий показали, что картина развития была гораздо более сложной и многообразной, чем когда-то казалось. Во-первых, сами только этнографические факты свидетельствовали о весьма существенной вариативности, свойственной даже одному взятому наугад уровню развития. Если еще совсем недавно для реконструкций древних обществ охотников и собирателей достаточно было указать на некоторые факты из жизни, например, бушменов, то теперь требовалось выбирать из целого ряда бушменских обществ (кунг, ко, нарон и т. д.), а еще и обосновывать правомерность своего выбора. А ведь, как оказывается, даже у отдельных групп бушменов, живущих в общем в довольно сходных природных условиях, далеко не все черты культуры отличались идентичностью. Гораздо более сложная ситуация обнаружилась у австралийцев, представленных десятками самых разнообразных племен, обитавших в различной природной обстановке и отличавшихся по хозяйству и деталям социальной организации.

Вместе с тем не одна только природная обстановка вызывала различия в культуре сходных по уровню развития обществ. Здесь мы подходим ко второму важному фактору, отразившемуся в этнографической действительности. Подавляющее большинство самых разнообразных из живших до наших дней отсталых обществ на протяжении своей истории так или иначе контактировали с обществами иного уровня развития, и это порождало взаимовлияния, кое в чем видоизменявшие облик обеих сторон. Следовательно, в культуре каждого из таких обществ нашли отражение черты, не только связанные с уровнем его внутренне-развития, но и возникшие под влиянием внешних факторов.

В-третьих, как подчеркивают многие этноархеологи, далеко не все элементы древних культур и черты поведения наших отдаленных предков сохранились до нас в этнографической действительности. А это значит, что в археологических материалах могут фиксироваться такие модели поведения, которые невозможно реконструировать путем прямых аналогий с современностью.

Так как многообразие и вариативность являются неотъемлемой чертой культуры, то в этом смысле древность, очевидно, мало чем отличается от современности. И это подтверждается всеми имеющимися сейчас археологическими фактами. Что же в таком случае должна представлять собой процедура реконструкции? Прежде всего следует отметить, что реконструкции бывают разными по степени обобщения. Здесь достаточно разделить их на общие и конкретные. Примером реконструкции высшей степени абстракции является история первобытного общества в масштабах всей планеты. Такая реконструкция обобщает все разрозненные археологические и этнографические факты, причем при реконструкции хозяйства и материальной культуры упор делается на пер-

вые, а при воссоздании картины древней социальной организации — вторые. В отличие от «метода иллюстративного сравнения» научный метод общей реконструкции оперирует массовым материалом, имеющим дело с представительными выборками и учитывает статистические закономерности. Однако для реконструкции конкретных древних обществ или аспектов их культуры такой метод применим лишь в сочетании с другими методами. Это происходит потому, что конкретная картина будет всегда в той или иной мере отклоняться от среднестатистической. Для примера можно провести следующий мысленный эксперимент. Представим себе, что культура бушменов-кунг сохранилась лишь археологически и нам предоставляется возможность реконструировать ее, исходя из данных о живой культуре бушменов-ко. Если при этом мы будем следовать методу иллюстративного сравнения и попытаемся привязать к археологическим остаткам кунг этнографическую модель, то в целом ряде существенных моментов получится искаженная картина. В этом несложно убедиться, сравнив особенности годового хозяйственного цикла и социальной организации, известных этнографически у кунг. Столь же ошибочно было бы безоговорочно реконструировать облик культуры австралийских аборигенов, живущих в Западной Австралии, взяв за образец культуру соседних аранда.

Если же, сопоставив несколько десятков самых разных обществ охотников и собирателей, мы выработаем некую общую модель, свободную от специфических деталей, и попытаемся приложить ее к конкретным, подлежащим реконструкции обществам, то мы сумеем получить более удовлетворительную картину. И все же она будет далека от совершенства, так как, улавливая принципиально сходные структуры, заключающие в себе сущность восстанавливаемых обществ, она не может отразить их специфику, т. е. то, как характерные для них общности закономерно проявлялись в конкретной ситуации, своеобразной для каждого из отдельно взятых обществ.

Этот-то недостаток бытующего до сих пор подхода к конкретным реконструкциям и пытается исправить этноархеология, ставящая своей целью восстановление не только типических, но и особенных черт древних обществ. В этом ее приверженцы проявляют известный оптимизм, отличающий их в лучшую сторону от целой когорты западных археологов, которые, осознав указанные выше недостатки прежних реконструкций, перешли к агностицизму, сузив задачи археологии до вещи в себе.

Отправной точкой в работе этноархеологов служит этнографический материал. Однако их подход к нему отличается от традиционного прежде всего тем, как они понимают метод аналогий. Традиционное применение этого метода в прошлом по духу своему было близко к методу иллюстративного сравнения — внешнее сходство трактовалось как тождественность сравниваемых явлений и их контекста. Между тем теперь мы знаем, что привлечение для объяснения чисто внешней аналогии способно ввести в заблуждение и дать неверную трактовку явления. В этом корень в целом критического отношения этноархеологов к аналогиям<sup>2</sup>. Но при этом одни из них, например П. Уотсон (5, с. 27—287), хотя и не без оговорок, считают сутью этноархеологии исполнение современных аналогий для интерпретации прошлого, а другие, в частности Р. Гоулд (3, с. 249—293; 7, с. 29—47), сводят роль метода аналогий к минимуму, а то и вовсе призывают отказаться от него.

Как бы то ни было, все этноархеологи признают использование реконструкций лишь тех аналогий, которые отражают не столько внешнее сходство отдельных фактов или явлений, сколько устойчивые связи между явлениями. Отсюда — встречающееся в этноархеологической

<sup>2</sup> Несовершенство метода этнографических аналогов отмечалось и в нашей литературе. См. *Перишц А. И.* Этнография как источник первобытноисторических реконструкций. — В сб.: *Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества*. М.: Наука, 1979, с. 35—36.

ратуре, например у Дж. Эберта, понимание аналогии не как результата, а как процесса (5, с. 60). Иными словами, речь здесь идет скорее об установлении аналогий, а, как пишет Л. Бинфорд, о выявлении конов и закономерностей, которые и порождают возникновение аналических ситуаций и структур (2, с. 452). По словам одного из ведущих оретиков-этноархеологов — М. Шиффера, главной задачей этноархеологии является формулирование законов человеческого поведения, и прежде всего в его связи с возникновением материальных остатков человеческой деятельности (3, с. 229—247). В этом и выражается своеобразие этноархеологического подхода к этнографическому материалу.

Этноархеология родилась тогда, когда вывод об ошибочности некритического переноса этнографических фактов на археологическую реальность был дополнен стремлением реконструировать аналогичные факты, исходя из самих археологических материалов, т. е. тех непосредственных свидетельств, которые дошли до нас от древних культур. Однако такие реконструкции требовали глубокого знания взаимосвязей между материальными остатками человеческой деятельности и всеми другими аспектами культуры. Единственным путем к выявлению этих связей было изучение их функционирования в живых обществах. Этим и занялись этноархеологи. Многие из них сетуют на то, что им придется работать за этнографов, которые в последние годы все меньше внимания уделяют изучению материальной культуры и вообще не учитывают при этом запросы археологов. Как ревниво пишет один из археологов, сейчас возникла возможность того, что этнография будет пастиорически развиваться за счет археологии<sup>3</sup>. Эти претензии нельзя считать до конца справедливыми, так как внимательное чтение этнографических работ позволяет извлечь ценнейшую информацию, имеющую прямое отношение к рассматриваемой проблеме. Да и иные этноархеологические публикации в своей значительной части мало чем отличаются от классических этнографических произведений. Вместе с тем нельзя не признать, что этноархеологи изучают поставленный вопрос целенаправленно и систематично, в чем видится немалый залог их успеха.

Как известно, переход от постановки принципиальной задачи к разработке путей ее решения, а тем более к воплощению их на практике далеко не прост. Среди этноархеологов до сих пор нет полного единства взглядов по поводу того, какой именно этнографический материал для каких реконструкций следует отбирать. Одно время считалось, что основные работы нужно проводить там, где отмечалась прямая преемственность между древними обществами, оставившими археологические памятники, и их современными потомками. В качестве примера подобного рода исследований можно привести известную статью Л. Бинфорда, посвященную анализу функций ямок-костищ в Иллинойсе, или, скажем, многолетние этноархеологические исследования на юго-западе США. Интересно, что даже в этой, казалось бы, наиболее благоприятной для реконструкций ситуации исследовательская процедура требовала весьма изощренных приемов и именно здесь традиционный метод прямых аналогий показал свою слабость<sup>4</sup>. Более широким подходом, раздвигающим возможности реконструкций, является изучение закономерностей жизнедеятельности обществ, обитающих в сходных природных и технологических условиях (5, с. 1).

Оба этих подхода представляются сейчас многим этноархеологам недостаточными (3, с. 185, 233). Дело в том, что даже при наличии преемственности между этнографической и археологической культурами

<sup>3</sup> Trigger B. Time and Tradition. Essays in Archaeological Interpretation. N. Y., 1978, p. 14. Этот упрек относится в большей мере к этнографам Запада. О том, что в этнографической науке существует иное положение, свидетельствуют специальные издания и подготовляемые (а частично уже вышедшие в свет) историко-этнографические атласы, в которых материальной культуре уделяется довольно много внимания.

<sup>4</sup> См., например, Binford L. R. An Archaeological Perspective. N. Y., 1972, p. 33—



сходные явления в силу изменившихся условий могут быть аналогичными лишь по внешности, тогда как их место в культуре и их содержание будут иными. Кроме того, сейчас лишь в немногих районах ~~мы~~ отмечается прямая связь между ныне живущим отсталым населением и его предками, обитавшими здесь же. Что же касается требования сопоставлять лишь те мертвые и живые общества, которые, отличающиеся одним уровнем развития, обитали в сходных природных условиях, то здесь не всегда оказывается возможным получить желаемый результат в силу фактора культурной вариативности — стоит хотя бы сопоставить все тех же бушменов-кунг и бушменов-ко. Конечно, можно возражать, что условия обитания кунг и ко не во всем идентичны: ко живут в более бедной природной обстановке с несколько иным водным режимом. Однако если мы будем учитывать такие мелкие второстепенные различия, которые, кстати, далеко не всегда выявляются по археологическим данным, то природные условия любого района мира будут выглядеть уникальными, ни с чем не сравнимыми. Помимо отмеченных трудностей, немаловажным недостатком двух отмеченных подходов является то, что они не позволяют реконструировать общества, обладавшие такими хозяйственными системами и обитавшие в таких природных условиях, которые вообще не имеют аналогий в современности. Стоит вспомнить хотя бы европейских палеолитических охотников на мамонтов, охотников и собирателей андийской пуны, палеолитических охотников-рыболовов и собирателей Нубии и т. д.

Столкнувшись с этими проблемами, многие этноархеологи пытаются сейчас их избежать, выявляя некие универсалии человеческого поведения и анализируя причины его вариативности. Как указывает М. Шиффер, следует изучать законы человеческого поведения по добыче и хранению пищи, по производству и использованию орудий, по освоению жилого пространства и т. д. Причем некоторые общие принципы поведения, связанные с неоседлым образом жизни, можно встретить не только у отсталых охотников-собирателей, но и у туристов и сезонных рабочих (3, с. 241—245). В данном случае речь идет о блоке причинно-следственных связей, нейтральном по отношению к формационной принадлежности. Однако это вовсе не означает отсутствия у этноархеологов исторического подхода, хотя абсолютизация некоторых из отставаемых ими принципов действительно может привести к отходу от историзма. Тот же М. Шиффер специально оговаривается, что есть и специфические законы поведения, проявляющиеся только в отсталых обществах (3, с. 241). Многие этноархеологи обращают особое внимание на изменения традиционного поведения и причины этих изменений в современной ситуации. Тем больший интерес их работы представляют для этнографов, занимающихся этнокультурными процессами. Для самих же этноархеологов эта динамическая картина важна не сама по себе, а как источник для установления закономерностей человеческого поведения и его вариативности.

Впрочем, среди этноархеологов еще нет единого понимания того, какие именно законы человеческого поведения следует изучать и как их можно использовать для реконструкций. Если, по М. Шифферу, задачей этноархеологов является в первую очередь установление общих законов, а уже во вторую — частных закономерностей (3, с. 239—241), то Р. Гоулд, по-видимому, придерживается прямо противоположного. Согласно Р. Гоулду, следует различать законы и процессы: первые неизменны, вторые могут меняться. Он считает, что этноархеологам гораздо полезнее изучать процессы, их условия, причины и механизмы, так как именно это позволяет реконструировать специфический облик некоторых аспектов («адаптивных систем») древних культур (3, с. 251—253; 7, с. 32 и сл.). Можно понять стремление Р. Гоулда повысить точность реконструктивной процедуры и даже согласиться с его предложениями относительно ее конкретной методики, однако совершенно невозможно разделить его узкое понимание таких категорий, как «закон» и «аналогия». Противопоставление закона и процесса не имеет смысла

так как это категории совершенно разного ранга: любой процесс подчиняется действию той или иной закономерности. С этой позиции следует оценивать и такую оговорку Р. Гоулда, что, мол, «отказ... от законов еще не означает отказа от поиска общих принципов человеческой деятельности» (7, с. 39). А что такое «общие принципы человеческой деятельности», как не те же законы? Р. Гоулд призывает отказаться от стремления изучать лишь законы, которые поневоле ориентируют нас на изучение только регулярностей в первобытной деятельности» (7, с. 42), но при этом не замечает, что случайность является не чем иным, как формой проявления необходимости, а отклонения от нормы всегда так или иначе объяснимы именно с точки зрения закономерностей.

Несмотря на явную метафизичность его общих формулировок, в целом ясно желание Р. Гоулда выявить существенные связи между явлениями, которые позволят восстановить не только древние структуры процессов, аналогичные наблюдаемым ныне, но и такие, которые сейчас не встречаются. Правда, и здесь Р. Гоулд впадает в определенную крайность, заявляя, что обнаружение различий между современными и древними обществами важнее, чем установление их сходств (7, с. 35). Действительно, нам важно выяснить, что именно происходило в прошлом иначе, чем ныне, но, думается, не менее важно и установление единства общности. Да и почему, собственно, в древности исключительно все должно было выглядеть не так, как в современных условиях, особенно если речь идет о доживших до наших дней обществах с весьма архаичной социокультурной структурой?

Выступая против традиционного метода аналогий, Р. Гоулд выдвигает в противовес ему «метод суждения по контрасту», или «метод аномалий» (3, с. 253—254; 7, с. 138 и сл.). Исходя из теоретической посылки о том, что человеческое поведение адаптивно, Р. Гоулд ищет в культуре аборигенов Австралии такие факты, которые трудно объяснить с позиций здравого смысла, средствами формальной логики. Например, аборигены Западной пустыни изготавливали отдельные орудия из сырья, происходившего из отдаленных местностей, хотя в их собственных районах имелся камень, иногда даже лучшего качества. Объясняется это наличием широкой социальной сети, включающей важные племенные пункты, где и добывалось указанное «экзотическое» сырье. Установив эту черту современной культуры аборигенов, Р. Гоулд пытается с той же позиции трактовать находки изделий из «экзотического» сырья, встреченные им при раскопках стоянки Пунтучьярпа, и приходит к существенному выводу о том, что широкие социальные связи установились между аборигенами Западной пустыни еще 10 тыс. лет назад (3, с. 288; 7, с. 157). Разработанный Р. Гоулдом метод суждения об аномалии, безусловно, интересен и полезен. Однако трудно соглашаться с этим автором в резком противопоставлении такого метода методу аналогий. На самом деле «аномалии» Р. Гоулда являются не чем иным, как частным видом аналогий. Ведь аналогичными могут быть не только нормы, но и отклонения от них. В данном случае речь идет об аналогичных аномалиях: установив аномалию в современном обществе аборигенов, Р. Гоулд находит аналогичную ситуацию здесь же в древности. Более того, описанная черта австралийской культуры представляется нам аномалией именно потому, что не вяжется с нашим пониманием адаптивности и, с нашей точки зрения, неутилитарна. В этом смысле Р. Гоулда можно видеть рецидив европоцентризма, так как, с точки зрения тех же аборигенов, эта черта аномалией отнюдь не является. По сути дела, она и подобные ей факты древних культур представляются Р. Гоулду (и не только ему) аномалиями только потому, что их нельзя объяснить прямо, исходя из экологии и непосредственных потребностей первобытного хозяйства, а следует учитывать и определенные социальные факторы.

Подойдя вплотную к характеристике человеческого поведения, этноэкологи столкнулись с фактом его крайней вариативности, и перед

ними снова встала проблема соотношения общего и особенного. Стоит ставляя свои наблюдения с этнографическими концепциями культурных они обнаружили резкие несоответствия между среднестатистическими параметрами, иначе говоря, нормами, в которых до сих пор принято было описывать культуру, и порой весьма значительными отклонениями от них, наблюдающимися в реальной действительности. Это послужило началом целой кампании, развернутой этноархеологами (Дж. Йеллен, Л. Бинфорд, Р. Гоулд, Я. Ходдер и др.) против этнографических концепций, на их взгляд, не удовлетворявших потребностям археологии (1, с. 48—51; 2, с. 3—4, 456—457; 3, с. 6—7; 7, с. 40—47, 250; 4, с. 16—18, 199 и др.). Действительно, характеризуя хозяйственную деятельность, разделение труда, брачные нормы и локальность брачного поселения, социальные взаимоотношения и т. д., этнограф неизбежно оперирует нормативными категориями и обычно лишь вскользь упоминает об отклонениях от нормы. Археолог же часто имеет дело с остатками индивидуальной деятельности, и, чем фрагментарнее его материалы, тем в большей степени этот фактор воздействует на них. Как показали этноархеологические исследования Дж. Йеллена, Л. Бинфорда и Р. Гоулда чем мельче и кратковременней была стоянка у охотников и собирателей, тем сильнее ее материал отличался от среднестатистического (1, с. 7). В этом случае по облику материальной культуры мелкие стоянки могли значительно отличаться одна от другой, но, как указывает Л. Бинфорд, эта вариативность была связана не с системными (культурными) различиями, а с разными состояниями одной и той же системы (с. 3—4).

А вот другой пример. В идеале при условии матрилокальности или матрилинейности обучение девушек ведется матерями или по крайней мере женщинами из того же рода или родового подразделения. Как скоро эта норма жестко соблюдается на практике, материальные остатки деятельности по производству керамики дают важную археологическую информацию о расселении отдельных родов и их подразделениях. На самом деле, как показал М. Станиславски, работавший у индейцев пуэбло, обучение ведется местами не только по родственным, но и по брачным каналам, а иногда оно охватывает людей, вовсе не состоящих в родстве. В итоге единый керамический стиль может быть свойственным не только разным родам, но даже и разным этнолингвистическим группам. В частности, обитающие по соседству хопи и хопи-теуа, отличающиеся по ряду важных аспектов культуры и считающие себя разными этносами, оказываются совершенно сходными по облику их глиняных сосудов (3, с. 201—227; 4, с. 61—76). А ведь керамика часто является самой массовой, а иногда и единственной категорией археологических находок!

Кроме того, определенные экологические, демографические и социальные факторы могут в конкретных условиях существенно влиять на воплощение определенных культурных норм в реальности. При невозможности строго следовать этим нормам на практике люди, однако, могут строить на них свою идеологию. И их опрос в этом случае знаком нам не столько с реальными фактами поведения, сколько с идеальной моделью, соответствующей, по их мнению, местным культурным ценностям. Этот (отмеченный М. Станиславски) факт, заставляющий людей жить в отлученности от отождествления идеальных норм с их фактической реализацией, предупреждает против встречающегося еще безусловного предпочтения метода сбора устной информации и анкетирования методу посредственного наблюдения (3, с. 203—207). Что же касается этноархеологов, то для них наблюдение является главным средством получения информации.

Столкнувшись с проблемой несоответствия идеальных норм и общественной практики, этноархеология постепенно раздвинула рамки своей проблематики. Если ее рождение было связано со стремлением усовершенствовать процедуру первобытноисторических реконструкций, то теперь некоторые из этноархеологов поставили перед собой задачу коррек-

ровки картины, полученной методом опроса. Этому, например, была посвящена работа этноархеологического отряда во главе с У. Ретджи в американском городе Таксоне, где изучение помоек показало, что инюрматоры так или иначе искажали объективную картину потребления ива и некоторых других товаров. А это в свою очередь помогло выявить причины таких искажений (3, с. 49—75). В настоящее время подобного рода исследования, начатые в Гавайском и Аризонском университетах, охватили многие сферы быта и материальной культуры капиталистического мира. Они показали, что глубокое и детальное изучение материальной культуры может приоткрыть завесу над такими аспектами общественной жизни, которые ускользали от этнографов, работавших традиционными методами (9).

Изучая реальную человеческую деятельность и ее корреляцию с материальной культурой, этноархеологи стремятся уловить прежде всего объективную картину и наметить в первую очередь те более или менее жесткие связи, на которые можно было бы полагаться при реконструкциях. Поэтому не случайно в центре внимания современных этноархеологов находятся сферы культуры, теснее всего связанные с базисом. Это — хозяйство, система расселения, демография. Особенности хозяйства охотников и собирателей в целом и связанная с сезонным хозяйственным циклом система их расселения подробно исследуется в монографиях Дж. Йеллена (1), Л. Бинфорда (2) и Р. Гоулда (7), а отдельным аспектам этих широких проблем посвящены некоторые статьи и монографии других авторов.

Так как керамика является массовым материалом во многих археологических коллекциях, многие этноархеологи занимаются изучением процессов производства и характера использования глиняных сосудов, а также условий их превращения в отбросы. На примере самых разных этносов (индейцев Центральной Америки и Амазонии, ирокезов, индейцев-пуэбло и африканцев Западной Африки) это анализируется в работах Д. Арнольда (4, с. 39—59), М. Хардин (5, с. 75—101), У. Энджелбрехта (4, с. 141—152), М. и Б. Станиславски (3, с. 201—227; 4, с. 61—76), У. Дебоуера и Д. Лэтрапа (5, с. 102—138), Л. Кроссленда и М. Познански (4, с. 77—89).

Многие выводы этих авторов заставляют либо пересмотреть, либо существенно уточнить концепции, до сих пор бытующие в археологической литературе. Выше уже отмечалась неправомерность безоговорочного соотнесения отдельных типов керамики с какими-либо конкретными этнолингвистическими или этнографическими группами. К этому заключению помимо М. и Б. Станиславски, пришли и многие другие авторы, отметившие широкое распространение специфических типов сосудов в результате как обмена, так и заимствования технических приемов. Вместе с тем у некоторых групп ирокезов (например, у эри) керамическое производство отличалось действительно высокой степенью индивидуальности, а в ряде мест Центральной Америки и Амазонии обмена сосудами не отмечалось и между соседними общинами и керамические комплексы даже в пределах диалектной группы отличались своеобразием.

Другим важным итогом работ этноархеологов является вывод о том, что изменения стиля орнаментации сосудов прямо не связаны с какими-либо более общими культурными изменениями и могут происходить по субъективным причинам. Вообще, как неожиданно выяснилось, ангобирование и орнаментирование керамики имеют гораздо меньшее этнокультурное значение, чем принято считать, и мало учитываются в народных системах классификации керамики. Местные классификации строятся прежде всего по таким параметрам, как естественный цвет, форма и размер посуды, и именно эти показатели являются внешними индикаторами функции отдельных изделий. Это наблюдение, несомненно, поможет археологам в выработке более надежных систем классификации. Интересно, что у некоторых народов определенные сосуды используются только определенными половозрастными группами насе-

ления. Так, в Западной Африке удалось выявить мужские и женские сосуды, а у индейцев западной Амазонии замысловато украшенные кружки употреблялись на праздниках только детьми и стариками. Изучая процесс производства керамики, этноархеологи заметили, что она далеко не всегда ведется индивидуально: у некоторых народов в ней участвует целая группа женщин, каждая из которых производит особую операцию, в ряде случаев речь идет о разделении труда между супругами, а иногда роспись уже готовых сосудов доверяется только специалистам-художникам. Все это ставит проблему соотношения коллективного и индивидуального творчества даже тогда, когда на готовом изделии казалось бы, стоит метка его создателя.

Другой важной археологической категорией являются каменные орудия. Характер их производства и использования, проблема получения сырья и обмена готовыми изделиями, а также некоторые другие стороны орудийной деятельности, следы которой могут пролить свет на специфический облик древних культур, рассматриваются в монографиях Р. Гоулда (7), Б. Хейдена (6) и А. Стинсберга (8), а также в статьях Дж. Уайта и Н. Модьески (4, с. 25—38), Р. Трингэм (3, с. 169—199), Р. Карнейро (5, с. 21—58) и Дж. Эберта (5, с. 59—74). Эти исследования показывают, что большинство каменных орудий служило для производства орудий из дерева. При этом, например, для аборигенов Австралии и папуасов функция орудия определялась прежде всего углом режущего края, что далеко не всегда коррелировалось с размером, формой, сырьем и даже характером ретуши, т. е. с параметрами, которые учитываются археологами для построения классификации в первую очередь. Кроме того, применявшиеся для работы орудия далеко не всегда ретушировались. Чрезвычайный интерес представляют данные Р. Гоулда о различных орудийных однообразных пользования и многофункциональных орудий, служивших человеку многократно. Первые изготавливались аборигенами на месте работы из подсобного материала и тут же по окончании работы выбрасывались, а вторые производились из доставленного издалека сырья и высоко ценились. По подсчетам Р. Гоулда, 99,95% каменных орудий аборигенов Западной пустыни относились к первой категории. Однако, так как они использовались вне базовой стоянки, основная часть найденных на ней орудий относилась к многофункциональным, составлявшим лишь 0,05% всех орудий аборигенов (7, с. 132). Р. Гоулд произвел расчеты потребности каждого мужчины в различных орудиях в течение года, однако следует помнить, что выведенные им показатели имеют среднестатистический характер, так как по данным Дж. Уайта и Н. Модьески о папуасах, разные мужчины в зависимости от своего искусства могли использовать и разное количество орудий (от нескольких штук до нескольких сотен!).

Важными представляются и наблюдения Б. Хейдена, отметившего некоторые различия в использовании каменных орудий мужчинами и женщинами у австралийцев (6, с. 12—14).

Изучение хозяйственных систем, помимо Дж. Йеллена, Л. Бинфорда и Р. Гоулда, проводилось П. Керчем на полинезийских материалах (3, с. 103—125), а на материалах полукочевников-луров — Ф. Хоулом (3, с. 127—167; 5, с. 192—218). Е. Мессер рассмотрела более частную проблему — собирательство диких растений у земледельцев-сапотексов Мексике (5, с. 247—264), а М. Джохим, исходя из экологических и этнографических данных о рыболовах умеренного пояса, попытался нарисовать теоретическую модель, пригодную, по его мнению, для реконструкции хозяйства и социальной организации мезолитического населения Центральной Европы (5, с. 219—246). Из указанных исследований наибольший интерес представляет, пожалуй, работа Л. Бинфорда, который, взяв за основу только один элемент хозяйственной системы — остатки костей добытых охотниками животных, продемонстрировал, как по нему можно реконструировать всю систему в целом. Монография Л. Бинфорда показывает, что в потенции археологические источники, в данном случае остеологические остатки, способны снабдить исследова-

теля гораздо более подробной информацией, чем та, которую мы до сих пор умели от них получать.

Монография А. Стинсберга (8) не ставит своей целью осветить хозяйственные системы папуасов Новой Гвинеи в целом, но в ней под археологическим углом зрения рассматриваются некоторые интересные моменты и детали производственных процессов (изготовление и облик топоров и тесел, рубка деревьев, земледельческая техника, строительство домов и заборов, приготовление пищи и т. д.). Путем сопоставления с новогвинейской техникой автор пытается дать новую интерпретацию некоторым аспектам неолитической культуры Северной Европы.

В статьях К. Кремер (5, с. 139—163), У. Самнера (5, с. 164—174) и Л. Джекобс (5, с. 175—191) анализируется процедура демографических реконструкций. На материалах современных иранских поселений эти авторы показывают неоднозначность выводов, которые можно получить по остаткам поселков и отдельных жилищ. Собранные ими факты со всей очевидностью предупреждают против поспешных реконструкций частной демографической картины, исходя из общих среднестатистических показателей. Так, если средние размеры домохозяйств в поселках Шахабад и Телли-Нун составляли, по К. Кремер и Л. Джекобс, соответственно 6,2 и 8,75 человек, то вообще в Иране эта цифра, по У. Самнеру, колебалась в пределах 4,2—5,9 человек. Большой интерес представляет также вывод К. Кремер о том, что в земледельческо-скотоводческом поселке о количестве населения следует судить прежде всего по площади жилых помещений, а о богатстве отдельных больших семей — по общей площади их домохозяйств. Важен и тот подчеркнутый этой исследовательницей факт, что, хотя отдельные нуклеарные семьи имеют свои собственные комнаты и очаги, приготовление пищи и трапезы являются коллективным делом всех членов большой семьи (домохозяйства). Той же тематике посвящена работа Дж. Эйгми (9, с. 225—233), который пришел к выводу, что на протяжении только одного поколения демографическая структура общины в некоторых случаях может существенно измениться.

Не меньшую сложность представляют демографические расчеты по остаткам стоянок охотников-собирателей. Дж. Йеллен показал, что следует рассматривать порознь два параметра — размер всей стоянки и размер территории, занятой жилищами. По первому можно судить о долговременности стоянки, а по второму — о размере общины. У бушменов-кунг каждая хижина принадлежала, как правило, одной семье и редко отдельным индивидам (холостякам, вдовцам и пр.). Однако размер хижины при этом менялся мало, и для двух взрослых людей требовалось столько же места, сколько для одного взрослого или для двух взрослых и четырех детей (1, с. 115—126). Несколько иная картина, по данным Р. Гоулда, встречалась у аборигенов Западной пустыни. Там семейные хижины отличались более крупными размерами, чем жилища одиночек. И еще один примечательный факт: в семейном жилище могло встречаться несколько очагов (7, с. 10). Он свидетельствует против бытующей в археологической литературе тенденции жестко связывать число очагов с числом парных семей.

Уже не раз отмечалось, что в процессе превращения живой культуры в мертвую материальный облик культуры претерпевает необратимые структурные изменения и был бы по меньшей мере неосторожно некристически использовать материальные остатки для прямых реконструкций. Однако до недавнего времени мало кто пытался на практике проследить особенности процесса умирания живой культуры. Теперь эту задачу взяли на себя этноархеологи и добились на этом поприще довольно заметных результатов. Выше уже отмечался «парадокс Гоулда»: преобладание на базовых стоянках аборигенов именно тех орудий, которые составляли незначительный процент всего орудийного набора. Как показано в ряде других работ, люди бережно относились к особо ценным орудиям многократного употребления. Поэтому находки такого рода — а это касается прежде всего металлических орудий — во многих случаях

представляя огромную редкость, хотя использование таких орудий было регулярным. Следовательно, процентное соотношение разных категорий вещей среди археологических находок не является прямым выражением их утилитарной роли в культуре. Например, у папуасов всегда имелся большой запас топоров, чем требовалось в каждый данный момент для работы. У индейцев Южной Америки и у индейцев-пуэбло был отмечен тот факт, что разные типы глиняных сосудов приходили в негодность с разной регулярностью: чаще разбивались сосуды для еды и питья и кухонные, реже — сосуды-хранилища. Таким образом, наибольшее количество черепков происходило именно от первых категорий. На о-ве Сан-Кристоваль поломанные рыболовные крючки по традиции выкидывались в море, следовательно, их отсутствие в археологических коллекциях не означает отсутствия здесь рыболовства. Эскимосы-нунамиут предпочитают охотиться главным образом на самцов северного оленя, но деликатесом считают головы самок и оленят. Поэтому тот, кто попытается судить об их добыче по остаткам черепов животных на стоянках, получит крайне искаженную картину. Таков лишь небольшой перечень отмеченных этноархеологами фактов, свидетельствующих о влиянии культурных факторов на процесс превращения отдельных категорий вещей в археологические источники.

Однако эти факторы были далеко не единственными. Другая группа не менее важных факторов была связана с разрушительным влиянием природной среды. Как подчеркивает Дж. Йеллен, остатки мелких временных охотничьих стоянок бушменов очень быстро исчезают, и, видимо, не случайно археология позднего каменного века Южной Африки знает только крупные стоянки у источников воды (1, с. 80). Напротив, у эскимосов-нунамиут временные охотничьи стоянки, которые многократно посещались, оказывались лучше обеспеченными археологическими материалами, чем базовые стоянки, редко обживавшиеся вторично (2, с. 490—491). В специальном исследовании, проведенном Д. Джи-ффорд в Кении, хорошо показано, как по-разному сохраняются остатки скотоводческих лагерей и охотничье-рыболовческих стоянок, расположенных в разных природных условиях. Вторые находятся в тех местах, где интенсивные природно-климатические и геологические процессы ведут к быстрому накоплению осадков и погружению вещей в почву. Поэтому они имеют шансы в гораздо менее поврежденном виде дожить до будущих археологов, чем места обитания скотоводов, где материальные остатки сильно разрушаются, долго находясь на поверхности. В результате археологическая информация о 15% местного населения будет гораздо более полной, чем об остальных 85% (3, с. 77—101). Столь губительно некоторые природные и культурные процессы отражаются на земледельческих поселках папуасов Новой Гвинеи: через несколько лет после ухода оттуда людей на месте таких поселков почти ничего не остается. Все это, кстати, должно охладить пыл некоторых этноархеологов, искренне верящих, что по остаткам материальной культуры когда-нибудь станет возможным восстанавливать облик древних обществ во всем объеме. Так, например, детально разработанная Л. Бинфордом методика реконструкции хозяйственного цикла по костным остаткам остается пока что неприменимой для многих археологических исследований ввиду плохой сохранности остеологических материалов.

Считая своей конечной целью установление четких правил для интерпретации археологических материалов, этноархеологи попутно делают наблюдения, весьма полезные и для этнографов. Это касается, например, проблемы отражения этнического фактора в материальной культуре. В археологической литературе издавна бытует убеждение в более или менее жесткой связи между группой гомогенных археологических комплексов («археологическая культура») и этносом. И хотя в теоретических исследованиях последних лет высказывается критическое отношение к этому постулату, только этноархеологам удалось изучить степень его достоверности на практике. Такая задача стояла, в частности перед авторами вышедшего в Англии сборника «Пространственная ор-

низация культуры» (4). Многие из них, и прежде всего составитель сборника Я. Ходдер, пришли к выводу о том, что на распространение различных элементов материальной культуры влияет не только и даже не столько этнический фактор, сколько разного рода производственные, социальные, религиозные и другие мотивы. Поэтому разные категории вещей могут распространяться очень по-разному и по их ареалам трудно бывает составить правильное впечатление о границах этносов. Тем больший интерес представляет изучение этих ареалов, говорящих о самых разных сторонах жизнедеятельности общества и их взаимосвязях, а не только и не столько об этнических границах. Я. Ходдер предполагает, что древние этнические группировки в некоторых случаях удастся вычленить по находкам так называемых «нефункциональных» элементов культуры (4, с. 253).

В принципе с этим можно согласиться, однако, судя по данным исследований других этноархеологов, этнический фактор проявляется часто именно в действиях или в таких их результатах, которые не находят отражения в археологических остатках. Например, сравнив данные некоторых групп австралийцев, бушменов, эскимосов и навахов, И. Бинфорд установил, что каждый из изученных народов производит поделку туши убитого животного по-своему (2, с. 87—89). В отдельных обществах папуасов Новой Гвиней и индейцев Южной Америки этнические различия проявлялись, в частности, в насадке каменных топоров на рукояти, хотя форма самих топоров отличалась единством (4, с. 30; 5, с. 24). Впрочем, детальный анализ папуасских материалов показал, что по этому признаку (креплению топоров к рукоятям) можно выделить довольно крупные культурные районы, каждый из которых включает по несколько этносов. И напротив, как показал А. Стинсберг, одного этноса может встречаться сразу два разных способа крепления топоров (8, с. 15—23). В разных районах Австралии, по данным Р. Гоулда, специфические наконечники-кимберли распространялись из единого центра к самым разным группам аборигенов, но использование их в разных районах различалось: в одних местах они предназначались для охоты, в других — для черной магии, а кое-где — для инициации юношей (7, с. 141—143). Иногда, утратив свой практический смысл, традиция надолго закреплялась и приобретала этническое значение. Л. Бинфорд наблюдал это у эскимосов-нунамиут в их обычаях, связанных с поеданием грудинки (2, с. 220), а Р. Гоулд — у аборигенов Западной пустыни, которые, сознавая полезность бурдюков для воды у их соседей, не стремились завести у себя такие же (7, с. 247—249). Д. Джиффорд зафиксировала интересные особенности этнического поведения в Восточной Африке: если некоторые скотоводы Кении проявляли очень бережное отношение к предметам материальной культуры и на их выброшенных стоянках оставались в основном лишь пищевые отбросы, то у масаев количество выброшенных или забытых вещей достигало того объема, что и весь остальной мусор (3, с. 90).

Напротив, как продемонстрировал М. Станиславски на примере индейцев-хопи и хопи-теуа, орнамент на керамике далеко не всегда служит надежным этническим признаком. В еще меньшей степени можно полагаться в этом отношении на общий облик хозяйства. Последнее хорошо показал П. Керч, по данным которого даже на расположенных в непосредственной близости островах полинезийцы выработали различные хозяйственные системы, на что определенное влияние оказали природные демографические и социально-политические факторы.

Не меньший интерес для этнографов должны представлять наблюдения этноархеологов над процессами культурных изменений в современную эпоху и их влиянием на этническое поведение. Эта область исследования является для этноархеологов важной не только потому, что она предостерегает против некритического переноса в прошлое некоторых особенностей современной ситуации, но главным образом потому, что она позволяет уловить закономерности в изменении поведения и его материального отражения в условиях меняющейся среды. Тем самым



удается особенно отчетливо выявлять факторы, влияющие на выбор той или иной модели поведения. И, по справедливому замечанию Л. Бинфорда (2, с. 452), какой бы уникальной ни казалась ситуация, в ней всегда обнаруживается действие каких-либо общих принципов. С. Л. Бинфорд довольно удачно показал, как распространение собачьих упряжек, азросаней, ружей, введение новых способов хранения мяса, возрастание оседлости, развитие пушного промысла, появление новых источников питания и т. д. повлияли на систему хозяйства эскимосов-нунамиут, на их отношение к некоторым видам животных, а также на характер фаунистических комплексов на заброшенных стоянках. И тем не менее многое в культуре эскимосов осталось прежним (хозяйственная роль северных оленей и охоты на них, значение запасов мясной пищи, знания об окружающей природной среде, некоторые особенности сезонного хозяйственного цикла и системы расселения и т. д.). Более того, как предполагает Р. Гоулд, в условиях контакта с современной цивилизацией у охотников и собирателей определенные этнические традиции могут консервироваться и гипертрофироваться. Например, у многих австралийских аборигенов в этой обстановке возросла роль церемониального обмена и вообще церемониализма (7, с. 155).

Давая общую оценку этноархеологии как одной из методик современной археологии, нельзя не признать известную значимость этого явления. В особенности следует учитывать открываемые ею возможности в выявлении системных взаимосвязей между отдельными подразделениями культуры, ибо решение этого вопроса, поставленного функционалистами, давно назрело. Существенным представляется тот факт, что сами потребности исследования обуславливают материалистический подход, и это с каждым годом осознается этноархеологами все более отчетливо. Поэтому не случаен усиливающийся у них интерес к марксизму, как показала проходившая в 1976 г. в Англии специальная конференция, посвященная кооперации археологов и этнографов в решении общих культурологических задач<sup>5</sup>.

Вместе с тем в сфере частных задач этноархеологам предстоит сделать еще очень многое. Далеко не все из них учитывают природный фактор, воздействующий на материальные остатки культуры и способствующий их дальнейшему разрушению. В ряде случаев некоторые специалисты довольствуются беглым поверхностным осмотром заброшенных стоянок и поселений, хотя на самом деле здесь необходимы настоящие раскопки. Отдельные исследователи занимаются этноархеологией как бы между делом и поэтому ограничиваются весьма узкой тематикой. Особенно ярко это проявилось в книге А. Стинсберга (8) и сборнике «Современная материальная культура» (9). Последний интересен тем, что его авторы ставили своей целью выявить некоторые принципы соответствия человеческого поведения и его осязаемых результатов путем изучения жизнедеятельности представителей современных по большей части высокоразвитых обществ. Велось, например, наблюдение за расстановкой товаров в крупном универмаге, исследовалось содержание лавочки китайского лекаря в Гонолулу, проводились эксперименты с полочкой разнообразных вещей из современных материалов и т. д. По замыслу авторов, полученные результаты должны помочь археологам в интерпретации их находок. Проведенная работа представляется, безусловно, полезной, но полученные выводы были сформулированы для каждого случая отдельно и пока что не подкреплены какими-либо более широкими и представительными обобщениями.

Подобного рода узкие исследования, естественно, не дают возможности ставить вопрос о многочисленных весьма сложных связях, объединяющих различные подсистемы культурной системы. Еще более важно, что законы, управляющие культурной системой и отдельными ее подразделениями, не сводятся только к тем законам поведения, которые влекут появление материальных остатков. Законы, способствующие

<sup>5</sup> Archaeology and Anthropology: Areas of Mutual Interest./Spriggs M. Oxford, 1977

подлению мертвой материальной культуры, необходимо знать лишь столько, сколько материальная культура входит в ту или иную культурную подсистему. Но для реконструкции последней необходим более широкий культурологический подход, учитывающий, в частности, этноаффриканские концепции, от которых многие современные этноархеологи слишком поспешно пытаются отказаться<sup>6</sup>. И здесь мы сталкиваемся с главным, на наш взгляд, недостатком этноархеологии как одного из направлений современной западной археологии. Этот недостаток, а точнее методологический порок состоит в том, что, находясь в своем большинстве на неопозитивистских позициях абсолютизации источниковедческой процедуры, этноархеологи не в состоянии найти необходимый «баланс» между организующей ролью теории и корректирующей ролью фактики. Поэтому несравненно более перспективными представляются варианты на марксистской методологии исследования археологов СССР, которые ищут пути совершенствования процедуры исторических реконструкций, стремясь глубже понять органичные связи между культурными остатками и функционирующими культурными системами.

<sup>6</sup> Об этом см. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М.: Наука, 1983, с. 67—68.

**С. А. Маретина**

#### **ВАЖНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАНИЕ \***

Увеличивающийся с каждым годом поток этнографической литературы ставит перед учеными ряд важнейших задач: налаживание надежного учета, выработка общеприемлемой систематизации публикаций, организация регулярного обмена информацией. При обилии выходящих ежегодно из печати работ, при постоянно растущих темпах развития науки практически очень трудно, а по ряду дисциплин и невозможно следить за публикациями по интересующей ученого проблеме даже в своей стране (особенно выпущенными не центральными издательствами и появившимися в непрофильных изданиях), не говоря уже о зарубежных.

За последние годы появился ряд библиографических изданий — региональных, таких, как «Американистская библиография»<sup>1</sup>, «Антропологическая библиография Южной Азии»<sup>2</sup> и мн. др., ведомственных, к числу которых относится такое полезное издание, как «Библиография трудов Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР 1900—1962»<sup>3</sup>. Появились и библиографии более широкого профиля, например «Демос», который с 1960 г. стал выходить как «Международная этнографическая и фольклористическая информация»<sup>4</sup>. Это реферативное периодическое издание социалистических стран Европы (в том числе СССР), в котором печатаются рефераты работ по этнографии и фольклору, а также хроники научной жизни стран-издателей.

Продолжается издание представительного библиографического справочника «Международная фольклористическая библиография»<sup>5</sup>, нача-

\* International Bibliography of Social and Cultural Anthropology/Prepared by the International Committee for Social Science Information and Documentation. V. 1—24. N. Y.: 1958—1981.

<sup>1</sup> Bibliographie américaniste. P., Musée de l'homme. 1967.

<sup>2</sup> Fürer-Haimendorf E. von. An Anthropological Bibliography of South Asia. Paris—Naye, 1958.

<sup>3</sup> Библиография трудов Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, 1900—1962. Л.: Наука, 1967.

<sup>4</sup> Fürer-Haimendorf E. von. Internationale ethnographische und folkloristische Informationen. B., 1960—1981.

<sup>5</sup> Internationale volkskundliche Bibliographie. Strassburg, 1919—1981.

тая еще в 1917 г., в которой также широко представлены работы советских фольклористов. Основное место в ней занимают работы по еврейским языковым ареалам, трудам народов других континентов уделяено значительно меньше внимания.

К 50-м годам нашего века стала очевидна необходимость информативного издания по мировой этнографии — универсальной международной библиографии, с помощью которой можно было бы получить картину состояния мировой этнографической науки. При поддержке ЮНЕСКО был создан Международный комитет информации и документации по социальным наукам. В его программу входит выпуск ежегодных международных библиографий по основным социальным наукам (по принятой на Западе классификации). В 1952 г. был начат выпуск «Международной библиографии социологии»<sup>6</sup>, в 1964 г. — «Международной библиографии политических наук»<sup>7</sup>, в 1955 г. — «Международной библиографии экономических наук»<sup>8</sup>.

В 1956 г. делегатами V Международного конгресса этнографических наук (Филадельфия, 1956) были выработаны рекомендации для издания библиографии по этнографии. Был образован Международный консультативный совет (с центром в Париже), в который вошли крупнейшие этнографы мира — К. Леви-Стросс (Франция), М. Херсковиц (США), Б. С. Гуха (Индия), Э. Ишида (Япония) и др. От Советского Союза членом совета стал Д. А. Ольдерогге.

Первый том «Международной библиографии по социальной и культурной антропологии» был опубликован в 1958 г. под редакцией Ж. Биландье (Париж) и Дж. Миддлтона (Лондон). Начиная с шестого тома и поныне постоянным генеральным секретарем издания является Жан Мейриа. Библиография, выходящая ежегодно, двуязычна, редакторские тексты и аппарат даются на английском и французском языках. Уже опубликовано 26 томов библиографии, с каждым годом они становятся все более информативными: если в первом томе было приведено 3563 названия работ, то, например в 23-м — уже 6873.

По широте охвата публикаций, по продуманности и логичности систематизации, по высокопрофессиональному методическому уровню рецензируемая библиография занимает особое место среди региональных и отраслевых библиографий. Как сказано в предисловии последнего из вышедших томов, эта библиография «представляет собой поистине наиболее совершенное средство для получения глобальной информации в публикациях предыдущего года по данной области во всем мире» (т. 24 с. VII). И далее: у этнографов теперь есть «централизованная библиографическая память, концентрированная и легкодоступная» (там же).

Считаем важным подчеркнуть тот факт, что в «Библиографии» широко представлена советская этнографическая наука: с выхода первого тома постоянным участником издания является Институт этнографии АН СССР, возглавляющий этнографические учреждения нашей страны. Это специально отмечено в редакторском предисловии к последним томам.

Приступая к работе, составители «Библиографии» отчетливо осознавали трудности, которые перед ними стояли. Этнография — наука комплексная, диапазон ее крайне широк: здесь и этнонациональные вопросы и этногенез, и экономические (собственность, хозяйство и пр.), и искусствоведческие (танцы, музыка и пр.), и многие другие проблемы. В зарубежных исследованиях обычно выделяют два направления этнографии — культурную и социальную антропологию<sup>9</sup>, что отразилось в названии библиографии, но не в схеме классификации материалов книги.

<sup>6</sup> International Bibliography of Sociology. V. I, P., 1951 (publ. 1952).

<sup>7</sup> International Bibliography of Political Sciences. V. I, P., 1952 (publ. 1954).

<sup>8</sup> International Bibliography of Economics. V. I, P., 1952. (publ. 1955).

<sup>9</sup> Критический разбор разделения антропологии на культурную и социальную содержится в книге: Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии. М.: Наука, 1981, с. 101—106.

Определяя задачи библиографии, составители в предисловии к первому тому выделяют три фазы этнографических исследований: «этнографическая — чисто описательная, этнологическая — первая попытка попытка синтеза (топографического, исторического или систематического), антропологическая, смысл которой — увидеть за локальными различиями общие черты, характерные для всех существующих обществ» (т. I, с. 7). Библиография ориентирована в первую очередь на две последние фазы, т. е. акцент в ней делается на работах исследовательского и синтетического характера. Такое разделение и противопоставление понятий «этнография — этнология — антропология» — не в традициях советской науки<sup>10</sup>, но в данном случае для нас важен предпочтительный интерес составителей к обобщающим, а не описательным функциям рассматриваемой дисциплины.

Немалую сложность представляет и задача — собрать работы «без личных пристрастий к той или иной этнологической школе» (т. I, с. 11). Как отмечается во введении к первому тому, с первых шагов обнаружилось различие в ориентации научных школ: британские ученые стремились за ограничение сферы библиографического исследования и расширения социологического, французы же выступали за более широкий эмпирический охват, включая археологию и фольклор (т. I, с. 12). В таких случаях составители стараются найти золотую середину...

Библиография, по мысли ее авторов, должна основываться одновременно на принципах всеобщности и избирательности (т. I, с. 12).

Исходя из принципа всеобщности, для включения в библиографию отбираются научные публикации — книги, статьи в периодических изданиях, доклады (в том числе отпечатанные на множительных аппаратах), научные неопубликованные работы, а также научные статьи из еженедельной периодики в библиографию не включаются.

При столь широком круге рассматриваемых работ принцип избирательности должен проводиться особенно строго, тем более что за истекшее со времени выхода первого тома почти четверть века число публикаций увеличилось примерно в три раза, печатный же объем библиографии растет значительно медленнее.

По каким же принципам отбираются литература для публикации? В первую очередь, как отмечалось, предпочтение отдается научным исследованиям, а не просто информационным материалам. Библиография несет задачу донести до читателя сведения о работах, которые помимо основной библиографии ему практически найти негде. Поэтому для этнографических трудов, изданных в развивающихся странах или тех странах, у которых по тем или иным причинам число научных изданий более ограничено, критерии отбора менее строги. Кроме того, хотя составители стремятся включать переводы уже опубликованных работ, они делают исключение для работ, переведенных с языка менее известного на более распространенный. Большое внимание уделено периодическим изданиям разных стран, при этом не только выходящим в известных научных центрах, но и периферийным, и узкорегionalным. Это наглядно видно на примере советских публикаций: в списке периодических изданий, помещенном в начале каждого тома, можно видеть кроме центральных изданий научную периодику из Батуми и Магадана, Сыктывкара, Ереван и других городов. Весьма тщательно учитываются (и даже специально отыскиваются) этнографические статьи, опубликованные в этнографических журналах, которые могут остаться незамеченными специалистами. Из переизданий помещаются лишь те, которые существенно обновлены. Наконец, в целях более компактной подачи материала предпочтение в библиографии отдается обобщающей монографии перед дублирующими одна другую работами того же автора.

В библиографию включаются также рецензии на отдельные издания, которые публикуются вместе с рецензируемой работой или — если

работа была опубликована ранее — со ссылкой на том и номер, под которыми она значится.

Научная ценность представительной по числу названий библиографии зависит (в очень большой степени) от того, какой принцип лежит в основе схемы, по которой классифицируются все получаемые с ее списки публикаций по всем разделам этнографии. Схема построения рецензируемой библиографии постепенно совершенствовалась. Расширялось содержание и уточнялись названия подразделов, добавлялись новые проблемы и тематические рубрики. Сейчас в библиографию включена физическая антропология, которая отсутствовала в первых томах. Больше места отведено лингвистике и фольклору, введены такие рубрики, как «Этнографические фильмы и фотографии», «Биографии и некрологи» и некоторые другие.

Теперь классификационная схема состоит из 10 основных разделов. Первый — общие исследования: история развития науки, учебники, библиография, конгрессы и конференции, биографии и некрологи. Второй — источники и методы антропологии: связь антропологии со смежными науками, музеи, выставки, картографический материал, этнографические фильмы и фотографии. Третий — морфологические основы: экология, технология, экономическая жизнь (в самом широком плане). Четвертый — монографическое изучение отдельных народов (по регионам, причем Советский Союз выделен в качестве самостоятельного региона). Пятый — социальная организация и общественные отношения: филляция, семья и брак, традиционные юридические и социальные нормы, рабство и другие формы зависимости. Шестой — религия, магия и колдовство: мировые и первобытные религии, верования и обряды, синкретизм и мессианство. Седьмой — проблемы познания, искусство и наука, веродные традиции (с очень подробной рубрикацией). Восьмой — культура и личность. Девятый — проблемы аккультурации и социальных изменений. Десятый — прикладная антропология: проблемы управления права, социального развития и благоустройства.

Как видно из этой краткой характеристики разделов, составители пошли по пути регионального («топографического») распределения публикаций — пути более легкому, а избрали самый трудный — выделение проблемных разделов. Региональный же подход используется как вспомогательный при выделении внутренних подразделов, т. е. отдельные проблемы рассматриваются на материале регионов.

Итак, схема достаточно полна, хотя это не значит, что она полностью удовлетворяет всем требованиям, которые ей могут предъявить исследователи разных школ. В частности, для советской этнографической школы при работе с этой схемой возникает ряд трудностей. Например в схеме нет специального подраздела для общины и отдельных ее исторических форм. В подразделе «Социальное благосостояние», правда есть рубрика «Общинное развитие», но она никак не может вместить материалы об общине как основном социально-экономическом институте на большом отрезке времени. Отсутствует принципиально важный раздел — «Общинно-родовой строй». Не отражена активно разрабатываемая нашей наукой проблема этнонационального развития и ее круг связанных с ней вопросов (этногенез, национально-освободительные движения и пр.). Не освещены в подразделах схемы и такие важные для этнографии вопросы, как топонимика, прикладное искусство, промыслы и ряд других. Не всегда оправдана степень дробности рубрикации отдельных тем: если в одну рубрику «Экономические проблемы» входят землевладение, земледелие, ирригация, посевы и пр., то раздел о проблемах познания и искусства разбит на десятки и проблемные региональные рубрики.

Знакомство со схемой еще раз показывает, что для этнографов разных школ наступила пора широкого обсуждения в печати проблем и понятийного аппарата и терминов. Ведь в подходе к этому вопросу много неясного в наших библиографиях, что показала полезная во всех отношениях «Библиография трудов Института этнографии АН СССР».

Обсуждение могло бы помочь сближению точек зрения по ряду вопросов и устранению в какой-то степени терминологической неадекватности. Многие из теоретико-методологических установок и методических приемов нашей этнографии могли бы войти в международный обиход. Принятая в издании классификация приводит к тому, что часть тем, отсутствующих в рецензируемой «Библиографии», оказывается включенной в другие международные научные библиографии той же серии.

Схема достаточно сложна, тома насчитывают по 3—6 тыс. наименований, поэтому ориентация в них была затруднительна, если бы не подробный индекс, который дается в каждом томе на двух языках. Индекс является не только предметным, но и географическим и этническим: в алфавитном порядке в нем наряду с тематическими вопросами помещены названия стран и народов.

Структура каждого выпуска выглядит следующим образом: краткое авторское предисловие (на двух языках), список всех периодических изданий, из которых взяты приводимые в теме статьи, подробная классификационная схема-оглавление, сам текст библиографии за очередной год, список авторов, индекс. Очень вырос численный состав авторов, упоминающихся в авторском указателе: если в первом томе их список составлял 23 страницы, то в 23-м томе — 54. Хотелось бы пожелать, чтобы при фамилиях авторов были указаны страны, которые они представляют. — это, безусловно, осложнит техническую сторону издания, но зато международный характер библиографии стал бы более показательным.

О том, насколько весомо участие советских работ в «Библиографии», говорят и цифры: список периодических изданий, упомянутых в теме 23, включает 819 наименований, в том числе более 100 — советских. В том же томе представлено свыше 560 советских авторов из общего числа около 6500 (ср. с первым томом — там из 3 тыс. авторов советских было всего 40).

В «Библиографии» приводятся книги и статьи, выходящие на украинском и белорусском, эстонском, литовском и других языках Советского Союза. При этом после названия работ, изданных на всех языках, кроме английского и французского — официальных языков издания, даются переводы этих названий на английский язык.

Советские составители отправляют в Париж около 8 авторских листов ежегодно.

О высоких достоинствах библиографических списков, подготавливаемых в Институте этнографии, свидетельствуют и благодарности в адрес составителей, выраженные в предисловиях последних томов (т. XXI, VII; т. XXIV, с. IX и др.), и в письмах генерального секретаря издательства Ж. Мейриа, которые ежегодно поступали в Ленинградскую часть Института этнографии.

В прекрасно подготовленных технически томах есть отдельные погрешности, в частности в написании имен авторов, что объясняется неоднозначностью их транскрипции на латиницу. В результате отдельные фамилии повторяются дважды в разном написании, например: Чеснов (через С и Ch), Першиц (Pershezts и Peršic) и ряд других.

Международная библиография социальной и культурной антропологии — издание, являющееся этапным в развитии мировой этнографии. Это издание не только решает проблему широкого обмена информацией на международном уровне, но и позволяет выделить кардинальные вопросы этнографической науки, показывает качественное и количественное состояние и уровень ее современного развития.

## ИЗУЧЕНИЕ ПРАЖСКИХ РАБОЧИХ В ИНСТИТУТЕ ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

В течение 10 лет в Институте этнографии и фольклористики Чехословацкой Академии наук велась интенсивная работа по этнографическому изучению рабочих Праги. Первые публикации появились в 1970—1971 гг. В 1972 г. для разработки темы была создана специальная следовательская группа, и в 1981 г. вышла из печати итоговая работа — монография «Старая рабочая Прага»<sup>1</sup>. За это время мне довелось дважды побывать в Праге и познакомиться с работой чешских коллег. Теперь, когда тема завершена, можно подвести итоги.

Ко времени начала исследований о Праге в чехословацкой этнографической науке уже имелась известная традиция изучения рабочих. Вышло несколько теоретических работ, а также ряд монографий, основанных на полевых материалах. Большинство последних, правда, было посвящено рабочим, жившим в небольших поселках и по образу жизни близких сельскому населению. Культура и быт городских рабочих рассматривались лишь в отдельных статьях<sup>2</sup>. Вновь созданной группе предстояло работать в направлении, новом для чехословацкой этнографии, — изучать рабочее население большого города, столицы.

Была проведена огромная собирательская работа, в результате которой накоплен богатый материал, еще не полностью использованный и представляющий ценность для будущих исследователей. Чрезвычайно интересны полевые материалы, для сбора которых по каждой теме (семья, одежда, пища и т. д.) были разработаны обширные вопросы анкеты. Вместе они бы составили такую громадную анкету, что опросать ее никто бы не выдержал. Нашли простой и остроумный выход. В каждом рабочем квартале была сделана выборка подлежащих обследованию домов, при этом жильцы квартир под одинаковым номером опрашивались по одной теме, под другим номером — по другой. Так был собран достаточно репрезентативный материал. В архиве полевых сборов наряду с анкетами хранятся также и записи более подробных бесед, биографий и др. Очень богат архив иконографических материалов, составленный как из перепечаток книжных, газетных и тому подобных иллюстраций, так и из фотографий, собранных в ходе полевой работы.

Одновременно со сбором материала шло его осмысление. Регулярно проводились научные конференции, на которых разрабатывались концепции исследования, его программа, подводились предварительные итоги<sup>3</sup>. В 1976 г. Институт этнографии и фольклористики совместно с Этнографическим отделением Национального музея организовал выставку «Старая рабочая Прага». На ней были широко представлены как иллюстративные и документальные материалы, так и вещи (инструменты и изделия ремесленников, мебель, одежда, игрушки, самодельное праздничное убранство комнат и др.)<sup>4</sup>. К 1975 г. был написан первый пробный вариант будущей книги и размножен небольшим тиражом

<sup>1</sup> *Stará dělnická Praha. Život a kultura pražských dělníků. (1848—1939)*/Redakce děl. Robek A., Moravcova M., Šťastná J. Praha, 1981. 314 s.

<sup>2</sup> Обзор см. в статье: *Moravcová M., Robek A. Třicet let etnografické práce na vzkumú dělnictva.*— *Ceský lid* (далее — CL), 1981, № 2, s. 68—77.

<sup>3</sup> См. *Fojtík K. Dům na předměstí (Ětnografická studie o životě obyvatel činžovního domu v Brně).*— In: *Brno v minulosti a dnes. V. Brno. 1963. s. 45—63; Šťastná J. K některým otázkám studia rodinného života textilních dělníků.*— CL, 1961, № 1, s. 16—20; *idem. Příspěvek k rodinnému životu tkalců a továrních dělníků na Náchodsku.*— CL, 1969, № 4, s. 216—224.

<sup>4</sup> *Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku, 1977. Příloha 1; Zpravodaj... 1975. Příloha 4; Полющук Н. С., Шмелева М. Н. Конференция «Этнография Праги».*— Сов. этнография, 1976, № 4, с. 170—172; *Etnografie dělnictva v Praze, 1977; Zpravodaj... 1978. Příloha 4; Zpravodaj... 1979; Příloha 2.*

<sup>5</sup> *Scheufler V. Výstava «Stará dělnická Praha» (červen-prosinec 1976) v národopisném oddělení Národního musea v Praze.*— CL, 1977, № 1, s. 50—53.

деляя широко<sup>6</sup> предварительного обсуждения<sup>6</sup>. Кроме того, были изданы 10 сборников «Этнография рабочих» объемом от 7 до 15 а. л.<sup>7</sup>. Много статей было также напечатано в журналах. Публикации были нескольких видов. В одних разрабатывались теоретические основы исследования, в других отражалась источниковедческая работа. Среди опубликованных статей — библиографические обзоры<sup>8</sup>, характеристики и публикации источников<sup>9</sup>, а также самостоятельные исследования, которых речь пойдет ниже.

Итогом всей этой работы явилась, как уже было сказано, коллективная монография «Старая рабочая Прага. Жизнь и культура пражских рабочих. 1848—1939», написанная авторским коллективом из десяти человек. Основу книги составляют шесть глав, в которых в единичных хронологических рамках (с середины XIX в. до первой мировой войны) рассматриваются разные стороны жизни и быта пражских рабочих: общественная жизнь (с. 52—84, О. Скальникова), пение (с. 85—106, Я. Маркл), семья (с. 107—151, И. Свободова и В. Шейфлер), жилище (с. 152—182, И. Варжека), пища (с. 183—216, Я. Щастна), надежда (с. 217—258, М. Моравцова). Открывает книгу вводная глава общего характера (с. 5—33). Кроме того, имеются две главы, расширяющие хронологические рамки исследования — о первой половине XIX в. (с. 34—51, А. Робек) и о периоде между двумя мировыми войнами (с. 251—291, И. Варжека, Д. Климова, Я. Маркл, М. Моравцова, О. Скальникова, Я. Щастна). Выход в свет «Старой рабочей Праги» — важное событие для чехословацкой этнографической науки. В книге синтезированы итоги большой исследовательской работы. Прекрасно изданная, богато иллюстрированная, живо написанная, она адресована не только ученым, но и самым широким читательским кругам. Особо следует отметить прекрасные иллюстрации, которых очень много — 241 и 290 страниц текста.

Рассмотрим исследования, посвященные этнографии пражских рабочих, сгруппировав их по темам; при этом в каждом тематическом разделе пойдет речь и о соответствующей главе «Старой рабочей Праги». **Топография и жилище.** Общей характеристике расселения рабочих в Праге посвящена статья М. Моравцовой<sup>10</sup>. Картограммы, построенные на материалах переписей 1869, 1900 и 1930 гг., показывают долю рабочих в населении разных районов Праги и в предместьях. Некоторые рабочие предместья изучались специально. Так, В. Шейфлер монографически описал Нусле, Л. Штепанек, М. и Я. Флегловы — Стржешовицы, Ф. Ванчик — Жижков, К. Петрачек рассмотрел земледельческие поселения на окраине Праги<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> Etnografie pražského dělnictva. Maketa. Sv. 1, 2, 3. Praha, 1975. Содержание: *Robek A.* Vznik pražského dělnictva a proces jeho sociální emancipace; *Vančík F.* Proletářské hnutí v Praze; *Škalníková O.* Společenský život pražského dělnictva 1850—1938; *Svobodová J.* Rodina a rodinné vztahy pražského průmyslového dělnictva; *Scheufler V.* Pražské písně; *Klímová D.* Dělnická tradice a vypravěčský repertoár v prostředí velkoměsta (Praha, 1850—1938); *Vařeka J.* Způsob bydlení a bytová kultura pražského dělnictva (1848—1938); *Štátná J.* Nakupy, způsoby stravování a strava pražského dělnictva; *Moravcová M.* Problematika studia oděvu ve velkoměstském pražském prostředí.

<sup>7</sup> «Etnografie dělnictva» (далее — ED), тт. 1—9, 11 выходили в Праге в серии «Národopisná knihnice» с 1974 по 1978 г.

<sup>8</sup> *Scheuflerová J.* Nástin hesláre bibliografie pro etnografii a folkloristiku dělnictva.— D 2, 1974, s. 130—154.

<sup>9</sup> См., например: *Vaněčková Z.* Obecní kroniky na území Prahy.— ED 3, 1975, s. 191—203; *Reiterová H.* Pověra a současná svátba v Praze z okolí.— CL, 1974, № 3, s. 182—193; *Robek A.* Ohlas boju pražského dělnictva v lidovém kronikařství.— ED 1, 1974, s. 5—20; *idem.* Neznámý rukopis socialistických deklamací a písní.— ED 5, 1975, s. 1—11; *idem.* Kronika Antonína Fořtíka.— ED 6, 1975, s. 161—168; *idem.* Zpěvník služky služící v Praze, z let 1890—1907.— ED 9, 1977, s. 237—264; *Svobodová J.* Matriky jako pramen udia rodinných vstahů pražského průmyslového dělnictva. Zpravoďaj..., 1974, Př. 1, s. 61—66; *Scheufler V.* Dva autentické prameny k pražským dětským hram.— CL, 1976, № 2, s. 84—92.

<sup>10</sup> *Moravcová M.* Poznámky k rozšíření dělnictva v Praze, na předměstích a v přílehlých obcích v letech 1869, 1900 a 1930.— CL, 1978, № 2, s. 78—90.

<sup>11</sup> *Štepanek L.* Život v domkářské čtvrti «Nad hradním vodojemem» v Praze — Střešovicích na přelomu 19. a 20. století.— CL, 1970, № 5, s. 257—266; *Scheufler V.* Nusle. Od středověké vesnice k velkoměstskému sídlišti.— CL, 1971, № 4, s. 218—236; *Vančík F.*



Глава о жилище в «Старой рабочей Праге» — одна из наиболее интересных. Автор, И. Варжека, широко использует материалы, которые создают определенный фон для понимания не только его темы, но и других. Возможно, было бы лучше, если бы эта глава в книге предшествовала разделам, посвященным семье и соседским отношениям. Автор насчитывает пять основных форм рабочего жилища в Праге. 1. Наиболее типичная форма — «дом коллективного проживания». 2. Дома рабочих колониях с более благоустроенными квартирами; их было относительно немного. 3. Отдельные небольшие частные дома, принадлежащие ремесленникам и рабочим и заселенные квартирантами. 4. Дворики сельского типа в бывших деревнях, вошедших в состав Праги. Так называемое «бедняцкое жильё» разных видов. Наиболее подробно изучены и описаны дома коллективного проживания. Это так называемые «дома с балконами» — «павлачовые» (pavlač — балкон). Во дворе дома на каждом этаже — балкон по всему периметру, с него — входы в отдельные жилища (реже встречавшаяся разновидность павлачово дома — дом с коридором). Каждое жилище состояло из проходной кухни, освещавшейся только через дверь, и расположенной за ней жилой комнаты. В этих домах были общие туалеты на каждом этаже и водопровод во дворе. В рабочих колониях уровень благоустройства был выше. Каждая семья имела квартиру из одной (редко двух) комнат кухни и туалета.

Необходимо положительно оценить исторический подход автора прошлого: А. Варжека неоднократно подчеркивает, что рассматривать качество жилища надо с точки зрения того времени, когда оно строилось, и не применять современных критериев. Так, в конце XIX в. квартиры в «домах с балконами» вполне соответствовали требованиям времени. Они были лучше жилищ бедноты в деревне и мало отличались от квартир городских мелкобуржуазных слоев. Про обитателей «домов с балконами» рабочие говорили, что они живут, «как господа». Бедность была не в качестве квартир, а в их перенаселенности. Перенаселенными тогда считались помещения, в которых жило более 4 человек (т. е. в комнате и кухне — 9 чел.). В рабочих районах перенаселенными были 25% квартир. В каждой, кроме многолюдной рабочей семьи жили еще квартиранты. На одной постели спали по несколько человек, дети часто на полу. По воспоминаниям некоторых рабочих, семья никогда не собиралась за одним столом — не хватало места; разбирали миски и ели кто где (на окне, на кровати).

В главе дано описание интерьера рабочих жилищ (разные варианты). Интересно сравнение его с деревенским. Даже переселенцы первого поколения мало что брали с собой из обстановки: в город переселились бедняки, которым нечего было везти с собой, да и в городских тесных жилищах не поместилась бы громоздкая деревенская мебель и утварь. Автор приводит любопытные примеры влияния деревенских привычек на некоторые обычаи пражских рабочих и функциональное использование помещений. Так, в двухкамерном жилище рабочая семья жила, ела, отдыхала в кухне, в комнате только спали, и ее не топили. Обычай оставлять спальню холодной был принесен из деревни, а вовсе не вызван недостатком топлива (для доказательства этого приведены материалы по кладенскому каменноугольному бассейну, где топлива было достаточно и все же рабочие комнат не топили). Глава о жилище вообще изобилует разного рода параллелями. Постоянные сравнения с деревней, с другими районами Чехии и даже с городами других стран.

Тема рабочего жилища Праги исследована чешскими этнографами весьма основательно. Кроме И. Варжеки, ею занимались Л. Штепанек и В. Тумова<sup>12</sup>.

Proletářské město Žižkov. Maketa..., sv. I, s. 143—215; Petráček K. Zemědělské obce podél města—dokumentace zániku (Praha 7).— ED 7, 1976, s. 19—66; Flegla M., Fleglaová J. Staré Sřešovice. Kapitoly z historie bývalé předměstské obce.— ED 11, 1978, s. 67—115.

<sup>12</sup> Vařeka J., Štěpánek L. Dělnické pavlačové domy v Libni.— ED 3, 1975, s. 173—195; Tumorová V., Štěpánek L. Pražské nouzové kolonie (Zpráva o studiu).— CL, 1965, № 1

**Общественная жизнь.** Глава в «Старой рабочей Праге» (О. Скалькова) под этим названием объединяет довольно разнородный материал — описание просветительной и культурной деятельности рабочих кружков, производственную жизнь, общегородские и рабочие праздники, также соседские связи по месту жительства. В этом нашла отражение достаточная разработанность понятия «общественная жизнь». Деятельность рабочих союзов Праги изучена довольно обстоятельно<sup>13</sup>. Очень интересно проведенное О. Скальковой исследование соседских связей. В «Старой рабочей Праге» оно тематически примыкает к главам, посвященным семье и жилищу и, видимо, лучше воспринималось и не до, а после них (например, зависимость соседских связей от типа жилища). Автор показывает, что в XIX — начале XX в. соседские связи были очень тесными, а после первой мировой войны сильно ослабели<sup>14</sup>.

**Семья.** Основной работой на эту тему является соответствующая глава «Старой рабочей Праги», написанная И. Свободовой. Автор дает подробную характеристику разных сторон семейной жизни пражских рабочих; несмотря на обширность темы, удалось не допустить серьезных пробелов и вместе с тем избежать скороговорки. Рассмотрен состав семей, показано различие в составе семьи у уроженцев Праги и переселенцев из села (у последних было больше двухпоколенных семей, а также семей с боковыми родственниками). Различие между коренными жителями Праги (среди которых было много представителей традиционных ремесленных профессий) и выходцами из села прослеживается на других сторонах семейной жизни. В главе показана внутренняя жизнь рабочих семей (распределение обязанностей, воспитание детей, взаимоотношения между членами семьи), роль мужчины как «кормильца», работа по найму других членов семьи. Отдельно рассматриваются различные внесемейные связи (с семьей родителей и «соуженцев»<sup>15</sup> — сестер и братьев). Существенное место в главе занимает описание главных событий в семье (рождение, заключение брака, смерть) сопровождавших их обрядов. Показано постепенное снижение роли обрядов. Очень развитый в XIX в. институт крестных родителей постепенно переживает упадок: если раньше они покровительствовали крестнику всю жизнь, то в XX в. их роль ограничивается участием в обряде крещения. Рабочая свадьба сопровождалась обрядом, более коротким, чем у крестьян и мещан. И крестины, и свадьба становились чисто семейными обрядами. В отличие от них похороны проходили с большим участием общественности. Наиболее традиционный характер носили похороны не вступивших в брак; похороны членов рабочих союзов приобретали новые черты (почетный караул, духовой оркестр, знамя над гробом).

189—191; *Stěpánek L.* Příspěvek k vývoji forem bydlení v pražských pavlačových domech na přelomu 19. a 20. století.— *Pražský sborník historický* 1969—1970, s. 106—116; *Zivot v domkářské čtvrti «Nad hradním vodojemem» v Praze-Sířešovicích na přelomu 19. a 20. století.*— *ČL*, 1970, № 5, s. 257—266; *Tumová V.* Pražské nouzové kolony.— *ČL*, 1965, № 3, s. 186—189; *idem.* Pražské nouzové kolony. Praha, 1971.

<sup>13</sup> *Vrbová P.* Ke vzniku a charakteru tzv. dělnických besed v šedesátých letech 19. století v Praze.— *Ceskoslovenský časopis historický*, 5, 1957, s. 108—136; *Novotný K.* Průběh snahy pokladničních spolků pražských tiskařů ve 30—50. letech 19. století.— *ČL*, 1977, s. 7—54; *Svobodová I.* K činnosti kaplinské stolové společnosti příznivcůň borovického spolku kovodělníků.— *ČL*, 1976, № 3, s. 135—151; *Skalníková O.* Uloha vzdělání v pražských dělnických spolcích.— *ED* 6, 1975, s. 78—152; *Skalníková O., Štátná J.* Prameny k poznání skladby pražského dělnictva koncem šedesátých let 19. století.— *ED*, 1978, s. 156—169; *Fléglová J.* Ke společenskému životu pražského dělnictva na konci 19. století.— *ED* 5, 1975, s. 12—73; *Štátná J.* Dělnické potravní spolky druhé poloviny 19. století.— *ED* 6, 1975, s. 4—77.

<sup>14</sup> См. также: *Skalníková O.* Společenské vztahy v pražské dělnické čtvrti na rozhraní 19. a 20. století.— *ED* 1, 1974, s. 92—100.

<sup>15</sup> Неплохо было бы ввести в оборот это близкое духу русского языка слово употребляющихся, но, кажется, еще не прижившихся «сиблингов» (тем более, в биологии этот термин имеет более узкое значение — «близнецы»).

Отдельные вопросы, связанные с семьей, освещаются также в трудах Я. Гавранека (демографический анализ на 1900 г.)<sup>16</sup> и А. Робека (некоторые данные о заключении браков)<sup>17</sup>.

**Дети, их свободное время и игры.** В. Шейфлер опубликовал несколько статей на эту тему<sup>18</sup>, а в книге «Старая рабочая Прага» есть специальный раздел в главе, посвященной семье. Свободное время детей В. Шейфлер определяет как ту часть дня, когда детьми не занимаются взрослые. Автор реконструирует игры и занятия детей в конце XIX фиксирует половые и возрастные различия в характере групп, предпочитаемых играх, ценностных ориентациях, в отношении к влияниям, исходящим из школы. Подобного рода исследования еще немногочисленны, хотя важность этой проблематики в настоящее время осознается достаточно остро.

**Пища.** Вопросами питания пражских рабочих много занимался Я. Щастна. Результаты опубликованы ею в виде статьи<sup>19</sup>, а так же главы в «Старой рабочей Праге». В главе говорится о разных видах торговли продовольственными товарами, о деятельности потребителей в разных обществах. Обе эти темы более подробно разработаны в двух специальных статьях Я. Щастной<sup>20</sup>. Особый раздел главы посвящен характеру питания — автор делает вывод, что в XIX в. преобладало домашнее питание, в том числе и в рабочее время, столовыми стали широко пользоваться только в XX в. Большие разделы главы посвящены подробной характеристике повседневной и праздничной пищи. Особую страницу в истории питания пражских рабочих освещает В. Шейфлер в статье о снабжении продовольствием населения Праги в годы первой мировой войны<sup>21</sup>.

**Одежда.** При исследовании одежды городского населения этнографы обычно испытывают большие трудности. Изучать ее по описаниям по расспросам недостаточно, а вещей в натуре почти не сохранилось. Серьезное исследование одежды пражских рабочих оказалось возможным благодаря тому, что был собран огромный иконографический материал. Изучением одежды пражских рабочих занималась М. Морцова. Ей принадлежат глава в «Старой рабочей Праге» и ряд статей.

В первой половине XIX в. одежда пражского простого люда отличалась от одежды как зажиточных горожан, так и окрестного сельского населения. Постепенно она сближалась с одеждой средних городских слоев. Автор дает подробное описание женского, мужского и детского костюмов в процессе их эволюции. Первоначально в одежде не было функциональной дифференциации. С 70-х годов появилось различие между будничной (одновременно и рабочей) и праздничной одеждой. Это было связано с развитием общественной жизни: встречи рабочих на «беседах», в рабочих союзах, рабочие «балы» — все это предъявляло определенные требования к одежде. Тогда же возникла форменная одежда рабочих союзов. С конца XIX в. различались функционально уже три вида одежды: праздничная, повседневная и рабочая.

Представляют интерес отмеченные автором черты символизма в одежде. Форменная одежда рабочих союзов создавалась с использованием элементов «славянского национального стиля» (или того, что

<sup>16</sup> Havoránek J. Životní podmínky dělnických rodin roku 1900 v světle demografické statistiky.— ED 9, 1977, s. 125—142.

<sup>17</sup> Robek A. K problematice studia způsobu života a kultury současného vesnického a městského obyvatelstva.— CL, 1975, № 4, s. 189—195; *idem*. K problematice uzavření sňatků na základě farního materiálu z Ořechu (Praha-Západ) z r. 1820.— CL, 1977, № 1, s. 108—110.

<sup>18</sup> Scheufler V. Volný čas a dětské hry pražského předměstí třicátých let.— ED 2, 1974, s. 84—90; *idem*. Dva autentické prameny k pražským dětským hrám.— CL, 1976, № 2, s. 84—90.

<sup>19</sup> Štátná J. Stravování pražského dělnictva a chudiny v druhé polovině 19. a na začátku 20. století.— CL, 1977, № 1, s. 9—22.

<sup>20</sup> Štátná J. Pražské dělnické potravní spolky v druhé polovině 19. století.— ED 1975, s. 4—77; *idem*. Pražské trhy a tržiště od konce 18. do počátku 20. století.— CL, 1977, № 1, s. 1—19.

<sup>21</sup> Scheufler V. Zásobování potravinami v Praze v letech I Světové války.— ED 1977, s. 143—198.

него принималось). Например, широкие штаны, заправленные в полувысокие сапоги, считались «польскими», введение их сначала в сокольскую, а потом в рабочую форму рассматривалось как знак славянского единения. С 1870-х годов в рабочей символике появился красный цвет — это отразилось и в одежде (стали носить красные шейные платки)<sup>22</sup>.

**Фольклор.** В книге «Старая рабочая Прага» из всей обширной фольклорной проблематики представлена только одна тема — пение пражских рабочих. Ей посвящена специальная глава, написанная Я. Марклом. Автор оговаривает, что не может быть речи о какой-то специфически пражской рабочей песне, но так как пражский пролетариат составлял многочисленный и ведущий отряд рабочих Чехии, при его характеристике правомерно говорить о рабочей песне вообще. Представляет интерес предлагаемая в главе периодизация чешской рабочей песни, хотя сам автор не считает ее окончательной. I. 20—40-е годы XIX в. В ярмарочных песнях появляются ноты протеста, которые должны были находить отклик прежде всего у рабочих II. От стачек 1844 г. и революции 1848 г. до 1870 г. Издание песенников способствует распространению песен в рабочей среде; это главным образом патристические песни, в том числе многочисленные парафразы чешского национального гимна «Где родина моя?» III. 1870—1890 гг. В этот период начала социалистического движения возникают собственно рабочие песни и выходят первые четыре рабочих песенника. IV. 1890—1918/21 гг. Легализация партии и рабочих организаций привели к широкому распространению рабочих песен; в эти годы было издано 30 сборников рабочих песен. V. 1921—1945 гг. Лучшие старые рабочие песни, ставшие «классическими», сосуществуют с современными, в которых ощущается влияние советской массовой песни, немецких зонгов, французских шансонов, джаза. VI этап, современный, начинается в 1945 г. Основное внимание в главе уделено описанию бытования рабочей песни в 1844—1921 гг.<sup>23</sup>

Интересный материал содержится в исследованиях Д. Климовой, посвященных повествовательному репертуару рабочих<sup>24</sup>. К сожалению, издание в сокращенном виде не попал в текст «Старой рабочей Праги». Некоторые фольклорные сюжеты затрагиваются также в работах, посвященных календарным праздникам.

**Календарные праздники.** Работа А. Робек «Общественная и семейная жизнь пражских рабочих в первой половине девятнадцатого столетия» содержит свод данных о календарных праздниках, извлеченных из многочисленных архивных и опубликованных источников<sup>25</sup>. Особое внимание уделяется при этом участию рабочих в общепражских праздниках, а также цеховым профессиональным праздникам. Так, много шествий и гуляний устраивалось ремесленниками на масленицу. Особой популярностью среди жителей Праги пользовался праздник пивоваров «бахус»; будучи веселым развлечением для молодых подмастерьев и учеников, он одновременно служил целям рекламы пива. А. Робек дает подробное описание этого праздника. Отдельные факты приводит

<sup>22</sup> Дополнительный материал об одежде см.: *Moravcová M. Oděv v dělnické společnosti starých Holešovic (1890—1918).* — ED 2, 1974; *idem. Vliv vánočních ošacovacích keří na oblečení dělnických dětí v Praze v druhé polovině 19. století.* — ED 6, 1975; *idem. Oděv lidové Prahy ve 30.—60. letech 19. století.* — CL, 1977, № 3, s. 132—147; *idem. Oděv městského a venkovského lidu z let 1847 až 1849 (Úřední oznámení — neznámý pracovní studium).* — CL, 1980, № 3, s. 131—148.

<sup>23</sup> См. также *Markl J. Zpěv pražského dělnictva.* — ED 5, 1975, s. 146—163.

<sup>24</sup> *Klimová D. Dělnická tradice a vypravěčský repertoár v prostředí velkoměsta (Praha 1850—1936).* Etnografie pražského dělnictva, Maketa, Sv. II. Praha 1975, s. 65—190; *idem. K otázkám folklóru pražského dělnictva.* — CL, 1976, № 2, s. 75—80; *idem. Úvahy metodě a pojetí slovesné folklóristiky pražského průmyslového dělnictva.* — ED 1, 1974, s. 41—91, *idem. Zkušenosti ze studia dělnického folklóru městského typu.* — Slovenský ľudopis, 1976, № 3, s. 369—377; *idem. Pojem «pražanství» v tradici českého dělnictva.* — ED 9, 1977, s. 199—236.

<sup>25</sup> *Robek A. Společenský a rodinný život pražských dělníků v první polovině devatenáctého století.* — ED 4, 1975, 241 s.

он также о двух других масленичных праздниках — «сламнике» и «Фидловачке». Одним из наиболее чтимых праздников было рождество; в работе есть материал о колядовании, «вифлеемах», праздничных балах. Некоторые городские праздники автор сравнивает с сельскими: так, празднование дня св. Анны, покровительницы кирпичников, во многом напоминало, по его мнению, сельские «дожинки».

Двум праздникам пражских ремесленников — так называемым «сламнику» и «фидловачке» — посвятила обстоятельное исследование Я. Шейфлерова<sup>26</sup>. На пасхальной неделе во вторник на одной из окраин Праги отмечали «сламник» (слово это в переводе означает соломенный тюфяк). Он считался праздником портных, его существенной частью было торжественное шествие ремесленников-портных во главе с оркестром, с соломенным тюфяком в качестве знамени. В празднике участвовали самые широкие слои городского населения, в том числе и «высший свет». Представители последнего устраивали выезд за город, где проходил праздник, в экипажах. Пресса сравнивала этот выезд с выездом венской знати и называла сламник на немецкий лад «штрохзаком» (от нем. Strohsack). «Фидловачку» праздновали на другой пражской окраине на следующий день после сламника. Это был праздник сапожников (фидловачка — один из сапожных инструментов, который считался символом праздника). В отличие от сламника фидловачка носила демократический характер, высшие слои общества в ней не участвовали. Я. Шейфлерова подробно описывает разного рода увеселения, игры, танцы, песни, зрелища, останавливается на связанных с фидловачкой и сламником фольклоре, суевериях. Предметом ее исследования являются также праздничная одежда, пища, напитки. Приводятся сведения о численности участников, их социальном составе.

Некоторые дополнительные сведения о праздниках, проходивших на улицах и площадях Праги, имеются в статье Г. Лаудовой<sup>27</sup>. Специальное исследование о празднике рождественской елки принадлежит перу М. Моравцовой<sup>28</sup>.

В книге «Старая рабочая Прага» отдельной главы, посвященной календарным праздникам, нет, и это жаль. Но вопрос этот частично затрагивается в других главах. В главе о семье И. Свободова пишет о том, как календарные праздники отмечались в семье. Преимущественно семейным праздником считалось рождество. Его отмечали очень торжественно, все члены семьи получали ценные подарки (в то время как на именины, например, не дарили ничего, кроме цветов или какой-либо еды). Долго сохранялись старые обычаи: ставили самодельные «вифлеемы», гадали (лили олово, бросали башмак и т. п.), колядовали, готовили традиционные блюда.

\* \* \*

Работы, посвященные пражским рабочим, представляют для советских этнографов несомненный интерес. Они должны привлечь внимание не только специалистов по западным славянам, но и всех тех, кто работает над этнографией рабочих и этнографией города, — хотя бы не предмет будущих сравнительных исследований, которых пока еще в этом разделе этнографии практически нет.

<sup>26</sup> Scheuflerová J. Slavník a Fidlovačka v dobových zprávách periodického tisku druhé poloviny 19. století.— ED 7, 1977, s. 118—271.

<sup>27</sup> Laudová H. Pražské tradiční lidové slavnosti a zábavy.— ED 7, 1977, s. 67—111

<sup>28</sup> Moravcová H. Pražské slavnosti vánočního stromku (1842 až 1900).— ČL, 1971, № 2, s. 65—72.

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВАДЕБНОЙ  
ОБРЯДНОСТИ В ФИНЛЯНДИИ

[новые работы М.-Л. Хейкинмяки]

Материалы о браке и свадебной обрядности составляют значительную часть фондов этнографических и фольклорных архивов Финляндии, первую очередь Национального музея и Финского литературного общества. Уже в 1912 г. был разослан по стране вопросник о свадебных обрядах, составленный У. Т. Сирелиусом. С тех пор сбор этих материалов вели и этнографы, и фольклористы, разного рода стипендиаты и дофольные корреспонденты.

В печати, однако, до недавнего времени появлялись лишь описания свадебных обрядов той или иной местности и очерки семейной обрядности, входящие в различные исторические и этногеографические работы, как, например, написанный И. Манниненом соответствующий раздел «Книги Карьяла»<sup>1</sup> или У. Харва для «Истории Варсинайс-Суоми». Была опубликована также статья У. Харва «История наших свадебных обрядов»<sup>2</sup>, рассматривающая локальные различия обрядности, но уже из-за небольшого объема статьи она была схематичной. Незавершенной осталась и работа И. Луккаринена «Финские свадебные обряды. Материалы к истории брака у финских народов»: в свет вышел только первый том, посвященный добрачному общению молодежи<sup>3</sup>.

В последние полтора десятилетия финская этнография обогатилась интересными работами о браке и свадебных обрядах финнов, из которых мы рассмотрим лишь две наиболее значительные монографии, принадлежащие М.-Л. Хейкинмяки:

Первая ее работа в этой области вышла в 1970—1971 гг. под скромным названием «Подарки невесты у финнов и эстонцев»<sup>4</sup>. Следует сказать, что одаривание невестой родни жениха в ходе свадьбы играло большую роль у прибалтийско-финских народов. Свадебные подарки невесты составляли особую, часто весьма значительную и ценную часть ее приданого. Поэтому выбор этого сюжета для специального рассмотрения был не случайным. Работа Хейкинмяки сразу привлекла к себе внимание специалистов постановкой проблемы, широтой рассмотренного материала и его детальным анализом. Исследование, общим объемом в 36—37 а. л., вышло в свет в двух частях. Первая часть содержит краткую характеристику объекта изучения и источников и две главы: одна — о подарках невесты у финнов, вторая — у эстонцев.

В первой главе подробно рассматриваются характер и число подарков, которые невеста должна была раздать в ходе свадебной церемонии, а также способы их подготовки. Особенно интересен третий раздел этой главы, посвященный сбору невестой «помощи» — обычай, отражающий старые нормы общественных отношений. Он заключался в том, что, когда договоренность о браке была достигнута, невеста обходила окрестные дворы в сопровождении специальной женщины — *каасо* или *саува*<sup>5</sup>. Обязанностью саува было объяснить хозяевам цель прихода, предста-

<sup>1</sup> Manninen I. Karjalaisten tavoista.— In: Karjalan kirja. Porvoo, 1932.

<sup>2</sup> Harva U. Varsinais-Suomen henkistä kansankulttuuria.— In: Varsinais-Suomen historia, k. III, 1. Porvoo, 1935; *idem*. Naimatopojemme historiaa.— Kalevalaseuran vuosikirja, 20—21, 1941.

<sup>3</sup> Lukkarinen J. Suomalaisen naimatopaja. Aineksia suomalaisten kansojen avioliiton historiaan. Tampere, 1933.

<sup>4</sup> Heikinmäki M.-L. Die Gaben der Braut bei den Finnen und Esten. В. I—II. Kansatieteellinen Arkisto, 21, 22, 1970—1971.

<sup>5</sup> *Kaaso* — термин, относящийся вообще к женщине старшего возраста, которая руководила невестой в ходе всех свадебных церемоний; *саува* — букв. 'посох' — наименование, возникшее то ли потому, что она шла с палкой, то ли из-за ее «опорной» роли.

вить невесту, вести беседу с хозяйкой: невеста все время вела себя «как немая». При этом невесте обычно дарили лен и шерсть, которые она должна была обработать и из них изготовить, часто с помощью подруж, свадебные подарки. Иногда невеста получала и готовые вещи — варежки, носки, пояса и просто деньги.

По старой традиции раздача подарков производилась невестой в доме жениха, обычно после того, как она уже надевала головной убор замужней женщины. Первыми — и самые ценные подарки — получали родители жениха, затем его братья и сестры, потом более дальние родственники, нередко и наемные работники двора. Кроме того, одаривались и некоторые свадебные чины, в первую очередь сват, а также те, кто выполнял определенные обрядовые действия — выпрягал лошадь из свадебной повозки, снимал с нее невесту и т. п. Иногда небольшие подарки получали и все званые гости. Кроме того, в прошлом невесте полагалось одаривать и духов дома — она оставляла подарки на печи, в хлеву, бросала деньги в колодец и т. д. В способах вручения и принятия подарков известны временные, локальные и этнические отличия.

Вторая глава, посвященная эстонцам, написана по тому же плану Эстонского материала мы не будем касаться, отметим только, что в разработке его автор также не имела предшественников и сделала таким образом определенный вклад и в эстонскую этнографию. Изучение же данных по двум народам и широкой территории во многом помогло М.-Л. Хейкинмяки прийти к правильным выводам.

Во втором томе исследовательница переходит к анализу материала. Здесь рассматриваются роль и значение подарков на разных стадиях свадебной церемонии (глава 1), способы и формы приготовления и раздачи подарков (глава 2) и, наконец, роль подарков в контактах между личностью и обществом (глава 3). В последней, четвертой главе анализируется изменение обычаев в ходе времени.

Автор предпосылает своей трактовке проблемы обзор этнографической, преимущественно западноевропейской, литературы по обычаям и обрядам, в первую очередь свадебным. Как известно, во второй половине прошлого века многие этнографы, в частности сторонники эволюционистского метода, при рассмотрении свадебной обрядности в основном стремились вскрыть в ней пережитки брака-похищения или брака-купли невесты, следы матриархата, элементы эндо- и экзогамии. Другие, в основном английские, этнографы рассматривали все обряды только с точки зрения их магического значения. Односторонний подход к анализу ритуала и обычный при этом отрыв от конкретных исторических и социально-экономических условий, что справедливо отмечено Хейкинмяки, часто уводил исследователей в мир фантазий.

Как определенное достижение в подходе к анализу свадебной обрядности исследовательницей отмечена работа А. ван Геннепа, который рассматривал ее в качестве совокупности ритуалов, символизирующих переход личности из одного положения в другое<sup>6</sup>. Он выделял три этапа свадебной церемонии: обряды отделения («сепарации»), обряды принятия («агрегации») и переходные («маргинальные»). Хейкинмяки соединяется также с такими исследователями, как А. Эскерелд, Р. Р. Маретт, считавшими, что при изучении пережитков следует не только выявлять их смысл и значение в прошлом, но и анализировать их современное значение и причины их сохранности.

Рассматривая работы тех авторов, которые анализировали традиции обмена подарками в различных обрядах (работы Р. Корсо, Х. Бехтолда, К. Фрелиха и др.), М.-Л. Хейкинмяки присоединяется к той точке зрения, что первоначальная роль подарков в виде одежды (разной платья, обуви) заключалась во внешнем оформлении обрядов адоптации и заключения союзов (побратимство, усыновление, принятие невесты род жениха).

<sup>6</sup> *Gennep A. van. Les rites de passage. P., 1909.*

Свою задачу в изучении темы М.-Л. Хейкинмяки формулирует следующим образом: проследить развитие обычая, изменения его форм, смысла и функции как для носителя традиции, так и для всего коллектива.

В ходе свадебных обрядов на первом, предсвадебном этапе подарки финнов делает жених. Невеста, если и дает ему в ответ какой-нибудь подарок, то это только символ принятия его подарков. Настоящего обмена подарками, характерного, в частности, для шведов, у финнов не было, ни исключить некоторые поздние формы, возникшие именно под шведским влиянием. Невеста же готовила подарки для самой свадьбы и дала их никак не ранее, чем договор о браке был окончательно заключен.

Следует отметить, что автор привлекает к своим построениям широкий сравнительный материал — скандинавский, центральноевропейский, точноприбалтийский и славянский.

Для изучения финской обрядности особенно важен, разумеется, шведский материал. Различные культурные влияния Швеции на Финляндию вообще и на народную культуру в частности были очень велики, особенно в западной части страны. Это было обусловлено древними и стоявшими контактами населения приморской зоны, а также влияниями высших слоев общества, особенно усилившимися после подчинения шведской короне.

От шведов, в частности, был заимствован обычай сбора «помощи» невесте. Из западных районов он постепенно распространился по всей стране, а затем начал постепенно исчезать. Дольше всего он сохранился у финнов Карельского перешейка. Исследовательница устанавливает, что остаточные ареалы этого обычая сохранялись в Финляндии (как и в Эстонии) в тех местностях, где бытовал еще обычай одаривания на свадьбе невестой родни жениха.

Интересно, что обычай сбора «помощи» исчезает раньше в более развитых в социально-экономическом отношении западных частях Финляндии, причем первыми отказались от него дочери богатых дворохозяев, считая это признаком бедности, в то время как бедные девушки прибегали к нему значительно дольше. Но обряд дарения на свадьбе и богатства подарков невесты не определялись состоятельностью ее родителей, бедность не была препятствием для раздачи ею многочисленных подарков. Традиция и нормы поведения оказывались сильнее хозяйственных образований.

Именно богатые западные части Финляндии в силу разных причин были более восприимчивы к разного рода новшествам и городским формам культуры, там быстрее шел отказ от старых традиций. Они держались устойчивее в более бедных районах как в Финляндии, так и в Эстонии. Тем не менее, как показывает автор, это не было прямым воздействием экономических факторов. Раскрывая механизм, действующий в данном случае, Хейкинмяки показывает, что обычай одаривания родни жениха держался в тех местностях, где в остаточных формах существовали еще большие семьи и молодая в новом доме оказывалась не на положении хозяйки, а невестки, зависимой от новой родни. Поэтому и пожелали сохранить здесь свое прежнее значение: они служили установлению контактов, способствовали включению молодой в среду новой родни, ее идентификации с новой семьей.

Исследовательница обращает внимание на то, что сложные формы обрядов свидетельствуют обычно о длительности их существования; развиваются, обогащаясь в ходе времени и многими новшествами. В частности, старинная форма собственноручной передачи невестой подарков родне жениха развилась в юго-восточных районах в сложный обряд с участием свата или дружки. М.-Л. Хейкинмяки указывает на определенную логику во включении в обряд мужского персонажа: он вошел там, где свадьба сохраняла форму заключения союза двух семей; с течением времени в раздачу подарков вошел мужчина — представитель рода жениха.



Раздача подарков со временем стала соединяться с другими моментами свадебного обряда: одариванием молодой (или новобрачной пары при «питье кубка», «первом танце» и т. д. Такие явления вполне закономерны, как отмечает исследовательница, во-первых, потому, что постоянно забывается, исчезает первоначальный смысл обряда, во-вторых, контаминация отдельных моментов обрядности — вообще неизбежный элемент ее развития. Контаминационные формы складываются в этом как чисто локальные варианты с узкими ареалами.

Опираясь на разнообразные документальные источники, М.-Л. Хейкинмяки рассматривает состав подарков невесты и его изменения в течение нескольких столетий и устанавливает, что первоначально это были именно текстильные изделия, в первую очередь рубахи, пояса, но и др. Известно, что рубаха была в прошлом основной, а у женщин и даже единственной одеждой. В народе долго жило представление, что рубаха, соприкасавшаяся с телом, таила в себе жизненную силу века, а подаренная рубаха могла передать любовь дарящего тому, кто получал подарок. Магическая сила приписывалась и другим элементам одежды, в частности поясам.

Традиционными подарками жениха невесте в прошлом у многих народов, в том числе у финнов, были одежда и обувь, которые она надевала в день свадьбы. Рассмотренный исследовательницей материал подтверждает положение Р. Корсо и др. о том, что одежда служила символом адаптации человека новым коллективом. Она полагает, что в прошлом свадебный обряд у финнов мог сводиться к обмену одеждой (рубахами) лиц, вступающих в брак, в присутствии свидетелей.

Изучение свадебных подарков невесты логически привело М. Хейкинмяки к изучению свадебной обрядности финнов в целом. В 1981 вышла в свет ее вторая монография — «Свадебные обряды финнов. Крестьянские традиции заключения брака»<sup>7</sup>, богато иллюстрированная работа объемом около 45—50 а. л.

Автор рассматривает как собственно свадьбу, так и предсвадебные и послесвадебные обряды. В первом разделе — «Выбор брачного партнера» — она касается норм вступления в брак, форм общения молодежи до брака и сватовства. Второй посвящен заключению договора о браке и подготовке обеих сторон к свадьбе. Затем следуют три раздела, посвященных собственно свадебной обрядности: свадьба в доме невесты, свадебный поезд и свадьба в доме жениха. Далее описаны послесвадебные традиции и, наконец, дается заключение об ареалах различных форм свадьбы.

Часть вопросов, входящих в первый раздел, в том или ином объеме уже рассматривалась финскими этнографами для некоторых периодов или местностей страны. К ним относятся территориальный и социальный круг выбора брачного партнера, возраст вступления в брак, традиционные календарные периоды свадеб<sup>8</sup>. Нормы общения сельской молодежи описывались в уже названной выше работе И. Луккаринена, сравнительно недавно появившейся работе М. Сармела<sup>9</sup>, а также работе К. Вилкуна, посвященных трудовым и календарным праздникам молодежи<sup>10</sup>.

При рассмотрении принципов выбора брачного партнера М.-Л. Хейкинмяки особое внимание обращает на социальную сторону проблемы: молодежь вступала в брак в пределах своего социального слоя. Осо-

<sup>7</sup> *Heikinmäki M.-L. Suomalaiset häätävät. Talonpoikaiset avioliiton solmintäperintee.* Helsinki, 1981. 734s. Краткое содержание этой работы вышло на немецком языке: *Die finnische Hochzeitszeremonien und die Gebiete der Hochzeitssitten.* — *Ethnologische Zeitschrift für Skandinavien*, 1982, S. 109—117.

<sup>8</sup> См., например: *Lehtonen J. U. E. Suomenlahden suomalaisten saarikylien avioliittotekniikka.* — *Suomi*, 113: 3, Helsinki, 1968.

<sup>9</sup> *Sarmela M. Reciprocity Systems of the Rural Society in the Finnish-Karelian Core Area with Special Reference to social Intercourse of the Youth.* — *Folklor Fellowship Communication*, 207, 1969.

<sup>10</sup> *Vilkuna K. Vuotuinen ajantieto.* — *Keuruu*, 1973; *idem. Volkstümliche Arbeitsformen in Finnland.* — *Folklor Fellowship Communication*, 191. Helsinki, 1963.

характерно это было для дворохозяев. Их дети заключали браки с себе равными. Даже в конце прошлого века женитьба на батраке (равно и выход замуж за батрака) грозила разрывом с родными людьми. Воля родителей при выборе брачного партнера играла главную роль. До конца прошлого века девушка могла вступать в брак только с согласия «выдающего замуж» (naittaja), каковым был ее отец или кто-либо из старших мужчин-родственников. Парень по достижении совершеннолетия был свободен в выборе невесты, но родители всегда могли прибегнуть к экономическим санкциям — лишить его наследст-

втор подчеркивает, что положение женщины в семье как в девичестве, так и после брака было вообще более зависимым, чем у мужчин. Правноравное закреплялось и законодательством, которое — особенно в восточных частях страны — ограничивало права женщины на наследство. В семье мужа положение женщины в значительной мере определялось размерами принесенного ею приданого и состоятельностью ее родителей. Также и при выборе невесты смотрели прежде всего на ее приданое, трудолюбие, здоровье, а ее внешность или личная привлекательность жениха считались второстепенными.

Вступать в брак по собственному выбору и не придерживаться традиций раньше других получили возможность молодые люди, жившие на заработки в города, где они обретали известную экономическую и моральную независимость от родных и от обычаев своего сельского общества.

Несмотря на длительность рабочего дня и строгость норм поведения, одежда старой деревни имела все же достаточно возможностей для прогулок и встреч. Они происходили во время коллективных работ, в церковных и календарных праздниках, при поездках на ярмарки, участии в свадебных торжествах, традиционных развлечениях у деревенских качелей и т. д.

Особую форму общения молодежи представляло так называемое «ночное хождение» (yöjalassa käynti). Этот обычай, о происхождении которого у ученых нет единого мнения, был известен в Скандинавии, Германии, Австрии, Швейцарии, отчасти в Восточной Прибалтике. Для Финляндии его формы и распространение были детально рассмотрены в 1930-х годах К. Р. Викманом<sup>11</sup>. В XIX в. у финнов он отмечался на северо-западе, в Похьянмаа, и на крайнем юго-востоке. «Ночное хождение» происходило в летний период, когда девушки обычно спали в сенокосных полях. В определенные дни недели парни имели право посещать их в сенокосных полях. Известно было хождение в одиночку и коллективное. Так, в Похьянмаа все взрослые парни деревни собирались вместе и шли из сенокосных полей во двор. Заходя в клеть, они болтали и шутили с девушками (те же обычно по двое в клетях), а глава парней «сватал» им кого-то из девушек. Остальные шли затем далее. Принятый девушкой парень должен был строго соблюдать нормы поведения. Обычно разрешалось провести ночь в полуодетом виде на одной кровати с девушкой, но интимная близость не допускалась, а парень, попытавшийся перейти границы дозволенного, мог вообще потерять право участвовать в «ночном хождении». Каждый раз у девушки оставался новый парень, до тех пор, пока не появлялся постоянный посетитель, после чего остальные парни не приходили больше в этот двор. Хотя ночные визиты происходили как бы тайно, тем не менее они были общеизвестны, а постоянного посетителя знали и родители девушки. Постоянный визитер становился позже мужем девушки, поэтому согласие родителей приходилось выяснять уже на следующем этапе общения.

В Юго-Восточной Финляндии «ночное хождение» предпринималось в одиночку. При этом попасть в клеть к девушке было непросто: дверь была на запоре, и следовало убедить девушку открыть ее. Иным было

<sup>11</sup>Wikman K. R. Die Einleitung der Ehe.— Acta Academiae Aboensis Humaniora, Abo, 1937.

здесь и отношение родителей к ночным визитерам: они нередко подсаживали и прогоняли парней. В Похьянмаа коллективное ночное хождение обычно делало излишним сватовство: молодая пара обращалась к родителям прямо для получения согласия на обручение и церковное оглашение.

Вообще же сватовство было обычным этапом, а на юго-востоке страны оно сохранялось в сложной, многоступенчатой форме. Сначала они правлялись к родителям девушки с запросом: («хождение длинных лаптей»), затем сват приезжал с женихом «метить» или «оплачивать» девушку: они оставляли залог (обычно деньги, завернутые в платок). Если он принимался, то следовало посещение девушкой дома жениха «посмотреть место для прялки», после чего уже происходило обручение (рукобитие).

Интересно, что в целом у финнов сваты чаще прямо излагали цели своего прихода, чем прибегали к иносказательным речам (о потерянной телушке, ушедшей у охотника дичи и т. п.). Но отказывать в прямой форме считалось невозможным. О намерениях хозяев позволяла судить форма приема. Прибывших сватов всегда сажали за стол, угощали, и только предложение раздеться (оно могло последовать и после угощения) или пройти к камору свидетельствовало о благоприятном ходе дела. При отказе вежливо ссылались на молодость невесты или другие объективные обстоятельства, но никогда не говорили, что не подходят жениху, чтобы не обидеть сватов.

Договоренность о браке считалась окончательной после обручения, когда невеста принимала свадебные подарки жениха — *кихлат*. Хотя их название буквально означает залог, на практике они были уже символом заключенного союза, и в старину молодая пара с этого момента нередко начинала совместную жизнь, справляя свадьбу позже, не говоря уже о церковном венчании, которое стало обязательным только в XVIII в. В Западной Финляндии церковная обрядность — оглашение и венчание — заняли устойчивое место в свадебной обрядности, оглашение часто отмечалось особо: после него устраивали танцы, гостей угощали кофе, булочками и вином. Это торжество иногда соединялось с традиционным обручением, а иногда заменяло его. Интересно, что у деревенской бедноты этот праздник вообще нередко заменял свадьбу: никакого другого торжества по поводу вступления в брак не устраивали.

При обычном же ходе событий после оглашения начинались приготовления к свадьбе, включавшие и описанный выше сбор «помощи» вестой, подготовку подарков, иногда гощение невесты в доме жениха и т. д.

Для свадебных обрядов финнов характерно множество временных и локальных особенностей, вызванных как социально-экономическими причинами, так и другими обстоятельствами, например принадлежностью к некоторым сектам, прежде всего к пиэтистам. Даже для этой систематизации материала автору исследования потребовалось проделать огромную работу. Для того же, чтобы рассмотреть соотношение ареалов различий в свадебной обрядности с теми этнографическими областями и подобластями страны, которые были выделены исследователями по другим элементам народной культуры, следовало разработать также принципы классификации этого материала.

На наш взгляд, исследовательница вполне убедительно показала, что в прошлом в Финляндии повсеместно господствовала так называемая «двухсторонняя» или «двухконечная» свадьба, т. е. справлявшаяся в двух домах. Она делилась на проводимые в доме невесты *ухо* (*läksiäiset*), свадебный поезд и собственно свадьбу *хяат* (*häät*), справляемую в доме жениха. Для этой свадьбы характерно множество элементов, символизирующих заключение союза двух родов, и в ней выделяются те обряды перехода из рода в род, которые было прежде всего выделять в свадебных традициях ван Геннепом. В конце XIX

даже в начале XX в. эта форма свадьбы еще сохранялась на востоке страны, в саво-карельских областях.

В Западной же Финляндии свадьба хотя и справлялась по большей части в обоих домах, утратила свою «классическую» форму, впитав много западных элементов и сильно модернизовавшись в ходе времени. В трансформации свадебной обрядности в Западной Финляндии немалую роль сыграло более раннее и сильное, чем в восточных районах, влияние церкви. В частности, церковное венчание, которое на востоке страны так и не вошло в систему народной обрядности, на западе стало первым моментом ритуала. При этом венчание по большей части проводилось не в церкви, а на дому, на юго-западе страны и в Северной Похьянмаа в доме невесты, а в Центральной Похьянмаа и на Ахвенанмаа (Аландские острова) — в доме жениха. В тех случаях, когда венчание происходило в доме невесты, там проводилась и основная часть традиционных обрядов свадьбы — *хяят*, а в доме жениха — более скромные «приходы». Перенос свадьбы в дом невесты повлек за собой нарушение строгой логической последовательности отдельных моментов ритуала. Так, например, невеста иногда надевала головной убор замужней женщины до первой брачной ночи или, наоборот, и после нее оставалась в подвенечной короне.

Влияние церковной обрядности сказывалось здесь в некоторых внешних моментах оформления свадьбы, в частности из церковного реквизита была заимствована «сень» или полог, который держали над венчающейся парой их подружки и дружки; от церковного венца ведет происхождение и своеобразный головной убор невесты — «корона» на высоком каркасе, сложное и тяжелое украшение.

Во внешнем оформлении свадебных дворов (почетные ворота, свадебный шест, беседка из зелени), помещения для обряда венчания, специальной одежде невесты сказались западные, в первую очередь шведские влияния. Они проявились и в заимствовании некоторых обрядовых моментов: «первом танце невесты», «оттанцевывании» короны, «поднятии молодых» как новых хозяина и хозяйки. Исследовательница отмечает и еще одну характерную черту, появившуюся в результате шведского влияния: в свадебной обрядности увеличилось значение таких свадебных чинов, как дружки и подружки, в роли которых выступала молодежь, в то время как в старинной финской свадьбе ведущую роль играли представители старшего возраста — женщина-каасо и сват.

М.-Л. Хейкинмяки тщательно анализирует время и пути проникновения различных новшеств в финскую свадебную обрядность, выявляя во мере возможностей исходные формы явлений. При этом ею систематически рассматривается терминология и ведется картографирование как терминов, так и самих явлений.

В основу выделения основных типов крестьянской традиционной свадьбы исследовательница положила следующие признаки: 1) локализация свадьбы: проведение ее в одном или обоих домах, 2) наличие двух (жениха и невесты) или одного коллектива (общего) гостей, 3) место проведения важнейших церемоний (т. е. дом невесты или дом жениха): венчания, первой брачной ночи, облачения невесты в костюм замужней женщины и др.

Опираясь на различия в сочетании этих признаков, она выделила четыре основных типа свадьбы: 1) восточную (саво-карельская территория и Кайнуу); 2) юго-западную (провинции Варсинайс-Суоми, Сатакунта, Хямэ); 3) ахвенанмаскую (т. е. Аландские острова) и 4) северо-западную или похьянмаскую с тремя вариантами — южно-похьянмаским, центрально-похьянмаским и северно-похьянмаским.

Правда, нам представляется более обоснованным при выделении типов свадьбы дать несколько иное их соотношение. Основные различия позволяют выделить все же лишь два основных типа — западный и восточный, при этом западный подразделяется на три подтипа (2—4, по Хейкинмяки), из которых один (похьянмаский) имеет в свою очередь три варианта. Но, в конце концов, это вопрос формальный и исследова-

тello. проведему столь кропотливое изучение огромного материала. При чтении книги все время ощущаешь, как целенаправленно ведется анализ данных, сколько внимания уделяется истории развития каждого элемента обрядности. Однако вас не оставляет ощущение, что исследовательница не полностью осуществила свой первоначальный замысел: приведенный материал, анализ отдельных вопросов — все, и сомненно, предоставляет возможности для гораздо более глубоких и шире теоретических выводов, чем те, что находит читатель в публикации. Создается такое впечатление, что в последний момент работе был придан научно-популярный характер, от чего пострадала теоретическая часть исследования. Кроме того, и в самом построении работы сказывается ориентация на финского читателя, в определенной мере знакомого традициями своего народа. Разумеется, издание исследования на финском языке в значительной мере ограничивает круг читателей, о чем нельзя не пожалеть, так как подобные фундаментальные работы должны быть достоянием широких кругов этнографов и фольклористов.

## ОБЩАЯ ЭТНОГРАФИЯ

И. Л. Андреев. Происхождение человека и общества (Современные методологические проблемы и критика немарксистских взглядов). М.: Мысль, 1982. 304 с.

Жанр этой книги своеобразен. Во-первых, это одна из первых монографических работ по антропосоциогенезу (кстати, сам этот термин представляется нам очень удивительным), написанная философом и освещающая именно философско-методологические аспекты происхождения человека и общества<sup>1</sup>. Во-вторых, это не монография в традиционном смысле: в ней нет наукообразия, она написана ярко, полемично, пожалуй, даже популярно, хотя вопросы, затрагиваемые в ней, головоломно сложны и, казалось бы, мало подходят для популярного изложения.

Итак, философия антропосоциогенеза... Рассмотрение этого явления именно с философских позиций явно назрело. Автор совершенно правильно отмечает, что в существующих работах чаще всего имеют место либо проекция в животный мир закономерностей и причинно-следственных отношений, присущих социуму, либо, напротив, попытки объяснить общество и человека при помощи «чисто животных» понятий. Надо добавить (И. Л. Андреев также говорит об этом, но недостаточно четко), что большинство исследований, посвященных антропосоциогенезу, эмпиричны и эклектичны, а порой характеризуются и прямо позитивистской позицией их авторов. С другой стороны нельзя забывать, что развитие человека и общества («человекообщества», хотелось бы сказать) не есть параллельное и поступательное развитие отдельных свойств, качеств признаков. Это прежде всего развитие и трансформация некоторой весьма сложной динамической системы связей и отношений, имеющей глобальный характер и включающей подсистему отношений к природе, в том числе эволюционно-генетические, экологические, морфологические компоненты, не говоря уже о тех подсистемах, которые определяют взаимосвязь коллективной деятельности, развития общества, развития личности вообще, и сознания в частности, развития общения и взаимодействия... Существеннее всего здесь то, что антропосоциогенез не есть смена одного состояния объекта (будь это индивид в биологическом смысле, социум, общественное сознание, система языка) другим его состоянием, не есть переход от одного вида закономерностей к другому виду: это смена состояний развивающейся системы (в марксовом смысле это последнее термина). Боюсь, что при всех достоинствах книги И. Л. Андреева ему хватило как раз этого системного и глобального взгляда на проблему, хотя он вполне ную подошел именно к подобному пониманию.

Правда, взгляд с такой позиции требует от философа, психолога, антрополога, а геолога (а что говорить о биологе или физиологе!) достаточно сложного психологического «салтью». Здесь хочется привести аналогию из лингвистики: языковед, выросши

<sup>1</sup> Можно назвать только замечательную, к сожалению, посмертную книгу Б. Ф. Поршнева «О начале человеческой истории» (М., 1974). Подробный анализ этой книги см.: «Сов. этнография», 1975, № 5. Ряд более ранних работ (книги А. Г. Спиркина, П. Ф. Протасенко и др.) посвящен генезису сознания и не претендует на комплексность подхода.

изучении русского, английского, французского или любого другого индоевропейского языка, если он переходит к изучению языков Африки, Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании, должен прежде всего решительно отказаться от привычной ему концептуальной системы, привычных единиц анализа и привычных моделей взаимосвязей между ними. Только тогда он не будет навязывать этим языкам европейскую структуру, но сумеет вскрыть их собственную специфику, в то же время приобретя более универсальный и обобщенный взгляд на язык вообще. Нечто похожее и должно прийти, как сказано выше, с ученым-гуманитарием, приступающим к исследованию глоттогенеза. Те системные отношения, которые он вскрывает у сформировавшегося человека, в сформировавшемся человеческом обществе и т. п., те конкретные абстрактные объекты, которые фигурируют в качестве субстрата этих системных отношений, в принципе *не годятся* для анализа процессов антропогенеза, во всяком случае на «дочеловеческом» и «дообщественном» этапе. Так, например, ни одно из понятий общей психологии не может быть прямо спроецировано в доисторию<sup>2</sup>, ибо все они наполнены содержанием, соответствующим совершенно определенному историческому этапу развития общества (и человека).

Поэтому возникает интересная в методологическом смысле ситуация, когда мы вынуждены начинать исследование проблемы не с анализа конкретной системы, а с анализа всех *потенциально возможных* вариантов системы, такой организации интересов нас факторов и таких ограничений, которые накладываются на выбор этих вариантов конкретными условиями. Хорошим эвристическим приемом здесь, вероятно, может служить постановка проблемы не в глобальном, а в космическом масштабе. Иначе говоря, мы проводим мысленный эксперимент, «строим» потенциально возможный мир «помещая» его на другое небесное тело. Так, чтобы понять природу *человеческого* языка, весьма полезно задать вопрос: какой могла бы быть система средств общения вне Земли? Но тогда надо ответить и на вопрос о том, каким мог бы быть другой, «нечеловеческий» социум, и на вопрос о том, как могут соотноситься общественное познание, общественный опыт с индивидуальной психикой, и на вопрос о соотношении этой психики и ее физиологического субстрата и т. д. Такой подход (названный ксенографическим) заставляет нас, кстати, дать четкую дифференциацию подтипов универсальных типов связей (универсальных законов), присущих любой потенциально возможной системе, и закономерностей, действующих только внутри данной конкретной системы, хотя и универсальных в ее масштабе, т. е. глобальных. И именно философ-марксист, как никто иной, может сказать здесь решающее слово. Постулируемая фантастами «биологическая цивилизация» невозможна как раз по соображениям универсального порядка.

Возвращаясь к проблеме антропогенеза, к которой мы попытались подойти «наружу», т. е. ксенографически, мы, по-видимому, должны прежде всего построить достаточно абстрактную модель системных связей, учитываемых в ходе анализа, и затем реальные образующие интересующей нас развивающейся системы, т. е. нераргировать (применительно к этой конкретной системе) типы связей и факторы, влияющие на развитие системы. Что же касается субстрата этих связей, или проще говоря, концептуальной системы, которую мы используем для описания конкретных объектов на разных этапах развития, методологические соображения подсказывают нам, следует не идти от нее, а *приходить* к ней.

После этого сильно затянувшегося методологического вступления перейдем к характеристике отдельных глав рецензируемой книги.

Главная идея «Предисловия» — необходимость философско-методологического анализа проблемы антропогенеза. Автор видит здесь три аспекта: методологический, философский и идеологический (с. 14).

Глава первая — «История человечества в истории Земли» — посвящена обоснованию глобальности проблемы и отстаиванию идеи зависимости вида *Homo sapiens* от существовавших его формированию естественных условий (наследственность, среда обитания).

Во второй главе — «Гоминидная триада» — автор анализирует морфологию человека, опираясь на соответствующие мысли Ф. Энгельса. По И. Л. Андрееву, морфология человека, с одной стороны, подготовлена «дочеловеческим» развитием (прямохождение, развитие человеческой руки, объем и качественно новый тип строения человеческого мозга), с другой — даже при наличии соответствующих предпосылок она могла возникнуть лишь благодаря новым функциям, связанным с эволюцией антропидов «сторону человека». При этом три члена гоминидной триады олицетворяют разное отношение тех и других факторов: наиболее «дочеловеческим» является прямохождение, наиболее «функционально-человеческим» — строение мозга.

В третьей главе — «Сущность и происхождение труда» — автор совершенно правильно ищет эволюционную связь между животнобразным и собственно человеческим трудом, т. е. естественные предпосылки становления труда, но в то же время подчеркивает, что это — проблема «особенностей трудовой деятельности, ее внутренней эволюции. Уже после выхода в свет книги И. Л. Андреева была опубликована относящаяся к 1940 г. лекция А. Н. Леонтьева, где подробно рассматривается в психологическом плане именно генезис трудовой деятельности<sup>3</sup>. Многие из мыслей этой работы ходят параллель и в соображениях И. Л. Андреева, в частности в его наблюдениях

<sup>2</sup> См. об этом: Леонтьев А. А. Проблема глоттогенеза в современной науке. — В кн.: Язык и языкознание. М.: Наука, 1972.

<sup>3</sup> Леонтьев А. Н. Анализ деятельности. — Вестн. МГУ. Сер. 14: психология, 1983, 12.

над кажущейся «алогичностью» поведения отдельного индивида в условиях коллективного труда, связью этой алогичности с «организаторским трудом» (едва ли это новый термин!) и, что еще важнее, *планированием* деятельности.

Как ни странно, но в четвертой главе — «Проясняющееся сознание» — эти мысли не реализован. Автор очень тонко анализирует корни сознания, но почему-то упускает из вида то, что сам же подчеркивал ранее: необходимость в условиях коллективного труда разделить его планирующую и исполнительскую части, что прямо путем ведет к рождению теоретического мышления. Говоря далее о генезисе самосознания, И. Л. Андреев, мне кажется, несколько недооценивает, что это — оборотная сторона (и условие) осознания окружающего мира как чего-то отделенного от «меня».

Наиболее профессионально близка мне глава пятая — «От языка животных к членораздельной речи». С большинством ее мыслей следует согласиться. Хотелось бы только обратить внимание автора, что в отличие от звукового языка жест весьма способен осуществить точную дифференциацию значений и их организацию в некоторую целостную структуру. С другой стороны, как и большинство авторов, И. Л. Андреев нечетко дифференцирует язык как систему коммуникативно ориентированных структур и язык как систему значений, которая может «оформляться» в виде коммуникативной системы (собственно языка) или существовать как «предметные значения», конституирующие у человека его образ мира. Иначе говоря, генезис *общения* (и средств!) неразрывен с генезисом сознательного *отражения*.

«Диалектике антропосоциогенеза» посвящена шестая глава. Ее пафос в том, «переход на каждую более высокую ступень антропосоциогенеза не был ни повсеместным, ни одновременным» (с. 149), и эта мысль, особенно в свете сказанного в нашей рецензии об антропосоциогенезе как процессе развития единой системы, представляется очень своевременной. Действительно, факт «скачка», рассматриваемый под углом зрения философии, не означает, что в какой-то момент времени произошел «поворот в другую». Наоборот, гораздо больше фактов, свидетельствующих о том, что феноменологически процесс антропосоциогенеза отнюдь не выглядел как цепочка «взрывов». А если это так, то возникает очень важное соображение, а именно: реальные факторы антропосоциогенеза включали в себя соотношение одновременно существовавших на различных ступенях развития. Пример: экология взаимоотношений популяций кроманьонцев и неандертальцев, если допустить их временное сосуществование. Об этом факторе интересные мысли можно найти в книге Б. Ф. Поршнева.

Глава седьмая — «„Разобезьянивание“ обезьяны» — посвящена кризису прежде чисто животной жизнедеятельности высших антропоидов третичного периода (с. 164), следствием которого должен быть поиск «неживотных» средств выживания. В качестве нового и важного фактора эволюции выступает психика, обеспечивающая во всю большую эволюционную пластичность. Предтрудовая деятельность, по И. Л. Андрееву, зародилась как «один из вариантов специфической биологического приспособления к окружающей среде, перераставшего в свою противоположность» (с. 171). Наконец автор настаивает на том, что предлюдям была свойственна «двойная этология», связанная как с орудийной деятельностью, так и — одновременно — со стадностью.

Глава восьмая носит классическое «веркоровское» название — «Люди или животные?». Ее главная мысль следующая: «Диалектико-материалистическое понимание переходной ступени позволяет теоретически доказать практическую бесплодность многих численных попыток найти некую эмпирически фиксируемую границу между „последней“ обезьяной и „первым“ человеком» (с. 183). Именно в этой главе И. Л. Андреев ближе всего подходит к «системологической» трактовке антропосоциогенеза.

Глава девятая — «Утро человечества» — развивает тот же методологический подход. В ней еще и еще раз фиксируется, что один и тот же субстрат может входить в различные виды связей и что процесс антропосоциогенеза и есть прежде всего развитие таких связей. Автор прослеживает основные этапы развития.

Глава десятая — «Ни Маугли, ни Робинзон» — это глава о коллективной деятельности. Следует отметить, что предложенное автором понимание деятельности могло бы быть более «психологичным».

В одиннадцатой главе — «Мог ли кроманьонец поступить в Сорбонну?» — генезис коллективного сознания выводится из коллективной деятельности и трактуется процесс выделения индивидуального сознания.

Итоговая двенадцатая глава — «Человек и общество» — касается начальных стадий развития общества как такового — вплоть до появления частной собственности и складывания родового строя.

Сказанное выше показывает, что И. Л. Андреев написал остро полемичную, в высшей степени богатую идеями книгу, опирающуюся на многочисленные факты из самых различных областей знания. Она, действительно, намечает важнейшие пути методологической трактовки антропосоциогенеза и дает острую и аргументированную критику немарксистских и антимарксистских концепций. Можно сказать, что задача, поставленная автором, решена в целом успешно. Особо хотелось бы отметить аутентичность используемых фактов: к сожалению, мы все привыкли к тому, что профессиональные философы часто привлекают при освещении комплексных проблем конкретный материал, взятый из вторых или третьих рук и осмысленный приближенно, а порой и просто неверно. Приятно подчеркнуть, что та часть материала, которая мне доступна (психология, лингвистика и смежные области) в книге И. Л. Андреева представлена весьма корректно и профессионально.

Таким образом, появление рецензируемой книги надо приветствовать. Она получилась яркой, насыщенной, талантливой и глубоко профессиональной.

А. А. Леонтьев

Новый тематический сборник Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая СССР посвящен важным, но мало еще разработанным проблемам отображения в фольклоре таких сложных и комплексных по своей сути явлений, как этногенез, этнокультурные связи народов, взаимосвязь словесного фольклора с древнеписьменными памятниками и изобразительным искусством. Он охватывает древнейшую этническую историю народов главным образом Азии и Америки. Главная ценность сборника в том, что большая часть входящих в него статей носит источниковедческий характер и раскрывает ценность фольклорных источников для решения сложных вопросов древнейшей истории народов в основном на том ее этапе, когда отсутствовали (или почти отсутствовали) письменные источники.

Источниковедческий аспект — важный, но не единственный в сборнике. Его материалы дают возможность по-новому осветить и собственно фольклорные проблемы: отношение фольклора к другим типам исторических источников, собственно фольклорную специфику анализируемых памятников, ареальное изучение фольклора, пределы больших географических и этнических регионов, стадиальную изменчивость сюжетов, мотивов и образов фольклора и т. д.

Сборник в целом свидетельствует о плодотворности сравнительно-исторического метода исследования фольклора, о большом значении пограничных областей науки, лежащих на стыке фольклористики с этнографией, археологией, лингвистикой, эпиграфикой, археографией, антропологией. Все входящие в это издание статьи представляют собой плод самостоятельного исследования, основанного на добросовестном использовании самых разнообразных источников. И хотя в некоторых случаях выводы авторов могут вызвать несогласие читателей (см. об этом ниже), тем не менее публикация их работ, безусловно, оправдана, ибо дискуссионность выводов — не недостаток, а достоинство настоящего сборника, побуждающего специалистов к дальнейшему изучению такой еще недостаточно разработанной проблемы, как принципы отображения исторической истории в фольклоре.

Сборник открывается кратким, но емким по содержанию предисловием ответственного редактора Р. С. Липец, подчеркнувшей необходимость пересмотра ряда положений фольклористики в свете последних достижений археологии и этнолингвистики. Убедительная историческая перспектива, вскрытия древнейших пластов жизни народов. Автор совершенно справедливо говорит о том, что изолированное изучение фольклора является теперь практически невозможным. Лишь привлечение всех смежных с фольклористикой наук дает возможность прийти к полноценным и достоверным в настоящее время выводам.

Статья Л. С. Толстовой «Использование фольклора при изучении этногенеза и этнокультурных связей народов (на среднеазиатском материале)» раскрывает глубинные процессы сложных перемещений и смещений отдельных этнографических групп, различных по происхождению, главным образом на примере каракалпаков. Статья правильно ставит и решает вопрос об использовании исторического фольклора в качестве исторического источника. Правда, остается неясным, согласен ли автор статьи с Н. Азбелевым, различающим предания и легенды (с. 10—11). Интересная графическая схема распространения сармато-сако-массагетских преданий хорошо иллюстрирует значение двуязычия в передаче фольклорных мотивов, о чем в свое время убедительно писала Р. С. Липец<sup>1</sup>.

Содержательная статья Е. В. Антоновой и Л. А. Чвырь «Таджикские весенние игры и обряды и индоиранская мифология» представляет собой попытку установления анализа древнего мифического пласта в современных весенних играх таджиков. Статья основана главным образом на полевых материалах, собранных в свое время М. Пешерова и одним из авторов статьи — Л. А. Чвырь, давно уже опубликованных, но с этой точки зрения еще не рассматривавшихся. Статья хорошо обоснована фактами на предшествовавшие исследования и убедительна по общим выводам, хотя представляется сомнительной правомерность сопоставления таджикского материала с мифом о Зевсе (с. 28), славянской мифологией (с. 36), которые восходят, как принято считать, к совсем другой культурной традиции.

Большая статья Р. С. Липец «Завоеванная женщина в тюрко-монгольском эпосе» основана на широкой источниковой базе. Автор привлек эпические сказания различных народов и, умело сопоставив их между собой, установил общие, присущие этим явлениям закономерности. Очень выразителен помещенный в статью рисунок — петрициф Сыны-Чюрека в Центральной Туве — подлинное украшение статьи, которая хорошо формулирует сложные вопросы хронологизации героического эпоса и связанной с ним специфики его образов и ситуаций. Образ «завоеванной женщины», характерный для героического эпоса различных тюркоязычных и монголоязычных народов, автор относит к эпохе военной демократии и тем самым ставит вопрос о возможности датирования данного мотива для датировки эпических сказаний. Мотив же «героического сватовства» и образ «предназначенной невесты», столь широко известный в современной фольклористике, автор не считает основными, ведущими для жанра героического эпоса. С подобной точкой зрения можно и спорить. Думается, дело не в том, какому мотиву или образу следует придать большее значение, а в том, что в

<sup>1</sup> Липец Р. С. Отражение этнокультурных связей Киевской Руси в сказаниях о Игоре и Игоревице (X век). — В кн.: Этническая история и фольклор. М.: Наука, 1977, с. 228.



одних конкретных случаях и ситуациях на первый план выдвигается один мой образ, а в других — другой. К проблемным темам (исследования образа жен эпоса, которые автор перечислил в заключении к своей статье) следовало бы также и сопоставление рассмотренных в статье мотивов героического эпоса со (сравнение с неузнанным сыном, жена-пленница и т. д.). Статья очень интересна постановке проблемы, и по ее решению.

Статья П. А. Троякова «Аналогии героическому эпосу тюркоязычных народов орхон-енисейских памятниках» представляет собою плодотворную попытку сопоставления эпоса современных тюркоязычных народов с памятниками орхон-енисейской письменности. Автор подчеркивает не только общность поэтики эпоса и эпиграфики и показывает различие в трактовке традиционных образов и мотивов. Наблюдения автора будут полезны для дальнейшей работы над эпиграфическими текстами, а последние время все шире привлекают к себе внимание исследователей<sup>2</sup>.

Работа Г. И. Михайлова «Мифы в исторических сочинениях XIII—XIX вв. монгольских народов» рассматривает связь исторических письменных сочинений монгольских народов (монголов, бурят, калмыков) с архаическим мифотворчеством. Автор находит отголоски первобытных мифов в ряде эпизодов более поздних исторических сочинений. Он хорошо владеет материалом, умело его анализирует и приходит к выводу, что незначительность мифологического слоя в калмыцких и монгольских исторических сочинениях связана с отсутствием многовековой литературной традиции, характерной для монгольских авторов.

Статья Т. А. Гурьева «Историческая основа некоторых антропонимов в осетинском эпосе» разрабатывает историческую основу нартовского эпоса и тем самым как бы перекликается с известными работами Б. А. Рыбакова, также устанавливающей возможность существования исторических прототипов русских былин. В плане она полезна и историку, и фольклористу. Автор настаивает также на архаическом характере нартовского эпоса, на наличии в нем инородческой струи. С его выводом можно в целом согласиться, хотя некоторые (вплоть, впрочем, понятные) утверждения исследователя и требуют кое-каких корректив. Так, сомнительно утверждение автора, что «ни одно название не попадает в эпическую номенклатуру случайно» (с. 10). едва ли справедливо начисто отрицать элемент случайности, в том числе и влияющие на дивидуальность творчества сказителя.

В. Н. Басилов в статье «Следы культа умирающего и воскресающего божества в христианской и мусульманской агниологии» выявил отголоски этого культа в легендах, связанных с мотивом неполной смерти. Для своего обзора агниографических легенд автор взял обширный в хронологическом и ареальном охвате Евразийский регион, правда, не оговорил, почему им взята в качестве объекта исследования только христианская и мусульманская агниология. Разве не было подобных же легенд в других религиозных системах, например в сикхизме? Основное внимание автор сосредоточил на мотиве несения святым своей отрубленной головы, причем он воздерживается от освященного традицией образного термина «бродающий сюжет», подчеркивая этническое происхождение подобных легенд на местной почве. Работа В. Н. Басилова вносит некоторые новые моменты в исследование исторических корней религии, в изучение механизма культурной преемственности в народном творчестве.

Статья И. С. Гурвича «Ареальное изучение эпических произведений народов северной Европы и Дальнего Востока СССР» сопоставляет эпос этих народов с этнической историей народов Северо-Востока Сибири. Она, несомненно, будет иметь значение при разработке метода картографирования фольклорных явлений — не только давно уже привлекающей внимание автора. В результате исследования И. С. Гурвич устанавливает три больших ареала, для которых характерны: 1) зародышевые формы эпоса, 2) ранние формы эпоса, испытавшие влияние южносибирских традиций, 3) развитые формы героического эпоса. Приложенная к статье карта наглядно иллюстрирует выводы автора и показывает географическое размещение этих ареалов. Интересны выводы автора об особенностях героического эпоса народов северо-восточной Сибири и о характере эпических героев и др.

Три статьи рецензируемого сборника посвящены фольклорной специфике творчества индейцев Америки. Первая из них — статья С. Я. Серова «Медведь-сказитель (Вариации обряда и сказки у народов Европы и Испанской Америки)» — необычайно широка по охвату анализируемого материала. Выполненная в лучших традициях сравнительно-исторического метода, она весьма плодотворна по полученным результатам, полно раскрывает тему. Почти все известные в науке варианты изучаемого эпического сюжета в рассматриваемых регионах использованы им и проанализированы. К большой предшествовавшей литературе он отнесся критически, в ряде случаев возложил свою собственную интерпретацию известных ранее фактов. С. Я. Серов хорошо показывает, как на древние местные образы избранного им для анализа сюжета наложились новые в результате контактов американских аборигенов с пришлым индейским населением. Убедителен вывод о причинах широкой популярности данного сюжета в фольклоре разных народов не только Европы и Америки, но также и Сибири, Кавказа, Малой Азии и других регионов.

<sup>2</sup> Хотелось бы обратить внимание на встречающиеся в некоторых случаях небрежности в оформлении научного аппарата. Ну, что может дать читателю ссылка в статье П. А. Троякова, где просто перечислено 16 имен исследователей XIX—XXI вв. В сноске 42 к той же статье нет указания на страницы. В сноске 6 к статье Р. С. Печет нет номера журнала и т. д. В академическом издании это, конечно, нежелательно.

Вторая работа из этой группы — статья Ю. Е. Березкина «Мифология индейцев Латинской Америки и древнейшие фольклорные провинции (Анализ одного мифологического сюжета)» — поднимает важный и сложный вопрос о значении анализа мифов для исследования древнейшей этнической истории индейцев Латинской Америки. Автор правильно отмечает, что полученные им данные не окончательны, что они должны рассматриваться в совокупности с другими фактами лингвистического, этнографического и археологического характера. В то же время следует отметить, что выдвинутая автором гипотеза относительно широкого распространения мифов о герое-мстителе имеет все права на существование. Публикуемые автором карты бытования подобных мифов, равно как и древние изображения, возможно, иллюстрирующие мифы о героях-мстителях, удачно дополняют исследование. Следует всемерно поддержать инициативу автора, указавшего основную литературу по теме статьи (кроме той, что упомянута в примечаниях).

Третья статья — А. Л. Налепина «Проблемы реконструкции мифологических систем (Работы Дж. Д. Кёртина)» — глубокое историографическое исследование, посвященное видному американскому этнографу и фольклористу. Автор подробно изложил метод, применявшийся Кёртином при исследовании мифологических систем, показал его преимущество и верно определил его ограниченность: при всех достоинствах метода Кёртина он, конечно же, не универсален, хотя отдельные наблюдения и выводы этого крупного американского этнолога заслуживают самого серьезного внимания. Заслуга А. Л. Налепина в том, что он извлек из небытия этого интересного ученого, много сделавшего для ознакомления Америки с русским фольклором. Метод Кёртина должен быть учтен теоретической мыслью фольклористики.

Сборник завершает статья В. П. Алексеева «О различии синхронного и диахронного сравнения этнографических явлений». Автор ставит новую в исторической этнографии проблему перенесения на этнографический материал метода дифференцированного синхронного и диахронного подхода. Этот метод, заимствованный из лингвистики, позволяет В. П. Алексееву сделать вывод, что одно синхронное сравнение не может дать точных и бесспорных данных. В то же время и возможности диахронного сравнения, ограниченного узкими хронологическими рамками, также весьма скромны. Выход же за рамки системных структур (таких, как народ или группа родственных народов), по мнению автора, приводит к субъективизму. Что же касается фольклорного материала, то его изучение осложняется своеобразием фольклора как исторического источника, требующего разработки специфических методов исследования.

В целом сборник производит хорошее впечатление. Опубликованные в нем материалы будут полезны историку и этнографу, фольклористу и археологу, филологу и антропологу. Особенно привлекает то, что, как уже было сказано выше, многие статьи характеризуются источниковедческим подходом к изучаемому материалу. Следует заметить, что из основных семи типов исторических источников фольклор — один наименее изученных именно с источниковедческой точки зрения. Это давно уже отмечено в нашей историографии источниковедения. Встает вопрос: а не настало ли время Институту этнографии АН СССР подумать о создании специального сборника статей, посвященных анализу фольклора с источниковедческой точки зрения? Ведь имеется всего несколько статей, поднимающих эту проблему, но отнюдь ее не решающих. Источниковедение русского фольклора и — шире — фольклора народов СССР и мирового фольклора — область, почти не исследованная. Выход в свет рецензируемого сборника свидетельствует о том, что в Институте этнографии АН СССР сложился достаточно опытный и зрелый коллектив, которому под силу взять на себя разработку такой большой и нужной проблемы.

*Л. Н. Пушкарев*

## НАРОДЫ СССР

В. Седов. Восточные славяне в VI—XIII вв. М.: Наука, 1982. 325 с. с илл.

В ближайшее время историческая наука обогатится еще одним фундаментальным трудом, посвященным древней и средневековой истории нашей Родины, — 20-томной «Археологией СССР». Пока вышли только три тома, остальные 17 готовятся к печати. Настоящая рецензия касается одного из томов издания, написанного В. В. Седовым — «Восточные славяне в VI—XIII вв.» (отв. редактор акад. Б. А. Рыбаков)<sup>1</sup>. Археологические материалы по истории восточного славянства VI—XIII вв., хранящиеся в фондах многих научных учреждений и музеев страны, собирались несколь-

<sup>1</sup> Настоящей монографии предшествует целый ряд работ В. В. Седова, посвященных происхождению и истории восточных славян: *Седов В. В. Кривичи.* — Сов. археология, 1960, № 1; *его же.* Сельские поселения центральных районов Смоленской земли (III—XV вв.). М.: Наука, 1960; *его же.* Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М.: Наука, 1970 (МИА, № 163); *его же.* Анты — В кн.: Проблемы советской археологии. М.: Наука, 1978; *его же.* Происхождение и ранняя история славян. М.: Наука,

книги поколениями ученых и краеведов на протяжении 150 лет. В рецензируемой книге эти материалы впервые охватывают весь избранный для изучения период, они четко систематизированы и получили историческое осмысление на современном уровне науки. Данные археологии и смежных наук позволили автору, насколько это возможно, восстановить конкретную историю каждого из 12 племенных союзов восточных славян, рассмотреть пути их расселения, проанализировать тесные культурные связи с финно-угорским и балтским населением.

В монографии в сжатой, но очень насыщенной материалами форме освещены многие проблемы этнической истории восточных славян, условия сложения древнерусской народности, зарождения дружинного сословия и раннефеодальных городов, публикуются новые данные по славянскому язычеству.

Огромный хронологический диапазон данного исследования неизбежно повлек за собой и его значительный объем: всего в книге более 50 печ. л. (325 с. текста, 70 таблиц, 20 рисунков, 8 цветных таблиц, последние почему-то без нумерации, 38 карт). Книга снабжена большим справочным материалом — библиографией (источники, исследования и публикации) и указателями: именованным, географическим и этнокультурным.

Исследование открывается введением, в котором автор излагает общие сведения о восточных славянах, к VIII—IX вв. широко расселившихся на Восточно-Европейской или Русской равнине («восточные славяне — понятие не географическое, а этноисторическое» — с. 5). Базируясь на данных лингвистики, автор утверждает, что история восточного славянства начинается с того периода, когда из общеславянского (праиндоевропейского) языка стал выделяться самостоятельный восточнославянский язык» (с. 9).

Книга состоит из трех больших разделов. Часть первая — «Славяне Восточной Европы V—VII вв.» посвящена периоду, непосредственно предшествовавшему сложению восточного славянства. Во второй части — «Восточнославянские племена в составе древнерусской народности» дана история племенных групп восточных славян, известных по русским летописям; характеризуются условия их расселения и формирования, анализируется процесс взаимодействия их с неславянским населением Восточной Европы. Третья часть книги — «Общие вопросы восточнославянской археологии» — посвящена социально-экономической истории восточных славян, условиям сложения древнерусской народности, русской дружине, а также славянской языческой религии на археологическом материале. Последние разделы написаны особенно живо и интересно.

Каждый раздел в свою очередь делится на отдельные главы. В книге их всего 12.

Первая глава посвящена раннеславянским памятникам южной части Восточно-Европейской равнины, куда входят культуры, объединенные автором в две большие группы: пражско-корчацкую и пражско-пеньковскую.

Основным критерием, позволившем выделить эти культуры, явилась славянская керамика третьей четверти I тысячелетия н. э. Важными этническими признаками культуры славян были также приемы домостроительства и погребальный обряд. Для устройства своих поселений, которые в то время были еще не укрепленными, славяне выбирали территории, пригодные для земледелия и пастбищ, что говорит о земледельческо-скотоводческом облике их хозяйства.

Памятники пражско-корчацкого типа выявлены и исследованы на обширных пространствах от Верхней Эльбы до Киевщины. В рецензируемой книге дана исчерпывающая историография изучения этих древностей как на восточнославянской территории, так и за рубежом. В Советском Союзе подобные славянские древности известны в южной части Припятского бассейна, на Тетереве, в верховьях Буга, Днестра, Припяти и в Закарпатье.

По одному из первых изученных поселений в Припятском Полесье, у с. Корчац Житомирской области, эти памятники получили название корчацких. В последние десятилетия исследованием этой культуры успешно занимается И. П. Русанова. Благодаря ее свидетельствам о том, что данная культура оставлена именно славянским населением, является ее генетическое родство с древнерусской культурой последующего времени.

Вторая большая этнокультурная группировка славян получила название по исследованным поселениям в районе с. Пеньковка на Тясмине. Особенности данной культуры проявляются в своеобразной керамике, домостроительстве и обрядности.

Пражско-пеньковская керамика распространена на поселениях Днестра и его притоков, от устья Роси до Запорожья в бассейне Южного Буга и в междуречье Днестра и Прута. Проникает она и в днепровское лесостепное левобережье. Славянские памятники известны в нижнем течении Сулы, Псла, Ворсклы и Орели. Если пражско-корчацкая этнокультурная группа славянства связывается автором со «славянами древних авторов (Иордан), то вторая — пражско-пеньковская — с антами.

Значительный интерес представляет характеристика культур Верхнего Поднепровья и смежных областей третьей четверти I тысячелетия н. э. — памятников колочинско-тушемлинско-банцеровской и мощинской групп.

Население, заселявшее в то время Верхнее Поднепровье, Полоцко-Витебскую и Западно-Двинского бассейна и Верхнюю Оку, не было еще славянским, а принадлежало к близкородственной балтской языковой группе. «Через некоторое время население в результате внутрорегионального взаимодействия со славянами вошло в состав восточнославянских племенных союзов и древнерусской народности. Таким образом, племена, оставившие колочинские, тушемлинско-банцеровские и мощинские древности, были прямыми физическими предками части восточного славянства» (с. 10).

Далее рассматриваются культуры северных территорий, куда входят длинные и

в Кривичей, расположенные в бассейне р. Великой, Псковского озера, в Полоцком крае и Смоленском Поднепровье, а также сонки новгородских славян. В свое время В. В. Седов посвятил этим культурам специальные монографии. В рецензируемой статье излагаются результаты его исследований с учетом новейших материалов.

Наиболее интересными и оригинальными в разделе «Восточнославянские племена в составе древнерусской народности» являются выводы В. В. Седова относительно «Летописными дулебами...» была та часть носителей культуры пражско-корчакского типа, которая расселилась на Волыни и в правобережной части Среднего Поднепровья. Специфически дулебской, — полагает В. В. Седов, — была культура типа «Райковецкой», но только внутри ареала пражско-корчакской керамики» (с. 92). «...» составляли какую-то часть славен-склавенев Иордана. Расшифровывая эту племennую группу восточного славянства третьей четверти I тысячелетия н. э., В. В. Седов приходит к заключению, что ее составляющими были будущие летописные племена, волыняне, поляне и дреговичи (в X—XII вв. они имели и одинаковые височные кольца, и однотипные прочие украшения).

Далее дается развернутая картина истории каждого из названных племен, подкрепляемая картами их расселения и таблицами, характеризующими культуру каждого из них.

Важным представляется краткий очерк о трех племенах юго-западной окраины восточной Европы — хорватах, тиверцах и уличах. Первые обитали в Верхнем Поднепровье, Северной Буковине и Украинском Закарпатье, вторые — в более южных районах Поднепровья, третьи — в междуречье нижнего Днестра и Днестра.

Один из разделов книги посвящен северянам, радимичам, вятичам и донским славянам. Согласно В. В. Седову, большая славянская группировка, расселившаяся единовременно в VIII в. на широкой территории Восточно-Европейской равнины, положила начало распространению роменской культуры в днепровском левобережье, борщевому Дону и близкой к ним славянской культуры на верхней Оке; в результате здесь образовались три локальные группы славян. Однако это еще не были племена, известные по «Повести временных лет».

Сложение северян явилось результатом взаимодействия носителей роменской культуры с местным населением. Предшественниками славян здесь были ираноязычные племенные группы. Вслед за лингвистами В. В. Седов считает, что последние именовались «северами» (летописное «север») от иранского *seu* — черный. Это население существовало среди славян, которые и восприняли старый этноним (с. 138). Ареал летописных северян был в свое время очерчен Б. А. Рыбаковым: это среднее течение Оки, бассейн Сейма и верховья р. Сулы. Города Северянского региона — Новгород Северский, Севск, Путивль, Рыльск.

Славянская культура VIII—X вв. в бассейне Верхнего Дона получила название олевской.

Говоря о вятичах, территория расселения которых охватывает бассейн верхнего течения Оки и поречье Москвы, автор дает обширную историографию работ, посвященных изучению этого племени, освещает письменные и археологические источники, приводит карты вятичских древностей VIII—X и XI—XIII вв.

Крупнейшим исследователем курганов вятичей был А. В. Арциховский. Ему принадлежит заслуга введения в научный оборот огромного вещевого материала курганов, детальная их хронологическая классификация, выделение характерных племенных вариантов, определение племенной границы вятичей. Наиболее важными, этнически определяющими для вятичей предметами являются семилопастные височные кольца. На основании их распространения В. В. Седовым уточнены пределы вятичского племени в регионе (карта 21, с. 143). Наиболее ранними погребальными сооружениями являлись курганы с трупосожжениями, совершенными на стороне.

Курганы с трупосожжениями вятичей ранее была посвящена специальная статья В. В. Седова; подробнее они рассматриваются также в вышедшей недавно книге автора, в настоящей рецензии<sup>2</sup>. Курганы с трупосожжениями датируются VIII—X вв., оди-  
нородный обряд кремации доживает у вятичей до рубежа XI—XII вв., некоторое время сосуществует с обрядом труположения.

Вятичские поселения VIII—X вв., селища и городища, как и их погребальные сооружения, сосредоточены главным образом в самом верхнем течении Оки.

В. В. Седов показывает, что в самом начале VIII в. на Верхнюю Оку — территорию, занятую голядью, с юго-запада пришла группа славян, предводителем которой был летописный Вятоко (уменьшительное от праславянского антропонима Вячеслав). Эта группа еще не была, по-видимому, отдельной этнографической единицей славянского племени. Только изолированная жизнь на Оке и метисация с балтами привели к племенному обособлению вятичей» (с. 148).

Недавно вышло в свет фундаментальное исследование акад. Б. А. Рыбакова «Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв.» (М.: Наука, 1982). В этой книге Б. А. Рыбаков вновь произвел тщательный и скрупулезный анализ источников о Руси в трудах восточных авторов, в частности «Худуд-ал-Алем» («Области мира»), — созданной, по мнению исследователя, в первой половине IX в. безымянным автором Бухары, названным Б. А. Рыбаковым Анонимом. Восточным авторам были известны земли восточных славян, в частности вятичей — «Земля Вангит», столицей которой, по предположению Б. А. Рыбакова, был г. Хордаб (Хурдаб), распо-

<sup>2</sup> Седов В. В. Ранние курганы вятичей. — КСИА, 1973, вып. 135, с. 10—16; Никитская Т. Н. Земля вятичей. М.: Наука, 1981.

ложенный где-то в верховьях Оки (летописный город Корьдно). К сожалению, трудно сказать, с каким древнерусским поселением в Земле вятичей можно идентифицировать это название.

Следующим племенем Юго-Востока, культура которого обстоятельно охарактеризована В. В. Седовым, являются радимичи, обитавшие в бассейне Нижнего и Среднего Сожа и междуречье Сожа и Днепра. Их этноопределяющим признаком являются смилучевые височные колты.

Автор отмечает, что в монографическом исследовании по истории этого племени Б. А. Рыбаковым дана исчерпывающая научная систематизация материалов радимичских курганов и установлена их эволюция во времени (X—XII вв.). Вместе с тем В. В. Седов полагает, что «переселение славян (скорее всего из области Верхнего Поднестровья) в летописный ареал радимичей произошло в VIII в. Радимичская культура в Посожье сложилась на месте в результате синтеза культуры славян-пришельцев с культурой предшествующего населения» (с. 157).

Очень интересна и насыщена материалом глава, посвященная племенам древней Восточной Европы. В ней рассматриваются огромный племенной союз кривичей (смоленско-полесские и северные), словене новгородские, а также славянские населения Волго-Клязьменского междуречья, отличающиеся от них некоторыми локальными особенностями. Многочисленные и детально классифицированные памятники выходящие из этих племенных групп картографированы (карты 25—36), благодаря чему читатель получает полное представление о расселении славян на обширной территории Северо-Восточной Европы о различных деталях их погребального ритуала и инвентаря.

Заключительная часть книги касается общих вопросов восточнославянской археологии. Здесь рассматриваются хозяйство и общественный строй славян в VI—IX вв. дается обзор дружинных древностей, свидетельствующих о зарождении в восточной славянской среде раннефеодального сословия. Интересны наблюдения и обобщения автора об одежде славян Восточной Европы VI—IX вв. При характеристике археологических материалов по славянскому язычеству впервые дается систематизация культовых тилищ, которые дифференцируются на крупные племенные и небольшие местные служивающие одно или несколько поселений.

Далее автор решает вопрос о сути понятий «восточнославянские племена» и «древнерусская народность».

Рассмотрев существовавшие ранее разные точки зрения на вопрос о том, что собой представляли восточнославянские племена «Повести временных лет», автор на основе материалов, исследованных в предшествующих разделах книги, утверждает, что эти племена являлись не только этническими группами восточного славянства, а до сложения древнерусского государства были также политическими образованиями, т. е. племенными союзами. Постепенно «славянские племена, занявшие обширные территории Восточной Европы, переживают процесс консолидации и в VIII—IX вв. образуют древнерусскую (или восточнославянскую) народность. Ведущая роль в создании этой народности, по-видимому, принадлежит древнерусскому государству». На этапе формирования по времени совпадает с процессом складывания русского государства. Территория древнерусского государства совпадает с ареалом восточнославянской народности. «Возникновение раннефеодального государства с центром в Киеве во многом содействовало консолидации славянских племен, составивших древнерусскую народность. Русской землей, или Русью, стали называть территорию древнерусского государства» (с. 272).

Автор подчеркивает, что сложение древнерусской государственности и народности сопровождалось бурным развитием экономики и культуры. «Строительство древнерусских городов, подъем ремесленного производства, развитие торговых связей благоприятствовали консолидации славянства Восточной Европы в единую народность. В результате складывается единая материальная и духовная культура, что проявляется в частности во всем — от женских украшений до архитектуры» (с. 273).

Книга написана в основном на археологических материалах, но она представляет несомненный интерес и для этнографов. Большое внимание уделяется характеристике восточнославянских племенных группировок. Именно выделение и анализ этнографических особенностей в области женских украшений и погребальной обрядности позволили восстановить детальную историю каждой из племенных группировок восточного славянства на протяжении нескольких столетий, показать их взаимодействие как между собой, так и с балтским и финно-угорским населением.

При рассмотрении этнографических особенностей славянского домостроительства выделяются две группы: жилища лесной зоны, ставшие основой севернорусских и полудеревенных построек, явившиеся прототипами южнорусских жилищ и южнорусских хат. Устанавливается, что в основе этих групп лежит членение славянства в середине I тысячелетия н. э. на славян и антов.

В системе аргументации историко-культурных выводов большую роль играют, прежде всего картографирование этнографических элементов культуры восточного славянства и его составных частей — летописных племенных группировок.

В короткой рецензии, к сожалению, невозможно одинаково подробно остановиться на всех проблемах, рассмотренных автором в таком объемном труде.

Рецензируемая книга В. В. Седова «Восточные славяне в VI—XIII вв.» представляет огромную пользу всем историкам, археологам и этнографам в их дальнейших научных изысканиях, преподавателям истории вузов и средних школ, музейным работникам, студентам исторических факультетов и всем, кому дорого славное историческое прошлое нашего народа.

Т. Н. Николаев

За советское время этнографы Белоруссии опубликовали немало исследований по разным аспектам традиционного и современного быта и культуры белорусского народа. Однако публикаций, в которых рассматривались бы разнообразные сведения по этнографии Белоруссии в систематизированном виде, явно недостаточно. К таким публикациям относится лишь очерк «Белорусы» в многотомном издании Института этнологии АН СССР «Народы мира». Но этот очерк вышел из печати давно и стал уже этнографической редкостью.

В 1960—1980 гг. появилось довольно много работ, которые значительно продвинули изучение многих фундаментальных проблем белорусской этнографии. Мы имеем в своем распоряжении трехтомник по истории белорусской этнографии В. К. Бондарчика, книгу Г. Гринблата по этногенезу белорусов, монографии Л. А. Молчановой по материальной культуре белорусов, коллективные сборники по одежде, жилищу и сельскохозяйственным орудиям, сборник «Памятники этнографии» и целую серию работ по различным промыслам, ремеслам, фольклору и т. д. Однако все эти работы не отметили потребности в обобщающей монографии по этнографии белорусов. Наоборот, стала еще острее. Особенно остро отсутствие подобных книг ощущается при изучении курса этнографии в высших учебных заведениях. В настоящее время этот пробел в определенной степени восполнен учебным пособием М. Ф. Пилипенко «Этнография Белоруссии».

Рецензируемая книга имеет солидную источниковедческую базу. Наряду с этнографическими материалами в ней широко использованы данные археологии, языковедения, истории, фольклористики и других наук. Такое комплексное использование данных повышает научно-познавательное значение книги.

Структура пособия отличается стройностью. Оно состоит из введения, пяти глав, охватывающих все важнейшие аспекты этнографии белорусов как дореволюционного, так и советского периода, а также библиографии.

Необходимую информацию об этнографической науке содержит введение. Оно омыт читателя с методологией советской этнографической науки, с основными методами и приемами полевых этнографических исследований, проблемами белорусской этнографии. Введение было бы еще более значимым, если бы автор полнее характеризовал объект изучения современной этнографической науки.

В первой главе кратко прослеживается история этнографического изучения Белоруссии. Автор правомерно начинает историографический обзор с анализа и оценки этнографических сведений, содержащихся в средневековых письменных источниках («Повременные лет», «Статут Великого княжества Литовского» и др.). Более подробно рассматривает богатое наследие белорусских, русских и прогрессивных польских исследователей быта и культуры белорусского народа. Здесь говорится об этнографической деятельности Е. Р. Романова, А. Е. Богдановича, М. В. Довнар-Запольского, П. М. Шпилевского, В. Н. Добровольского, А. Н. Пыпина, В. Сырокомли Кондратовича), М. Федоровского и др. Работы этих авторов анализируются критически, выясняются как достоинства, так и недостатки их публикаций. Тщательно рассматриваются и исследования советских ученых, показывается их большой вклад в этнографическое изучение Белоруссии. Глава снабжена хорошим научным аппаратом, который позволяет читателям легко ориентироваться в многочисленных публикациях по различным проблемам этнографии белорусов. Вместе с тем следует отметить, что вклад не всех этнографов раскрыт достаточно обстоятельно. В частности, более глубокого анализа заслуживает этнографическая деятельность П. В. Шейна, И. Никифоровского, А. К. Сержпутовского, Е. Ф. Карского (с. 20, 21, 28—30).

Во второй главе дан краткий очерк этнической истории Белоруссии. Для этой главы характерно наибольшее разнообразие источников. В ней автор четко выделил основные этапы этнического развития населения на территории Белоруссии, характеризовал исторические, социально-экономические, политические условия, на фоне которых развивались этнические процессы, приведшие к формированию белорусской нации, а затем и белорусской нации. К сожалению, этническое развитие белорусского народа в советскую эпоху охарактеризовано слишком лаконично (с. 64—66).

Третья глава посвящена хозяйству и материальной культуре. Автор прослеживает историю земледелия и земледельческой техники, поселений и жилищ и, что особенно важно, отмечает локальные особенности этих явлений. В книге рассматриваются промыслы (рыболовство, охота, пчеловодство) и ремесла (кузнечное, гончарное, деревообрабатывающее, ткацкое и другие) белорусского крестьянства. Однако ряд распространенных промысловых занятий в пособии не освещен. Среди них — заготовка материалов для деревообрабатывающей промышленности, смолокурение, сплав леса, охотничьи промыслы. Не показано также развитие народных промыслов в советское время. Пособие значительно выиграло бы, если бы оно было снабжено иллюстрациями.

Интересный и разнообразный материал содержит четвертая глава, посвященная общественному и семейному быту. Автор обстоятельно характеризует такую форму общественной жизни дореволюционного белорусского крестьянства, как община, рассматривает ее разновидности — «дворыще» и «тромаду», традиционные обычаи: «святую» (совместное долевое владение пчелиными ульями), «бонду» (первый хлеб, овод, свежее мясо и сало, которыми владельцы этих продуктов делились с родственниками и соседями), «толоку» (бесплатную работу односельчан на уборке урожая).

в хозяйстве одиноких, построение хат погорельцам). Большое внимание уделяется формам семьи, кратко, но содержательно анализируется семейная обрядность, приводятся сведения о народной педагогике.

В пятой главе освещается духовная культура белорусов — фольклор, народная музыка и музыкальные инструменты, традиционное хореографическое и прикладное искусство. Имеющиеся в главе материалы о народных верованиях и росте атеизма в советскую эпоху могут быть использованы в антирелигиозной пропаганде.

Положительной стороной учебного пособия является то, что его автор не ограничился освещением только традиционных форм культуры и быта. Важнейшие социальные и бытовые явления он рассматривает через призму того влияния, которое они оказали на них социалистической страной. Читатель на многочисленных примерах может убедиться в огромных позитивных изменениях, происшедших в образе жизни русского народа за годы Советской власти. Все это, несомненно, имеет не только научно-познавательное, но и воспитательное значение.

Сделанные замечания не снижают того благоприятного впечатления, которое оставляет книга. В целом она характеризуется высоким научно-теоретическим и методическим уровнем и, безусловно, привлечет внимание широкого круга читателей, интересующихся культурой, бытом и этнической историей восточнославянских народов.

И. Н. Беляев

Л. И. Лавров. Этнография Кавказа (по полевым материалам 1924—1978 гг.). Ленинград: Наука, 1982. 224 с.

Печально сознавать, что автора рецензируемой книги уже нет в живых. Л. И. Лавров не дождал лишь нескольких месяцев до выхода «Этнографии Кавказа» в свет последней книги в творческой биографии ученого. И так получилось, что в ней, к сожалению, как бы подводя итог пройденному пути, делится воспоминаниями о своих поездках на Кавказ, размышляет о работе этнографа, о ее трудностях и радостях, о счастье соприкосновения с народной культурой.

Жанр книги определить трудно. Это не монография и не сборник статей. Л. И. Лавров собрал воедино свои полевые дневники за более чем 50-летний период поездок и экспедиций и дал возможность читателю ознакомиться с ними. Эти записки составили в книге 30 очерков, посвященных пребыванию автора в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Абхазии, Дагестане, Грузии. Такого рода издательский случай в практике этнографических публикаций<sup>1</sup>. Собранный в поле материал всегда рассматривался как полуфабрикат, в некотором смысле механическое собрание этнографических фактов, описаний и наблюдений, которые приобретают логику и структуру лишь после переработки его ученым в рамках своей научной концепции. Однако в данном случае оказывается, что полевой материал может иметь гораздо большее значение, чем только источник для этнографического исследования. Хотя с такой задачей можно подойти и к опубликованным запискам Л. И. Лаврова: они насыщены ярким этнографическим материалом, и специалист сможет почерпнуть в них для себя немало ценной информации. Но мне хочется сказать о другом. Полевые дневники Л. И. Лаврова в том виде, в каком автор счел нужным их опубликовать, — производят яркое впечатление. Они читаются с неослабевающим интересом и в целом воспринимаются как символ неутомимой и самоотверженной человеческой деятельности на избранном профессиональном поприще. И в этом мне видится главный смысл следней работы видного ученого-кавказоведа.

Книга открывается воспоминаниями о первых этнографических впечатлениях, полученных автором еще в молодые годы, которые он провел на Кубани, в многонациональном крае, где бок о бок живут адыги, русские, украинцы, представители многих других народов. Эти воспоминания по-своему интересны. Мы можем проследить в сознании молодого человека зарождались первые представления, быть может, в заренных понятиях этнографии — о множественности этнической картины мира, о тесных и многообразных контактах, существующих между народами. Зарождались и добрых представлений во многом способствовало своеобразие окружавшего его быта, наглядные примеры взаимовлияний кавказской и славянской этнических культур, характерные для этого региона Кавказа. Это давало пытливному уму обильную пищу для размышлений, и впоследствии Л. И. Лавров немало сделал для выявления конкретных механизмов и результатов этих взаимовлияний<sup>2</sup>.

Последующие страницы книги помогают читателю получить представление о путях деятельности Л. И. Лаврова как этнографа. Пожалуй, на Северном Кавказе в Дагестане нет такого места, где бы не побывал исследователь; немало троп бы исхожено им и по Закавказью. И всюду этнограф, верный своей профессии, скрупулезно фиксирует увиденное и услышанное в полевом дневнике. Сколь широки и

<sup>1</sup> В кавказоведческой литературе можно указать лишь на одно подобное издание — *Магомедов Р. М.* По аулам Дагестана. Выписки из полевых дневников. Махачкала: Дагучпедгиз, 1977.

<sup>2</sup> *Лавров Л. И.* До питання про українсько-кавказькі культурні зв'язки. — *Народна творчість та етнологія*. Кн. 3. Київ, 1961.

образны интересы ученого, видно уже в самом начале его деятельности: это вопросы генезиса и этнической истории, хозяйства и материальной культуры, социальных отношений, общественного и семейного быта, духовной культуры, этнической ономастики эпиграфики. Такой же всеобъемлющий характер носила исследовательская деятельность Л. И. Лаврова и в дальнейшем.

Материалы, помещенные в «Этнографии Кавказа», интересны тем, что они содержат записи Л. И. Лаврова, относящиеся еще к 20—30-м годам — периоду, довольно мало освещенному в специальной литературе. Между тем в эти годы происходили необычайно важные процессы, которые Л. И. Лавров в одной из своих работ назвал «эволюцией быта на Кавказе»<sup>3</sup>. Автор воочию наблюдал эту революцию. Он был свидетелем того, как традиционный кавказский быт размывался под влиянием грандиозных социально-экономических перемен, как патриархальные устои сдавали свои позиции, уступая место новым порядкам и явлениям. Вместе с тем старое еще цепко держалось за жизнь, поэтому кавказская действительность тех лет представляла собой причудливое сочетание традиционных и новационных элементов. Конкретные этнографические реалии того периода, отражающие сложный, во многом противоречивый процесс ломки старого быта, можно найти в дневниковых записях Л. И. Лаврова, опубликованных в рецензируемой книге.

Судьба этнографа не раз заставляла Л. И. Лаврова вновь посещать, иногда через много лет, те места, в которых он уже однажды побывал. И снова рука ученого тянется к карандашу и блокноту, чтобы зафиксировать перемены и изменения в жизни местного населения. Соответствующие материалы из полевых дневников читатель может сравнить и таким образом проследить за динамикой развития бытовой культуры тех регионов Кавказа, которые в свое время были охвачены исследованиями Л. И. Лаврова. Это, безусловно, ценный и уникальный материал.

Готовя свои полевые материалы к публикации, Л. И. Лавров, очевидно, ограничился лишь самой минимальной авторской правкой. Поэтому страницы «Этнографии Кавказа» порой хранят печать фрагментарности и отрывочности, столь характерных для полевых дневниковых записей. Но они тем и интересны, что отражают именно живое, сиюминутное впечатление, с фотографической точностью схваченное в статике мимолетного наблюдения. Этим у читателя создается как бы эффект личного присутствия, более того за всеми описаниями чувствуется рука опытного этнографа, отделяющая интересное от малозначительного, существенное от поверхностного, закономерное от случайности. В результате из коротких, на первый взгляд не связанных точно значенной общей идеей самостоятельных очерков вырастают яркие, сочные, наполненные живыми характеристиками и подробностями картины кавказского быта.

Характерной чертой дневниковых записей Л. И. Лаврова является обостренный интерес автора к людям, с которыми ему приходилось общаться, к информаторам, по полям живой культурной традиции этноса. Страницы его полевых дневников сохранили яркие эпизоды встреч с теми, с кем довелось когда-то работать. Зачастую эти записи превращаются не просто в рассказ об отдельных людях, а в маленькие ноты о трагических судьбах дореволюционной истории народов Кавказа. Таков, например, щемящий душу рассказ о судьбе старика-абхаза, покинувшего родину во время махаджирства — массового переселения в Турцию в 60—70-х годах XIX в.

Немало строк в книге посвящено местным исследователям истории и этнографии Кавказа, с которыми Л. И. Лавров встречался во время поездок. Он тепло и с благодарностью вспоминает о С. И. Габиеве, М. И. Ермоленко, А. П. Краснове, А. Л. Луине, И. А. Наврузове, А. К. Хашба, Г. З. Шакирбай и многих других.

Как правило, в полевых дневниках этнограф меньше всего говорит о себе. В этом отношении материалы, помещенные в «Этнографии Кавказа», не являются исключением. Однако по прочтении книги остается чувство прикосновения к глубоко личному документу, поскольку страницы «Этнографии Кавказа» — это не просто бесстрастное описание явлений, фактов и предметов, но заинтересованный рассказ о них, в котором проявилась человеческая индивидуальность автора. И прежде всего она видна присущему дневниковым записям Л. И. Лаврова обостренному вниманию к особенностям местного быта, ко всем проявлениям «кавказского», где за чисто профессиональным интересом скрывается чувство искренней любви и глубокой привязанности к отеческому краю, в котором этнограф вырос и возмужал.

В заключение мне особо хочется выделить высказанную Л. И. Лавровым на страницах «Этнографии Кавказа» мысль о необходимости соединения усилий всех кавказцев страны для решения крупных общекавказских проблем, без распыления исследовательского поиска на мелкие темы. Нельзя не признать своевременность этого призыва. Современное состояние наших знаний позволяет ставить подобные проблемы и работать методы для их успешного разрешения.

В короткой рецензии практически невозможно остановиться на всех интересных делах рецензируемой книги. Несомненно одно — она найдет и уже нашла широкий отклик у специалистов. Автор справедливо надеялся, что «материалы этой работы пригодятся исследователям истории и этнографии Кавказа».

Ю. Д. Анчабадзе

<sup>3</sup> Лавров Л. И. Историко-этнографические очерки Кавказа. Л.: Наука, 1978, с. 5.



Ульяновский государственный педагогический институт имени И. Н. Ульянова издал в конце 1981 г. очень маленьким тиражом (800 экз.) важное для развития краеведения в Ульяновской области учебное пособие Л. П. Шабалиной «Этнография в школьном краеведении».

Краеведческая работа в школах области с каждым годом приобретает все больший размах, поэтому появление упомянутого учебного пособия весьма своевременно. Только в одном Павловском районе в настоящее время открыты и успешно работают 16 школьных краеведческих музеев — почти в каждой средней и восьмилетней школе. В некоторых районах музеев в школах нет, но краеведческая работа в той или иной мере ведется. Надо отметить, что во время походов по родному краю учителя и учащиеся всех школ находили интересные народные вышивки, изделия народного ремесла; записывались бытующие в населенных пунктах области частушки, народные песни, изучались быт, культура населения дореволюционного и настоящего времени. Но эта работа нередко проводилась бессистемно, стихийно, подчас неумело. Случается, что ценнейшие экспонаты оседают без движения, в кабинетах руководителей школ, в учебных кабинетах, а то и просто исчезают. Пособие Л. П. Шабалиной поможет учителям и учащимся понять значение памятников материальной и духовной культуры, которые встречаются им во время походов и экскурсий по родному краю, научно и исторически правильно собирать и экспонировать этнографические материалы в школьном учебном кабинете. Хочется надеяться, что под влиянием этого пособия во многих школах области начнется создание специальных этнографических музеев.

Такие музеи играют важнейшую роль в воспитании учащихся. Изучение жизни населения той или иной местности в разные исторические периоды (наглядных предметов обиходной жизни, фольклора, местных географических названий) позволяет зримо ощутить огромные изменения, происходящие в стране под влиянием строительства социализма, а также сохранить накопленные народом материальные и культурные ценности.

Очень коротко охарактеризовав в отдельной главе этнографию как науку, рассказав в другой небольшой главе об особенностях этнографической работы в школах страны, в том числе Ульяновской области, автор пособия основное внимание уделяет методике изучения школьным учителем культуры и быта своего края: традиционных занятий, поселений, топонимики края, жилища, одежды, пищи, фольклора, праздников и обрядов. В приложении к брошюре приведена общая литература по этнографии, специальная литература о народах Поволжья, об Ульяновской области, методическая литература. Следует приветствовать помещенные в книге «Программы для сбора этнографического материала», анкеты для изучения жилища, мужской и женской одежды, списка школьных музеев Ульяновска и Ульяновской области. Все это вместе взятое делает рецензируемое издание ценным пособием для школьного краеведения. Большой интерес вызовет оно у учителей географии, истории и обществоведения, русского языка и литературы и поможет им объединенными усилиями наладить краеведческую работу.

Л. П. Шабалина совершенно справедливо подчеркивает связь этнографии со многими науками: философией, социологией, археологией, антропологией, географией, демографией, ономастикой, лингвистикой и др. Логично было бы предположить, что Ульяновский пединститут, где представлены специалисты почти всех наук, станет базой для проведения комплексного этнографического обследования края. К сожалению, как свидетельствует автор пособия в предисловии, участниками, а следовательно, и будущими пропагандистами этнографических и географических исследований Среднего Поволжья были студенты и выпускники лишь естественно-географического факультета Ульяновского пединститута. Студенты других факультетов к этой работе почему-то не привлекались.

Между тем известно, что на отделении русского языка и литературы Ульяновского института на протяжении многих лет проводятся фольклорные экспедиции под руководством доцента М. П. Чередниковой, успешно выступает фольклорный ансамбль. Фольклорные ансамбли созданы при некоторых краеведческих музеях и руководят ими сельские учителя (например, при Нижнетимирянской средней школе Цильнинского района под руководством учителя-пенсионера И. В. Дубова активно действует фольклорный ансамбль ветеранов). Обо всем этом в пособии, к сожалению, не говорится.

Следует отметить и другие недочеты книги. В приведенном списке литературы по Ульяновской области отсутствуют издания по музыкальному фольклору. Неполон список музеев в школах области (например, совсем отсутствуют школьные музеи Цильнинского района).

Убежден, что учебное пособие «Этнография в школьном краеведении» Л. П. Шабалиной поможет учителям поднять краеведческую работу в Ульяновской области на новую, более высокую ступень. Задача заключается лишь в том, чтобы органы народного образования, научные работники, секции краеведения областного отделения педагогического общества лучше организовали руководство этой работой.

Написанное на материалах Ульяновской области и для жителей этой области пособие Л. П. Шабалиной может стать полезным для начинающего краеведа любой другой местности. Жаль, что очень небольшой тираж не позволит восполнить существующий пробел в научно-популярной методической литературе по этнографическому краеведению.

А. Ф. Макее

Сельские поселения — один из важных объектов этнографического изучения. В формах поселений отражаются особенности исторического развития народов, хозяйственная и бытовая специфика сельского населения того или иного района. Интерес исследованиям сельских поселений обусловлен также необходимостью решения ряда актуальных задач сегодняшнего дня.

Характерной чертой рецензируемого сборника является органическое соединение истории сельских поселений с исследованиями современных тенденций в них, также традиционных для этнографии сюжетов и проблем, еще недавно являвшихся «полюсами» других наук: географии, архитектуры, социологии. В наибольшей мере такой подход характерен для работ Г. К. Шкляева.

В статье «Из истории формирования сельского расселения и развития поселений на территории Удмуртии (XIX—начало XX в.)» анализируются различные аспекты процесса сельского расселения: типы заселений, функциональная структура сети сельских поселений, соотношение их по людности, их этнический состав, плотность и механическое движение сельского населения.

Изучив функциональный состав поселений, Г. К. Шкляев сделал ряд интересных выводов. По традиции считалось, что в период развитого феодализма возникновение такого типа поселений, как село, было связано с выполнением населенными пунктами функций поместных центров (мест размещения господской усадьбы)<sup>1</sup>. Менее значимым, вторичным признаком села являлось наличие в поселении церкви. Автор показывает, что для Удмуртии середины XIX в. была характерна иная ситуация. Здесь преобладали села, возникшие как приходские центры, места расположения церквей (с. 27). Роль поместных центров выполняли сельца. Поселения этого типа изредка встречались в некоторых районах края (с. 28). Эту особенность удмуртских сел автор объясняет, с одной стороны, слабым распространением помещичьего землевладения, с другой — политической централизацией, насаждавшего православие в районах, заселенных удмуртами.

Автор убедительно показывает зависимость изменений в структуре расселения на территории Удмуртии от таких социально-экономических процессов, как эволюция характера землевладения, социальное расслоение, миграция населения. Логичен и вывод о том, что сходство основных черт социально-экономического развития удмуртского русского крестьянства обусловило наличие общих тенденций в изменениях сельского расселения. Вместе с тем некоторые из указанных изменений в удмуртских селениях протекали медленнее, чем в русских, например переход от архаичной беспорядочно-гнездовой планировки поселков к уличной.

Современные тенденции и перспективы развития сельских поселений сравнительно недавно стали предметом этнографических исследований. Работ такой направленности не было много, поэтому можно приветствовать включение в сборник статьи Г. К. Шкляева об изменениях в поселенческой структуре Удмуртии в советское время». В ней содержится большой статистический и социологический материал, часть которого вводится в научный оборот впервые; характеризуются позитивные сдвиги в структуре сельского расселения как отражение коренных социальных изменений в жизни колхозной деревни; выделяются три этапа в развитии поселенческой сети республики в советский период. Г. К. Шкляев освещает вопрос о направлениях совершенствования структуры и форм сельского расселения.

К сожалению, этот аспект статьи наиболее уязвим. При этом недостатки указанного раздела типичны для некоторых этнографических работ, посвященных вопросам переустройства села. В них пока еще не найден свой предмет исследований, а чисто градостроительные концепции воспринимаются порой некритически и с некоторым заигрыванием. Не избежал этого и Г. К. Шкляев. Так, он считает, что «главным направлением развития населенных пунктов является их укрупнение за счет сселения мелких поселений» (с. 66—67). Такой подход к переустройству села преобладал в градостроительной науке и практике недавнего прошлого. В настоящее время он радикально пересмотрен. В документе, определяющем основные принципы перспективного развития расселения по стране в целом и по рассматриваемому региону (Генеральная схема расселения на территории СССР)<sup>2</sup>, в качестве главного направления совершенствования сельского расселения принято формирование систем населенных мест различного иерархического уровня. В таких системах должны получить развитие селения различного функционального типа и людности. Неактуален вопрос определения оптимальных размеров поселка (автор считает оптимальным поселок не менее 1 тыс. жителей, в крайнем случае 500 чел.— с. 67). Такими цифрами оперировали, когда объем сферы обслуживания рассчитывался на жителей автономного поселка. Сейчас состав и мощность поселений обслуживания определяются для группы поселений, исходя из численности жителей центрального поселка и территории, входящей в зону его влияния. Для Нечерноземья признано нецелесообразным массовое сселение населенных пунктов.

В то же время одним из чрезвычайно актуальных и практически не разработанных в градостроительной теории является вопрос о своеобразии задач, методов и форм формирования структуры сети сельских поселений в районах с различным националь-

<sup>1</sup> Воронин Н. Н. К истории сельского поселения феодальной Руси.— Изв. Гос. института истории материальной культуры, 1935, в. 138, с. 44.

<sup>2</sup> Фомин Г. Н. Научные основы и пути развития Генеральной схемы расселения на территории СССР.— В кн.: Современные проблемы географии. М.: Наука, 1976.

ным составом. В решении этой задачи большую пользу могли бы принести этнографические исследования.

В наибольшей мере национальное своеобразие тенденциям развития сельских селений и изменениям в их структуре придают миграционные процессы. Анализ процессов посвящены статьи Г. К. Шкляева «Некоторые вопросы демографической ситуации в сельской местности Удмуртской АССР» и З. П. Чесноковой «О территориальной подвижности сельского населения Удмуртской АССР».

Г. К. Шкляев показывает, что такие факторы, как природно-географические условия, функциональный состав, людность и уровень развития материальной среды высоких поселений, их удаленность от города и др., в основном односторонне воздействуют на формирование миграционных потоков сельских жителей различных национальностей и обуславливают преобладающую установку на миграцию в город. В результате численность сельского населения в Удмуртии сокращается, при этом быстрыми темпами, чем в целом по стране (с. 71). В то же время весьма заметны особенности миграционных процессов. Отток из села русского населения более интенсивен, чем удмуртского, следствием этого явились сокращение доли сел с русским населением и рост удельного веса удмуртских (с. 65). Значительный отток молодежи из русских селений обусловил их «постарение». В удмуртских селениях доля молодежи почти вдвое выше, чем в селениях с русским населением (с. 70). Автор показал, что не только интенсивность, но и направленность миграционных потоков существенно различаются по этническому признаку: удмуртское население более, чем русское, ориентировано на внутрисельскую миграцию и переселение в ближайшие рабочие поселки (с. 72); 2/3 населения, прибывающего в сельскую местность (как правило, это лица, возвращающиеся в родные места из Советской Армии или после окончания учебных заведений), направляется в удмуртские населенные пункты (с. 73).

Анализируя статистические взаимосвязи между интенсивностью миграции и такими переменными, как плотность сельского населения на территории, средняя людность селений, доли различных демографических групп в их составе и, наконец, удельный вес лиц коренной национальности, З. П. Чеснокова установила, что последний из перечисленных признаков оказывает большее влияние на интенсивность миграции, чем остальные (с. 90). Поэтому убедителен вывод Г. К. Шкляева о том, что по влиянию на миграционные процессы этнические факторы сопоставимы с экономическими (с. 76).

Значительному влиянию этнических факторов на демографическую ситуацию в республике посвящена статья В. В. Пименова «Краткая статистико-этнографическая характеристика удмуртов». Автор показывает, что этноязыковые факторы могут сдерживать миграцию в город удмуртского населения, так как лишь 63,3% удмуртов владеют русским языком (с. 94—95).

Для выяснения этнических факторов, влияющих на миграцию, большой интерес представляет проведенный автором анализ характера общения сельских жителей с семьями, дружеских и брачных отношений.

В небольшой по объему статье В. В. Пименову удалось сосредоточить обширную информацию о наиболее существенных сторонах удмуртского этноса: демографические и этноязыковые характеристики, оценка отношений сельских и городских жителей к традиционным этнокультурным ценностям, основные сведения о материальной и духовной культуре удмуртов и др.

Некоторые из этих фактов уже известны специалистам по фундаментальному труду В. В. Пименова<sup>3</sup>. Однако это обстоятельство не снижает ценности рецензируемой статьи. Сжатая форма изложения результатов крупномасштабного статистико-этнографического исследования дает возможность ознакомиться с ними широкому кругу читателей и облегчает практическое использование этнографических материалов.

Статистико-этнографические и этносоциологические исследования, как правило, основываются на выборочных наблюдениях. Освещению некоторых вопросов методики выборочного обследования типологии сельских поселений как одному из этапов выборки посвящены две статьи сборника: Э. К. Васильевой, Л. С. Христюковой — «Об построении схемы выборки сельского и городского населения» и Э. К. Васильевой, Г. П. Белоруковой — «Методические принципы многомерной классификации населенных пунктов (по материалам Удмуртской АССР)».

Наиболее распространенной в социологических исследованиях является многоступенчатая выборка. Она позволяет сократить объем единиц наблюдения, что облегчает сбор и обработку информации и в то же время обеспечивает приемлемую репрезентативность. Однако чем больше ступеней отбора, тем выше вероятность смещения выборки. Поэтому предложенная авторами методика сокращения многоступенчатости сведения ее до двух ступеней может найти широкое применение в этносоциологических исследованиях, так же как и опыт районирования и классификации сельских поселений. Самостоятельный интерес представляет справочный материал (картографический и табличный), широко представленный в статьях (с. 110, 112—117, 136—137). Лишь один из положений рассматриваемой схемы выборки вызывает возражение: принятие населенного пункта в качестве основной единицы отбора и отсутствие в числе объектов наблюдения административного района (с. 141). Сельское поселение постепенно утрачивает свою автономность как место удовлетворения трудовых и бытовых потребностей жителей, их деятельность все в большей мере реализуется в системе сельских по-

<sup>3</sup> Пименов В. В. Удмурты. Опыт компонентного анализа этноса. Ижевск: Удмуртия, 1977.

Позтому отказ от анализа районного звена лишает социолога возможности рассмотреть основные связи, характерные для аграрного труда и образа жизни сельского населения.

Несколько особняком стоит статья А. Ю. Петерсона «О некоторых общих чертах жилища крестьянского жилища коми и удмуртов». Жилище — неотъемлемый элемент поселений. Соотношение жилищ различного типа и форм, их количество, расположение — важные признаки для характеристики типов селений и в известной мере типов населения. Но автор рассматривает жилище в ином ракурсе. Анализируя некоторые конструктивные особенности жилых зданий, он выделяет общие черты в материальной культуре народов пермской группы. Такой анализ может представлять интерес для этнологов, но слабо связан с проблематикой рецензируемого сборника, тематика которого достаточно четко ограничена.

Большинство поставленных в книге вопросов решается на материалах Удмуртии XIX—XX вв. впервые. Как всякому начинанию, работе этого коллектива авторов свойственны отдельные недостатки или положения, которые могут рассматриваться как дискуссионные. Несомненно одно: сборник посвящен актуальной, сложной и пока мало разработанной проблеме этносоциологических исследований сельских поселений и решает ее и вносит весомый вклад в ее решение.

Э. А. Паин

И. В. Зорин. Русская свадьба в Среднем Поволжье. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1981. 199 с.

Книга И. В. Зорина — итог регионального исследования традиционной свадебной обрядности. При современном состоянии изученности русского свадебного обряда, когда для обобщения в пределах всего национального материала еще не пришло время, обобщения по регионам приобретают особое значение.

Выбор региона — Среднее Поволжье — придает книге дополнительный интерес, так как до сих пор этнографов и фольклористов привлекал главным образом свадебный обряд Русского Севера; обрядность среднерусской этнографической зоны, а также Поволжья изучена значительно слабее.

Актуальны не только проблематика и материал книги, но и ее методика. Исследование ведется на основе большого статистического материала, обобщения социологических анкет, используется и методика картографирования. Поэтому книга И. В. Зорина как один из немногих пока опытов региональных обобщений заслуживает детального анализа и дает повод еще раз обсудить некоторые общие принципы изучения свадебного обряда на современном этапе.

При региональном исследовании важно, чтобы изучение велось в обоснованно выделенных и строго очерченных границах, соответствующих современным этнографическим представлениям об этнографических зонах и группах русского народа<sup>1</sup>. Выбор территории Среднего Поволжья (в книге исследуется северная часть его) не случаен, так как по данным материальной культуры (исследования Е. П. Бусыгина) эта территория выделяется в особый историко-этнографический регион.

Расматривая традиционную свадебную обрядность в изучаемом регионе в книге присутствует подробное исследование брачных норм, характерных для русского населения региона. В первой главе «Брак у русских крестьян» рассматривается целый комплекс обычаев, правовых и социальных представлений, имущественных отношений, связанных со свадьбой: описываются места брачных знакомств, право брачного выбора, возраст вступления в брак, брачные связи, календарное приурочение браков, характерной особенностью невесты, состав и размеры приданого, кладки, способы заключения брака и т. п.

В дореволюционной этнографической литературе брачные нормы русского населения края освещены слабо. Совершенно справедливо И. В. Зорин отмечает, что и в процессе современных полевых исследований они восстанавливаются с трудом, так как пранились в памяти пожилых людей хуже, чем сам обряд. Поэтому исключительно важное значение приобретает обращение к данным справочной и статистической литературы. В книге используются опубликованные материалы переписи 1897 г., периодические издания («Статистика Российской империи» и т. п.), а также статистические сведения, извлеченные из неизданных работ, хранящихся в различных архивах страны.

В главе о брачных нормах даются 12 статистических таблиц и 8 диаграмм, которые отражают национальный состав края по уездам, структуру русских поселений по плотности, возрастной состав вступающих в брак, календарное распределение браков, соотношение первичных и вторичных браков и т. д.

Так как Среднее Поволжье — район многонациональный, в книге прослеживаются различия в брачных нормах у соседствующих народов и их культурно-бытовые взаимоотношения. Например, в табл. 4 приведен материал о возрасте вступающих в брак русских и татарской волости, а в табл. 5 — данные о возрасте брачущихся татар Косяковской волости. В работе приведены диаграммы «Календарное распределение браков в уездах

<sup>1</sup> Чистов К. В. Предисловие. — В кн.: Русский народный свадебный обряд. Исследования и материалы. Л.: Наука, 1978, с. 4.

с преобладанием русского населения» (рис. 8), а также «Календарное распределение браков в уездах с различным национальным составом населения» (рис. 7).

Исследование Н. В. Зорина наглядно демонстрирует большие историкокультурные возможности статистических материалов при реконструкции некоторых явлений духовной культуры. Вероятно, в ряде случаев выводы, полученные путем статистических боров, можно отразить и в картах. Так, например, диаграмма календарного распределения браков (рис. 8), составленная по четырем уездам, убедительно показывает, что большинство браков у русских в отличие от татар и марийцев заключалось в осенний период, причем обычай этот был устойчивым (рис. 9). Из данных диаграммы вытекает и другой факт: соотношение осеннего и зимнего максимумов заключения брака разнится по уездам. На севере региона (Уржумский уезд), где преобладало русское население, зимний пик был значительно выше, чем осенний. Как нам известно из материалов экспедиционного обследования смежной территории — Нижегородской Поволжья, и там наблюдается подобная тенденция. С помощью карты можно было бы нагляднее представить локальные вариации календарной приуроченности свадеб, которые, возможно, связаны с различными стадиями развития обрядности.

В книге обоснованно доказывается, что некоторые брачные нормы и обычаи (к брачным связям, тип молодежи добрых увеселений и др.) обусловлены особенностями расселения русских в регионе.

Историкокультурные трудности стояли перед автором книги и при изучении традиционного свадебного обряда. Дореволюционные описания свадьбы, т. е. синхронно изучаемому периоду (конец XIX — начало XX в.), немногочисленны. При почти исчерпывающем обследовании источников, печатных и архивных (РГО, материалы бюро ГИИЭ в ГМЭ, местные республиканские и областные архивы), Н. В. Зорину удалось выявить лишь около двух десятков описаний, которые можно было использовать в работе, но и они сильно различаются по степени полноты и детальности, т. е. фактически не всегда сопоставимы.

Такое положение с источниками характерно в целом и для других территорий Поволжья. Поэтому обращение к современным полевым изысканиям и ретроспективная реконструкция обряда неизбежны.

Казанские этнографы начали экспедиционное изучение свадебного обряда еще в 1947 г., но особенно широко работа развернулась с 1961 г., когда она стала проводиться уже по специальной программе. Книга Н. В. Зорина обобщает материал свадьбы, собранный в 200 населенных пунктах. Приведенная картосхема маршрута этнографических экспедиций (рис. 1) показывает, что в крае были изучены все районы, как сплошного, так и очагового расселения русских. И все-таки неясно, какую долю общего числа русских поселений составляют 200 изученных населенных пунктов, т. е. какова была в среднем плотность обследования. Вопрос этот крайне важен, так как лишь при определенной плотности обследования можно затем выявить не только прерывные зоны распространения явлений, но и зоны переходные.

Проблема выбора единицы территориального обследования при организации экспедиционной работы сейчас остро встает перед каждым этнографом и фольклористом, изучающим свадебный обряд. Опыт казанских этнографов показывает, что для сравнительно небольших регионов, отличающихся сложной историей заселения и пестрым этнокультурным составом, единицей территориального обследования должна быть волость. Для сплошного обследования, включающего все населенные пункты, история уже отводит ученым времени. Уезд как территориальная единица слишком велика, так как территория заселялась разными колонизационными потоками и в разное время.

В рецензируемой книге основное внимание при изучении традиционного свадебного обряда уделяется его структуре: вычленяются и подробно описываются основные этапы ритуала, выявляются, какие действия в обряде были обязательными и какие могут опускаться, рассматривается функциональная значимость отдельных компонентов.

Выяснению пространственной дифференциации явления служат 10 картосхем, в которых отражены локальные вариации предсвадебного, собственно свадебного и послесвадебного этапов ритуала. Картографируются отдельные элементы структуры обряда, их приуроченность к определенному месту и времени, предметы материальной культуры, имеющие обрядовое назначение, терминология, фиксируется также наличие или отсутствие определенных обычаев (обрядовое посещение жениха подругами невесты, обычай разувать мужа перед брачной ночью, «поиски ярки» и т. д.) или различные формы одного явления (использование в качестве «оберега» рыболовной сети или специально сплетенного пояса, обрядовое использование «рыбника» или «курника», размещение сватов в доме невесты, время и место устройства женской прически перед брачной и т. д.). В качестве картографических средств используются значки, штриховка.

Методика картографирования явлений духовной культуры находится еще в стадии становления, поэтому появляющиеся в печати карты привлекают особое внимание. В картосхемах Н. В. Зорина в целом удачны, на наш взгляд, недостаточно яркая отмечена количественная характеристика явлений. Для обозначения бытования на определенной территории двух форм явлений в некоторых картосхемах применяется двойная штриховка (рис. 14), но при этом неясно, какая форма преобладала. В других картосхемах (рис. 15, 20) применяются одновременно штриховка и значок: штриховка обозначает явление преобладающее, значок на ней — явление с узлолокальным распространением. В этом случае возникает вопрос: какова масштабность значка, какая территория мыслится под единичным значком — один населенный пункт, несколько, волость и т. п.?

Картосхемы Н. В. Зорина, приведенные в книге, являются обобщением рабочих данных, на которые наносились результаты изучения обрядности в каждом поселении. Вероятно, все же удобнее в будущем использовать масштабную единицу картографирования. Удачный опыт в этом плане демонстрируют карты родильной обрядности в книге К. Гаврилюк<sup>2</sup>.

В книге дается 11 картосхем, показывающих этнографические параллели некоторых элементов средневолжского ритуала в свадебном обряде северных, южных и среднерусских областей.

Карты и в дополнение к ним факты, изложенные в тексте книги, делают особенно интересными выводы, к которым приходит Н. В. Зорин, считая, что русскую свадебную обрядность Среднего Поволжья можно рассматривать как единый самостоятельный обрядный комплекс, характеризующийся более или менее определенной структурой свадебного ритуала, определенным комплексом обычаев и обрядов, свадебной пищи, материальных атрибутов свадьбы, а также свадебной терминологией (с. 166—167). Однако относительно единства он отличается и локальным разнообразием отдельных форм. Основанием этого Н. В. Зорин выделяет внутри региона три варианта единого свадебного комплекса: северный, для которого характерно преобладание элементов северо-русских свадеб; юго-западный, обнаруживающий «значительное число обрядовых элементов со среднерусской, верхневолжской и частично южнорусской свадьбами» (с. 176), и юго-восточный, отличающийся «пестротой свадебных обычаев, обрядов и обрядов».

Границы выделенных вариантов расплывчаты. «Для русской свадьбы Среднего Поволжья, по мнению Н. В. Зорина, характерно несовпадение ареалов распространения отдельных обрядов, свадебных блюд, терминов и т. п. Это приводит к постепенному, плавному, а в отдельных случаях почти незаметному изменению свадебных элементов от места к месту» (с. 169). Причины дифференциации локальных традиций он видит прежде всего в истории заселения края, предполагая, что в XVI—на рубеже XVII в., «в период первоначальной массовой русской колонизации Среднего Поволжья, русская свадебная обрядность уже разделилась на территориальные комплексы» (с. 173).

Целиком соглашаясь с выводами Н. В. Зорина, хочется высказать одно предположение. Вполне вероятно, что дальнейшее изучение русского свадебного обряда и, следовательно, картографирование его на территории, смежной со Средним Поволжьем, внесут некоторые коррективы в вывод о существовании самостоятельного средневолжского свадебного комплекса. Дело в том, что явления, отмеченные в книге как характерные для юго-западного варианта его, не затухают у границы историко-этнографического региона, а наблюдаются, как нам известно из нижегородских материалов, и за его пределами и охватывают большую часть юго-восточных уездов Нижегородской губернии. Возможно также, что явления, отмеченные как характерные для северного варианта, простираются и далее.

Вероятно, при изучении свадебного обряда отдельного историко-этнографического региона важно устанавливать не только границы внутренних локальных вариаций, но и уточнять внешние границы распространения всего свадебного комплекса, а для этого необходимы контрольные выходы на территорию, смежную с изучаемым регионом.

Как известно, свадебный обряд — это сложный комплекс правовых норм, ритуальных действий, обычаев, словесного и музыкального фольклора. В рецензируемой книге обряд рассмотрен с точки зрения этнографа, фольклор лишь иногда вовлекается в анализ. Это не упрек автору: книгу писал этнограф. Но необходимость исследования свадебного и музыкального фольклора, т. е. комплексного изучения свадьбы в регионе, ощущается остро.

Ценной стороной книги является ее историзм. Хотя картосхемы отражают состояние свадебной обрядности на рубеже XIX—начала XX в., в тексте постоянно предпринимаются экскурсы в историю формирования ритуала, отмечаются пережиточные элементы в нем, прослеживаются изменения обряда к эпохе капитализма: редукция, упрощение, в отдельных случаях усложнение, изменение функциональной значимости отдельных действий и т. п. Не со всеми гипотезами автора, особенно касающимися генезиса некоторых элементов, можно согласиться, но сам поиск плодотворен.

Особенно ценной является заключительная глава, где прослеживаются изменения свадебного обряда за годы Советской власти. Исследование опирается на огромный статистический материал (более 3000 анкет), собранный на основе тщательной разработанной методики. Основные положения этой части книги уже были опубликованы<sup>3</sup> и получили признание в науке, поэтому нет необходимости говорить о них еще раз<sup>4</sup>.

Итак, книга Н. В. Зорина, опирающаяся на прочную источниковедческую базу, составленная по методике этнографического изучения, не только представляет ценное исследование свадебного обряда одного региона, но и побуждает шире развернуть этнографическую работу. Есть в книге тревожные строки: «В настоящее время лиц, хорошо знающих и помнящих свадебные обряды, становится все меньше и меньше, а собираемая нами информация все скуднее и скуднее» (с. 12). И это не умозрительное предположение, а вывод из многолетнего опыта.

<sup>2</sup> Гаврилюк Н. К. Картографирование явлений духовной культуры. По материалам родильной обрядности украинцев. Киев, 1981.

<sup>3</sup> Очерки статистической этнографии Среднего Поволжья. Казань, 1976, с. 20—57.  
<sup>4</sup> Пименов В. В., Федянович Т. Рец. на кн. Очерки статистической этнографии Среднего Поволжья. Казань, 1976, с. 191.— Сов. этнография, 1978, № 5.

Если говорить об изучении и картографировании свадебного обряда в общенациональном масштабе, то главное — не упустить время для сбора материала. Сейчас экспедиционная работа в этом направлении ведется рядом академических институтов и вузов страны. Важно было бы скоординировать общие усилия, создать единый центр, который возглавил бы работу этнографов, фольклористов и музыковедов, дал бы единую программу, что позволило бы в недалеком будущем создать Атлас русской свадьбы.

К. Е. Корелов

А. М. Новикова, С. И. Пушкина. Свадебные песни Тульской области. Тула: Прокское кн. изд-во, 1981. 238 с.

В фольклористике советского периода в связи с широким и повсеместным развитием собирательского дела стало научной традицией издание сборников областного и регионального репертуара. Так появились разнообразные по жанровому составу издания русского устного народного творчества центральных областей России, Дона, Урала, Оренбургских степей, русского Севера, Сибири, Прибайкалья, Дальнего Востока.

Тульская земля также издавна была щедрой народным поэтическим творчеством. Об этом свидетельствуют записи песен и сказок, вошедшие в классические сборники прошлого века<sup>1</sup>. Однако до сих пор не было ни одного специального издания фольклора этих мест. «Свадебные песни Тульской области» — первый сборник тульского фольклора, и уже в этом его несомненная научная ценность.

Книга — итог 20-летней собирательской работы, планомерно проводившейся в разных районах Тульской области Анной Михайловной Новиковой и членами руководимого ею фольклорного кружка, аспирантами и студентами Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской. В сборнике опубликовано 138 новых записей свадебных песен. Некоторые тексты — варианты классического репертуара тульской свадьбы («У ворот трава росла», «Что при вечеру, вечеру», «Матушка, что в пыль-то во поле», «Ой, вечер да нашей свет-Марьюшке» и др.). Ряд песен представляют местные редакции распространенных традиционных мотивов русской свадебной лирики («Кукушка рябая, кукушка рябая», «Как по сенюшкам свет-Марьюшка колдла», «У нас по улице», «Как спросила Авдотьюшка» и пр.). Наконец, большая группа песен не имеет печатных аналогов и представляет оригинальную местную фольклорную традицию (около 40 текстов).

Из паспортных данных можно установить, что исполнителями песен были исключительно женщины, в основном старше 60—70 лет. Иногда произведение исполнялось несколькими лицами, что свидетельствует о распространении в данном регионе обычая многоголосного группового пения (деревни Полтево, Тургенево, Коротеево Чернского района; деревни Хрусловка и Карпово Венёвского района). Песни записывались в основном в колхозных хорах, организованных при домах культуры (деревни Анишино Венёвского района, Синюшино Белёвского района, Теплое Ленинского района, Страхово Заокского района).

Богатый материал сборника научно систематизирован и снабжен высококачественными комментариями.

Свадебная песня представляет ценность не только по содержанию. В ней обычно символически условно поэтизируется семья как незыблемая основа патриархального быта. Но главное в песне — ее богатое эмоционально-лирическое начало, которое находит выражение прежде всего в мелодии. Эта важная сторона учтена в рецензируемом сборнике. По магнитофонным записям А. М. Новиковой член Союза композиторов СССР С. И. Пушкина произвела нотную расшифровку мелодий большинства песен. Благодаря этому материалы сборника могут использовать в своем репертуаре народные хоры. Следует только выразить сожаление о том, что не все песни сборника имеют нотную расшифровку.

Обладая богатым опытом собирательской работы, А. М. Новикова при записи песен придерживалась следующих правил: 1) запись производится «с голоса», т. е. в процессе музыкального исполнения песни; 2) в словах сокращения и изменения не допускаются; 3) строфическое деление диктуется замкнутой музыкальной фразой, т. е. повторяющейся мелодией.

В записи песни фиксируются повторы, переносы, ритмические частицы и пр., вследствие чего слова естественно сливаются с мелодией песни.

Свадебная песня несет в себе и некоторый драматургический элемент. Каждая песня имеет определенное место в обрядовом цикле и соответствующее смысловое значение. Поэтому все записи должны быть соотнесены с обрядом. Этой цели служит вступительная статья А. М. Новиковой и композиционное построение сборника.

Публикация текстов предваряется вступительной статьей, основанной на тщательном изучении обряда. В ней дается общая характеристика русского свадебного обряда при этом в центре внимания автора — свадебный обряд Тульской области, южный (или южнорусский) тип его. При рассмотрении тульской свадебной традиции основное

<sup>1</sup> Песни, собранные П. В. Киреевским. В. 1—10. М., 1861—1874; Афанасьев А. И. Народные русские сказки. В. 1—8. М., 1855—1863.

проводится исследованию функций обрядовой песни, ее поэтической и эмоционально-психологической стороне; уделяется внимание и проблеме классификации свадебных песен. В свадебной лирике А. М. Новикова выделяет три группы песен, различающихся жанром, жанровыми особенностями, а также приуроченностью к определенному этапу свадебного обряда. Это песни сговора, девичника и дня свадьбы. Последние подразделяет на прошальные, корильные и величальные — песни свадебного пира.

В соответствии с этой классификацией расположен и материал сборника. Он как бы повторяет композицию обряда, что способствует его цельному восприятию.

К сожалению, качество текстов неравноценно. Наряду с высокопоэтичными, художественно полными произведениями, здесь широко представлены тексты с утраченными концовками, что свидетельствует об угасании традиции.

Особую ценность сборнику придают научные комментарии к каждому сюжету. Они, как и в комментариях к ранее изданному А. М. Новиковой сборнику «Русские свадебные песни» (М., 1957), даются краткая история каждого сюжета, которая проецируется по всем основным публикациям песен. Отмечаются наиболее характерные варианты изменения; явления межжанровых миграций сюжета и пр. Целенаправленно ведется сопоставление с более ранними записями свадебных песен, сделанными на территории Тульской области, например с записями П. В. Киреевского (№№ 84, 91, 121, 132 и др.). Это позволяет выделить наиболее устойчивые песни тульской традиции, отметить их своеобразие и эволюцию.

В комментариях даются разъяснения и этнографического характера. Так, в некоторых районах Тульской области на девичнике существовал обычай наряженную «елку» двешивать к потолку над столом. Отсюда и родился тульский вариант («Над сто-м-то висит елушка») одной из известных песен девичника.

Сборник выполнен на высоком научном уровне. Однако это не мешает ему оставаться доступным для самого широкого круга читателей. На это в некоторой степени ориентирован и научный аппарат книги. В нем выделяются наиболее ценные тексты, дается расшифровка символической образности песен, описываются отдельные свадебные ритуалы (например, разувание мужа молодой женой, изображенное в песне «Светлый месяц усходил»). Наконец, имеются сведения и общекультурного характера, связанные с биографиями и произведениями русских писателей. Выдержан фольклорный стиль в художественном оформлении книги.

Сборник «Свадебные песни Тульской области» можно признать образцовым изданием, в полной мере соответствующим современному уровню науки. Появление подобных сборников имеет большое значение для сохранения национальных традиций.

Т. В. Зуева

И. Игнатов. История и народная поэзия села Плодовитого Малодербетовского района Калмыцкой АССР. Изд-во Саратовского ун-та, 1981. 302 с.

В последние годы все больше говорят и пишут о необходимости комплексного изучения народного художественного творчества. Появились соответствующие теоретические работы, методики и программы<sup>1</sup>. Однако на практике изложенные в них рекомендации реализуются еще редко и робко. Поэтому заслуживает внимания всякая попытка приблизиться к идеалу, нарушить, например, ставшие каноническими принципы публикации фольклорного материала.

Сборник В. И. Игнатова «История и народная поэзия села Плодовитого Малодербетовского района Калмыцкой АССР» не претендует на подачу фольклорных явлений как полифункционального значения. В нем нет нот к песенным текстам, автор не ищет материала для выражения пластического и кинетического рисунка воспроизводимых им звуков, свадебной игры и т. п. Исходя из представившихся ему возможностей, И. Игнатов ставит перед собой задачу, показать народную поэзию села Плодовитого как живую и органичную часть его истории, быта, духовной культуры. Известно, что народно-поэтические жанры и произведения функционируют и обнаруживают истинный смысл, свое значение, содержание в составе обрядов, трудовых процессов, различных бытовых ситуаций и т. д.<sup>2</sup> Именно в таком контексте и публикует автор скомпонованную работу народные песни, частушки, игровой фольклор.

Очень важно, что В. И. Игнатов исследует фольклор своего родного села. Здесь он родился, вырос, сюда приезжает к родственникам ежегодно в течение 30 лет. Это дает возможность записывать произведения народного творчества в их естественном звучании, чего не может добиться ни одна экспедиция, как бы научно и технически она была оснащена. А естественное состояние фольклорного произведения только и может дать материал для его комплексного изучения. Описание свадебной игры, занимающее чуть ли не половину содержания книги, В. И. Игнатов сделал так полно и точно только потому, что увидел ее как бы изнутри, будучи сам участником обряда.

1 См.: Программа для комплексных фольклорных экспедиций/Отв. ред. Гусев В. Е. М.: Наука, 1971; В. Е. Гусев. Методика комплексного изучения фольклора.— В кн.: Проблемы музыкального фольклора народов СССР. М., 1973, с. 7—16, и др.

2 Путилов Б. Н. Проблемы типологии этнографических связей фольклора.— В кн.: Фольклор и этнография. Л.: Наука, 1977, с. 3.



Кроме того, автор хорошо знает «фольклороносителей», многие из них его родственники; он знает репертуар каждого, знает манеру исполнения, может проследить изменением всего этого в живом бытовании в течение трех-четырех десятилетий. Сравняя фольклорный репертуар села 1930-х и 1960-х годов, автор, на основании тщательных наблюдений, отмечает не только количественные изменения в нем, но и качественные. Записывая фольклор в родной, кровной среде, исследователь раскрывает в песне и держание, не доступное любому другому собирателю.

Известно, что, не изменяя в традиционном тексте ни слова, исполнитель может придать песне совершенно новый смысл, и понять это способен только собиратель. Широко знающий жизнь певца, его характер, его состояние в момент исполнения, мы такое примечание мы находим к песне под № 51. Это известная шуточная песня: «Вставала я ранёхонько». Но для исполнительницы М. Н. Игнатовой «Песня имеет особое значение — в ней отражена вся ее многотрудная жизнь. Каждое слово песни вызывает у Марии Николаевны гамму сложных переживаний и грустных воспоминаний. Исполняет же Мария Николаевна песню с азартом шутника, подтанцовывая с хлопыванием в ладоши, показывая полную беззаботность, восторженное, радостное состояние духа, удовлетворение жизнью» (с. 68). У песни рождается будто бы новый план, и уловить это — мечта фольклориста, стремящегося постичь не букву, а смысл дух народной поэзии.

Книга посвящена духовной культуре отдельного поселения. Она начинается с подробнейшего исторического очерка о родном крае. История села — это основа его поэзии. Необычайная скрупулезность, с какой В. И. Игнатов выясняет мельчайшие подробности о первых жителях села, его родоначальниках, об их детях, внуках и ныне живущих потомках, дает возможность познакомиться с истоками местных народных художественных традиций, шаг за шагом проследить их «модификацию», т. е. процесс приспособления к новым социальным, бытовым, ландшафтным условиям, приведшим в конце концов к формированию традиции чисто «плодовитовской».

Более чем вековая история села отражена в различных жанрах фольклора, животклавшегося на события, происходившие как непосредственно в жизни села, так и за его пределами. В устной поэзии население выражало свою оценку происходящих событий. «По содержанию произведений фольклора,— пишет В. И. Игнатов,— мы можем судить о тех мыслях, чаяниях и ожиданиях, которые волновали жителей села. Это — поэтическая летопись их жизни» (с. 64).

Фольклор в с. Плодовитом имеет свои традиции, обусловленные своеобразием возникновения и последующей историей села.

Фольклорно-этнографический принцип публикации материала позволяет автору более явственно выявить местное — «областное» начало в песнях, обрядах, частушках, детских играх и т. д. с. Плодовитого. Интересно, например, что в селе не бытует термин «частушка» в применении к местным припевкам. Вместо него используют термин «балаша», когда речь идет о частушках, исполняемых мужчинами и мальчиками, и «страдания», если имеются в виду припевки — принадлежности женского репертуара (с. 69). Автор не ограничивается констатацией этого факта. Он дает словесную зарисовку исполнения припевок того и другого типа. «Под перебор гармошки (мотив страданий, естественно, отличается от мотива балаша) запевала речитативом проговаривает первые две строчки частушки. Иногда для особого смыслового ударения и разгону быстрого шика кто-либо из певцов или сам запевала успевает повторить с ударением первую строчку... Под распев гармошки эти же две строчки пропеваются хором. Страдания исполняются скромнее: девушки становятся около гармониста, образуя полукруг и, притоптывая, иногда приплясывая, самозабвенно отдаются пению» (с. 69).

Метод словесного фиксирования фольклора оказался наиболее результативным в описании свадебной игры. И опять дело не только в том, что благодаря этому методу мы узнаем множество чисто местных свадебных реалий (например, во время свадебного пира в доме невесты перед ней лежит каравай хлеба, «утыканный цветами» (с. 166), которые называются «каракос»; свадебная машина приезжает за невестой не по дороге «а с горы», т. е. с чистого поля (с. 169) и т. д.); дело в том, что в результате такого описания проявляются локальные особенности всего свадебного действа.

Книга пронизана оптимистической мыслью автора о том, что народная поэзия в Плодовитом не угасает. Оптимизм его основан на том, что в 60—70-е годы он записывал фольклор от женщин, которые в 40-е годы, будучи молодыми, иронически отнеслись к песням родителей и даже представить не могли, что со временем запоют и сами.

Следует отметить, что научный аппарат в книге В. И. Игнатова полон и точен. Проведена большая работа по выявлению вариантов публикуемых текстов, дается множество сведений исторического, этнографического, лингвистического и текстологического порядка. Скромное издание в неброской обложке (это, конечно, достойно сожаления) прочно займет свое место среди лучших публикаций русского фольклора.

А. И. Лазарев

ner und Landarbeiter im Kapitalismus in der Magdeburger Börde. Berlin: Akademie-Verlag, 1982, 438 S., 55 Abb.

Предлагаемая вниманию советского читателя работа ученых ГДР является второй частью большого исследования, посвященного истории, образу жизни и культуре трудящихся сельских жителей Магдебургской Бörde (плодородной равнины у подножия водных и северных склонов Гарца). В двух первых томах<sup>1</sup> рассматривались природные условия, административно-управленческая структура, социально-экономические отношения в этом районе с конца XVIII в. до окончания первой мировой войны; в рецензируемом томе — этнографические очерки за этот же период.

В последующих томах планируется исследование той же проблематики за время первой мировой войны до 1960-х годов — периода полного кооперирования в сельском хозяйстве ГДР.

В первые же годы существования Германской Демократической Республики немецкие этнографы и фольклористы приступили к изучению культуры трудящихся слоев населения. Опираясь на марксистско-ленинскую теорию и методологию, под руководством одного коммуниста проф. В. Штейница немецкие этнографы и фольклористы начали исследование материальной культуры и фольклора трудящихся с новых методологических позиций. Первым результатом их явилась публикация демократических песен за пять столетий<sup>2</sup>.

В 1960-е годы немецкие этнографы приступили к разработке комплексной программно-исследовательской культуры и быта сельских трудящихся Магдебургской Бörde во всех проявлениях. В разработке этого проекта помимо этнографов приняли участие также представители смежных дисциплин — историки, лингвисты, экономгеографы и др.

Магдебургская Бörde была выбрана объектом комплексного изучения потому, что именно в этом районе раньше, чем в других, начались преобразования в сельском хозяйстве, раньше совершился переход к капиталистическим отношениям. Этому благоприятствовали плодородные почвы, существующие здесь право наследования и формы владения, близость к торговому центру — Магдебургу и к водной магистрали — Ббе.

Выходу трех упомянутых томов, ответственными редакторами которых являются Вайссель и Г.-Ю. Рах, предшествовали публикации по отдельным вопросам разрабатываемой темы Г.-Ю. Раха, Х. Плауля, теоретические статьи В. Якобейта, Б. Вайсселя и др.<sup>3</sup> В 1972 г. под редакцией Б. Вайсселя, Г. Штробаха и В. Якобейта вышел сборник истории культуры и быта немецких трудящихся с XI в. по 1945 г.<sup>4</sup> Авторы ревируемого тома опирались также на работу известного историка и экономиста Кучинского<sup>5</sup>.

В своих работах этнографы ГДР руководствуются ленинским положением о двух культурах в каждой национальной культуре. Именно этого недоставало работам буржуазных этнографов прошлого, которые не учитывали влияние социального фактора на развитие культуры.

В основу исследования положены как собственные полевые материалы авторов и данные анкетного опроса, так и архивные материалы, документы различного характера (пример, завещания, торговые договоры и т. п.), литература по этнографии и смежным дисциплинам.

Том открывается предварительными замечаниями издателей, в которых говорится о трудности, возникших в процессе работы. Так, пришлось пока отказаться от раздела *Handlender* (рабочих, проживающих в сельской местности, но работающих в городе), а культура разных слоев сельского населения освещены не в равной мере и не все из охвачены.

Том состоит из восьми очерков.

В первом очерке (авторы В. Якобейт и Х. Новак, с. 1—42) рассматривается образ жизни и культура сельских трудящихся в период становления капитализма в сельском

<sup>1</sup> *Landwirtschaft und Kapitalismus in der Magdeburger Börde*. Berlin: Akademie-Verlag, 1978, T. I, Halbband 1; 1979, T. I, Halbband 2.

<sup>2</sup> *Steinitz W.* Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten. Berlin: Akademie-Verlag, 1954; B. I, 1962. B. II.

<sup>3</sup> *Jacobeyt W., Nedo P.*: Probleme und Methoden volkskundlicher Gegenwartsforschung. Berlin, 1969 u. a. *Rach H.-J.* Bauernhaus, Landarbeiterkaten und Schnitterkaserne. Zur Geschichte von Bauer und Wohnen der ländlichen Agrarproduzenten in der Magdeburger Börde des 19. Jahrhunderts. Berlin, 1974; *Plaul H.* Landarbeiterleben im 19. Jahrhundert. Eine volkskundliche Untersuchung über Veränderungen in der Lebensweise der einheitlichen Landarbeiterschaft in den Dörfern der Magdeburger Börde unter den Bedingungen der Herausbildung und Konsolidierung des Kapitalismus in der Landwirtschaft. Tenzeln und Triebkräfte. Berlin, 1979; *Weissel B.* Zum Gegenstand und zu den Aufgaben volkskundlicher Wissenschaft in der DDR. — In: Jahrbuch für Volkskunde/Kulturgegeschichte. Berlin, 1973, B. 16, S. 9—44.

<sup>4</sup> *Weissel B., Stroba H., Jacobeyt W.* (Hrsg.). Zur Geschichte der Kultur und Lebensweise der werktätigen Klassen und Schichten des deutschen Volkes vom 11. Jahrhundert bis 1945. — Wissenschaftliche Mitteilungen der Historikergesellschaft der DDR. Berlin, 1972, H. 1—3.

<sup>5</sup> *Kuczynski J.* Die Theorie der Lage der Arbeiter. Berlin, 1968.

хозяйстве района (конец XVIII в.—1830—1840-е гг.). Глава делится на следующие разделы: социально-экономические условия, производственная сфера, классы и прослойки (крестьяне, сельские ремесленники, сельская беднота и сельский пролетариат), быт и культура (жилище, одежда и пища, образование, нравы и обычаи), заключение.

Второй очерк (автор Г.-Ю. Рах, с. 43—77), построен примерно по тому же плану: посвящен культуре и быту крестьян в условиях капитализма периода свободной конкуренции (1830—1900 гг.), с. 43—77.

В историографии вопроса автор отмечает, что исследователи XIX — начала XX в. обращали внимание главным образом на реликтовые явления. Проблемы жизни сельского населения XIX — XX вв. не находили отражения в их работах, они лишь выражали сожаление об исчезновении патриархальных устоев жизни, которые явно идеализировались.

Переходя непосредственно к теме очерка, автор отмечает усиление с середины XIX в. поляризации классовых сил и проявление этого в культуре и быте сельских жителей в указанный период.

В третьем очерке (автор Х. Плауль, с. 79—115) речь идет об основных чертах развития культуры и быта местных сельскохозяйственных рабочих в деревнях Магдебургской Бёрде в условиях становления и консолидации капитализма периода свободной конкуренции в сельском хозяйстве. Очерк делится на три подраздела. I — «Сельскохозяйственные рабочие в условиях становления капитализма периода свободной конкуренции». Здесь рассматривается следующее: образование и структура института сельскохозяйственных рабочих в исследуемой области; изменения в социальных связях и условиях труда и жизни; образование новых духовно-культурных потребностей и возможности их удовлетворения. II — «Сельскохозяйственные рабочие в условиях консолидации капитализма периода свободной конкуренции» (здесь речь идет об изменениях культуры и быта в этот период). III — «Борьба сельскохозяйственных рабочих за улучшение условий труда и жизни».

Четвертый очерк (автор Х. Хайнрих, с. 117—162) посвящен культуре и быту местных, иностранных и приехавших из других земель Германии сельскохозяйственных сезонных рабочих (середина XIX в.—1918 г.). В очерке рассматриваются социально-экономические причины, породившие сельскохозяйственный сезонный труд, отходничество, демографическая структура сезонных рабочих, их образ жизни (их место в сельскохозяйственном производственном процессе, жилище, одежда, пища, использование свободного времени, их общественные связи). Очерк заканчивается подразделом о периодических возвращениях сезонных рабочих на родину и их положении во время первой мировой войны.

Г. Бирк в двух очерках рассматривает развитие региональных ферейнов (объединений людей по интересам), уделяя особое внимание округу Ванслебен (с. 163—214), а также региональных воинских ферейнов (с. 265—297). Автор предлагает свою трактовку сущности ферейнов, доказывает невозможность существования нейтральных (apolитичных) ферейнов, подчеркивает их классовый характер, обращая внимание прежде всего на пролетарские ферейны. В первом очерке говорится о роли ферейнов в общественной жизни Германии XIX — начала XX в. Г. Бирк прослеживает истоки ферейнов, характер их развития, превращение некоторых из них в политические организации: как в реакционные партии, так и в пролетарские революционные организации. Он отмечает попытки духовенства оказывать через ферейны влияние на массы, порывающие с церковью. Один параграф посвящен земляческому ферейну поляков (подданных Германии). Во втором очерке автор анализирует деятельность воинских (милитаристских) ферейнов, возникших в конце XIX в., через которые власть имущие старались оказывать влияние на массы. Воинские ферейны рассматриваются также на примере округа Ванслебена. Это была первая попытка разработки этой темы, исследование которой автор предполагает продолжить.

Г. Шенфельд в своем очерке (с. 215—264) анализирует изменения в речи и языке в поведении трудящихся Магдебургской Бёрде и города Магдебурга при капитализме. В очерке прослеживается проникновение в XIX в. средненемецких наречий вплоть до юго-восточной окраины Магдебургской Бёрде, переход от нижненемецкого письменного языка к верхненемецкому, соотношение литературного и разговорного языка и др.

Последний восьмой очерк (автор Х. Асмус, с. 299—324) посвящен политическому развитию в Магдебурге с конца XVIII в. до первой мировой войны. Особое внимание уделено истории рабочего движения в области.

В Приложении публикуются тексты (40 номеров) использованных в работе документов разного характера (завещания, торговые договоры, брачные и наследственные договоры и т. п.—с. 327—402), терминологический указатель (с. 403—407), списки приведенных в исследовании таблиц (с. 408) и текстов документов, опубликованных в приложении (с. 409—410), списки иллюстраций (с. 411—413) и использованных источников и литературы (с. 414—432), список сокращений (с. 433), географический указатель (с. 434—438) и в заключение 55 фотографий.

Как мы видим, в работе отражены многие стороны деятельности трудящихся (место в производственном сельскохозяйственном процессе; быт и культура, общественные связи), через все разделы четко проходит рассмотрение всех сторон культуры и быта разных классов и слоев сельского населения. На наш взгляд, в работе все же преобладает экономико-социологический аспект над этнографическим. Вызывает сожаление, что при комплексном рассмотрении всех сторон жизни и деятельности человека недостаточно внимания уделено такому важному институту как семья. Нельзя сказать, что о семье и семейных отношениях в работе ничего не говорится. В отдельных очерках этот предмет затрагивается, но думается, что семья заслуживает того, чтобы быть выделена

в особый подраздел в каждом очерке. В семье происходит передача этнокультурной информации, она играет главную роль в воспроизводстве этноса и социализации личности<sup>6</sup>. Видимо, в ГДР этнографическое исследование семьи не заняло еще должного места. В последнее время в разных странах появилось много социологических исследований о семье, но семья объект не только социологического исследования, в не меньшей степени она интересует этнографов.

В целом же рецензируемое исследование, безусловно, заслуживает внимания. Впервые в немецкой литературе так четко рассматривается культура и быт сельского населения с учетом его социальной дифференциации. Остается пожелать нашим немецким коллегам дальнейших успехов в разработке этой темы.

Т. Д. Филимонова

<sup>6</sup> Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии. М.: Наука, 1981, с. 369.

Talve. Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja. Suomen Kirjallisuuden Seuran Helsinki. 2 painos. Mikkeli, 1980. 403 s.

В 1980 г. вышло в свет второе издание книги финского этнографа И. Тальвэ «Финская народная культура. Основные черты исторического развития». Второе издание потребовалось уже через год после первого, в значительной мере потому что, несмотря на традиционное название, эта книга представляет собой в финской этнографии исследование нового типа. Напомним, что недавно, в 1975 г., появилась солидная, прекрасно иллюстрированная книга Тойво Вуорела под сходным названием «Народная культура финнов»<sup>1</sup>. Однако эти две работы отнюдь не дублируют друг друга. Книга Т. Вуорела написана в духе традиционной финской этнографии, и автор ее расходится с И. Тальвэ уже в самом понимании народной культуры. Т. Вуорела, по его собственным словам, под народной культурой понимает лишь крестьянскую культуру, противопоставляя ее культуре высших слоев общества. Он считает, что народная культура — это культура эпохи феодализма, которая в ходе индустриализации и урбанизации постепенно исчезает. И. Тальвэ, напротив, уже в предисловии к своей книге говорит, что под народной культурой он понимает культурные традиции, присущие основной массе народа. Соответственно он не ограничивает ее существование доиндустриальным периодом и не считает носителем ее одно крестьянство: в наши дни, когда центр тяжести культуры широких слоев финского народа переместился в город, она стала городской культурой.

Работа И. Тальвэ рассчитана в первую очередь на студентов-этнографов и специалистов в этой области знания. Автор предупреждает читателя, что он не сможет показать народную культуру финнов во всех деталях. Его цель — отразить основные тенденции ее развития. В ходе изложения автор уделяет первостепенное внимание анализу факторов, определявших на разных исторических этапах развитие народной культуры финнов, и это, на наш взгляд, важнейшее достоинство его работы, придающее ей важный историзм. И. Тальвэ особо подчеркивает необходимость историзма в этнографическом исследовании, ибо, как он напоминает, самый факт преемственности культурных традиций уже включает в себя понятие исторического развития.

Несмотря на то, что книга Тальвэ сравнительно невелика, круг вопросов, рассматриваемых им, очень широк: это и материальная, и духовная культура финнов, включая родные верования и фольклор. В этом отношении Тальвэ отстает от традиции финских этнографов, не включающих верования и поэтическое и музыкальное творчество народа в темы своих исследований. Он подчеркивает, что народная культура представляет собой некую целостность, в которой все явления взаимосвязаны и даже подразделение ее на материальную и духовную сферы в значительной мере условно, с чем нельзя не согласиться.

Книга состоит из 16 глав: «Поселения и постройки», «Традиционные хозяйственные занятия», «Средства передвижения, обмен и торговля», «Пища», «Одежда», «Текстиль и народное искусство», «Социальные и хозяйственные институты», «Обряды жизненного цикла», «Календарные праздники», «Народные верования», «Фольклор», «Народная музыка», «Танцы и игры», «Горбы и промышленные поселки». Книге предпослано Введение и заключается она главой «Общая картина народной культуры».

Большая часть глав невелика — 25—30 страниц, но написаны они очень емко, включают много статистических данных и рассматривают явления в их временной и территориальной изменчивости.

По составу глав и их содержанию некоторые сомнения вызывают, пожалуй, лишь главы «Одежда» и «Текстиль и народное искусство». Объем главы «Одежда», как предвиделось, чересчур мал — всего 8 страниц. Правда, и при этом автор выразительно называет историю изменения одежды, однако не менее важный вопрос — формирование локальных особенностей костюма — остается на втором плане. К тому же автор разделяет мнение, что приходские комплексы одежды складываются у финнов лишь в III в., т. е. значительно позже, чем, например, у эстонцев. Вероятно, аргументация такой датировки следовало бы обосновать более развернуто.

<sup>1</sup> Vuorela T. Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo, 1975.

Производство текстильных изделий стоило бы отделить от народного искусства. Конечно, последнее в значительной своей части связано у финнов с текстильными изделиями, но разделы по дереву и художественной ковке выглядят в этой книге чужеродными. К тому же техника мужских домашних ремесел по большей части остается вне поля зрения автора.

Остановившись на содержании всех глав работы в краткой рецензии не представляется возможным. Мы рассмотрим некоторые из них, и прежде всего Введение. В нем автор излагает свою задачу и методологические установки. Опираясь на данные различных дисциплин, он рисует совокупность природных, экономических и социальных факторов, воздействовавших на формирование финской народной культуры. Значительная часть Финляндии расположена в широтах, где невозможна культивация зерновых и во многих местах ограничены пригодные для земледелия почвы. Поэтому население и сельское хозяйство сконцентрированы в основном в юго-западной части страны. Это прослеживается археологическим материалам. Коротко обрисовав историю расселения и миграционные процессы, И. Тальвэ переходит к рассмотрению социальной структуры населения. При рассмотрении истории развития крестьянского и помещичьего землевладения (в том числе церковных, государственных и выделенных для содержания войск земель), автор указывает, что страна в прошлом делилась на две части примерно по линии Порккио — Тампере — Выборг. Население Юго-Запада было весьма сложным в социальном отношении, здесь концентрировались помещичьи, государственные и церковные земли, здесь рано началось и затем интенсивно шло социальное расслоение крестьянства. Кроме того, именно на Юго-Западе возникли первые города и раньше, чем в других частях страны, стала развиваться промышленность. На Востоке помещичье землевладение получило слабое развитие, а крестьянство было относительно однородным.

Введение написано очень сжато, но это отнюдь не «беглый набросок», а результат предшествующего исследования, опубликованного автором в 1972 г. и посвященного анализу факторов, определявших историю формирования народного быта финнов.

Большую часть книги занимает анализ культуры крестьянства; быт горожан и жителей промышленных поселков изложен лишь в одной главе. В известной мере такое соотношение разделов связано с недостаточной изученностью этой сферы народного быта. Напомним, что 25 лет назад И. Тальвэ был первым в Финляндии этнографом, обратившимся к изучению быта рабочего и городского населения. Он и в дальнейшем способствовал изучению этих вопросов, привлекая молодых этнографов университета Турку. Но еще и теперь рано говорить о достаточно выработанной методике изучения городского быта, спорны рамки и цели исследований. Как известно, эти трудности связаны не только финским этнографам. Глава «Города и промышленные поселки» выделена поэтому несколько схематично и в значительной мере посвящена определению проблем и вопросов, подлежащих дальнейшему изучению.

Формы городского быта финнов автор разделяет на два периода: первый — с средневековья до 1870-х годов и второй, период индустриализации и урбанизации — с 1870 по 1970 г. (промышленные поселки рассматриваются особо). В ходе первого периода число городов и их население росли в Финляндии очень медленно. Финское городское население сохраняло в это время в своем быту и культуре много черт, связывающих его с крестьянством, а сельское хозяйство служило для него заметным источником дохода.

Второй этап отличался прежде всего необычайно быстрым ростом городского населения: за 100 лет оно выросло с 7 до 60% от общей численности населения страны. Так, в Хельсинки в 1870 г. было немногим более 28 тыс. жителей, а в 1974 г. его население уже приближалось к полумиллиону. С конца XIX в. в городах устремились с земельные крестьяне, а также рабочие — лесорубы и сплавщики. И. Тальвэ совершенно справедливо говорит о том, сколь сложна была для них адаптация в городе. Нужно было не только освоить новые формы труда, но и приспособиться к иным формам общественных отношений как на работе, так и в домашнем быту. Города со своей стороны также не были готовы принять такой приток населения: отсутствовал не только необходимый жилищный фонд, но не были достаточно развиты и формы снабжения населения. Автор коротко говорит о становлении различных традиций у городского населения, новых формах контактов, времяпрепровождении, останавливается на воздействии культуры привилегированной части населения на широкие слои горожан и т. д. Несомненно, эта глава может заинтересовать советских этнографов, занимающихся сложными проблемами изучения города.

Следует остановиться также на обширной заключительной главе, в которой рассматривается временная и локальная изменчивость народной культуры финнов. Прежде всего автор предлагает свою периодизацию народной культуры, отличную от периодизации гражданской истории, где между историческими этапами нередко существуют четкие рубежи. Для народной культуры экономические кризисы и исторические катаклизмы могут также предвещать конец определенного периода. Но новые этапы народной культуры всегда связаны с возникновением и распространением каких-то новшеств, а это может происходить лишь при оживлении экономики. Далее, между отдельными периодами народной культуры всегда наблюдаются более или менее длительные переходные этапы. Против этих положений автора, как и против его тезиса, что решающие изменения в народной культуре имеют предпосылки в экономическом строе общества, вряд ли можно что-либо возразить.

В развитии финской народной культуры И. Тальвэ выделяет средневековый период (до XVI в.), затем переход к Новому времени (начало XVI в. — 1730 г.), следующую

<sup>2</sup> *Talve I. Suomalaisen kansanelämän historialliset taustatekijät. Forssa, 1972.*

ред он называет «народная культура в гетерогенном обществе» (1730—1860 гг.), затем следует «Культура в эпоху индустриализации» (1860—1960 гг.) и, наконец, современный период — «Народная культура в индустриальном обществе».

Автор начинает характеристику периодов с картины этнокультурной ситуации, которая сложилась на территории Финляндии в XIII в., когда страна была завоевана Швецией. К этому времени на территории страны сформировались две культурные области — Юго-Западная и Юго-Восточная. Образование их было связано с историей завоевания, этническим составом, спецификой хозяйства и культурных контактов, в западной части — преимущественно со Скандинавией, в восточной — с Новгородским миром. Таким образом, различия в культуре населения западной и восточной частей страны имеют очень древние корни. Не совсем ясно только, почему автор столь категорично утверждает, что из всех прибалтийско-финских народов только у финнов в развитии культуры столь явное влияние имели как восточные, так и западные черты (с. 280). Для Восточной Прибалтики, которую принято рассматривать как особую историко-культурную область, одной из важнейших характеристик является именно сочетание в культуре ее народов западных, и восточных элементов. Это относится и к культуре шведов, принадлежащих, как и финны, к числу прибалтийско-финских народов.

Из характеристики культуры финнов в разные периоды особенно интересен современный этап. Тальвэ отмечает, что анализировать культуру, сформировавшуюся в индустриальном обществе, трудно уже потому, что отпали прежние характеристики народной культуры — ее устойчивость и традиционность. Однако, как и прежде, говорят, существует реальный мир «маленького человека». В этом разделе автор коротко рассматривает основные тенденции в развитии материальной культуры (в жилище, одежде, пище и др.), некоторые черты семейной жизни, формирование новых обычаев и приводит, несмотря на некоторую схематичность изложения, интересные данные и соображения. Особо останавливается он на формах проведения досуга, подчеркивая, что свободное время является одной из основных ценностей современного общества. Он считает, что изучение способов проведения свободного времени должно дать важные результаты.

После рассмотрения основных периодов развития народной культуры Тальвэ переходит к проблеме этнографических областей и подобластей в Финляндии. В этой связи необходимо упомянуть, что автором уже опубликовано специальное исследование о формировании этнографических границ и областей Финляндии<sup>3</sup>.

Основная этнографическая граница, разделяющая страну на западную и восточную части, идет примерно от устья р. Кюми к центру страны, где расположен г. Тампере, далее на северо-запад, к г. Оулу.

Западную область И. Тальвэ подразделяет на три подобласти: Юго-Западную, Южную Похьянмаа и Центральную Похьянмаа. Восточная также делится на три части: Юго-Восточную, Центральную саво-карельскую область и Северную (состоящую из Северной Похьянмаа и Лапландии). Давая характеристику каждой из подобластей, автор рассматривает и развитие их культуры в разные выделенные им исторические периоды.

В заключение можно сказать, что книга написана целенаправленно, основные положения и построения автора хорошо аргументированы, и вся картина развития финской народной культуры дана четко, стройно и убедительно. Включение в работу материала по современности представляется особенно интересным. Нельзя не почувствовать, какая большая исследовательская работа стоит за этой публикацией. Несомненно, эта книга И. Тальвэ — большой его успех и новое слово в финской этнографии.

А. Вийрес, Н. В. Шлыгина

<sup>3</sup> *Talve I. Suomen kulttuurirajoista ja — alueista. Suomen Tiedeakatemia esitelmät pöytäkirjat. Helsinki, 1971.*

## НАРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ

Janata. Schmukh in Afghanistan. Photos R. Braunmüller. Graz, 1981. S. 2125. Табл. Bibliographie.

Выход в свет книги известного австрийского исследователя и музейного деятеля Фреды Янаты «Украшения Афганистана» — важное событие для тех, кто занимается искусством азиатских народов. Она еще раз демонстрирует все усиливающийся интерес во всем мире к традиционному ювелирному искусству народов Востока. В 70-х годах в одно время в разных странах были опубликованы исследования и альбомы украшений арабов, персов, индийцев, корейцев и др. (работы Р. Кольер, Ю. Стилмен, Хоули, Р. Бирх, Ф. Брюнел и др)<sup>1</sup>. Теперь для европейского читателя буквально открыты украшения из Афганистана.

<sup>1</sup> *Colyer R. Bedouin Jewellery in Saudi Arabia. L., 1978; Stillman Y. K. Palestinian Costume and Jewellery. Albuquerque, 1979, XV; Hawley R. Omani Silver. L. — N. Y., 1978; Schumck P. C. Schmuck aus Persien Sammlungskatalog. Pforzheim, 1974; Brunel F. Jewellery of India. Five Thousand Years of Tradition. New Dehli, 1972.*

Книга А. Янаты состоит из следующих глав: «Афганистан. Заметки об истории общества», «Гигиена, одежда и украшения», «Амулеты для отражения злых сил, защитные амулеты, амулеты для сохранения здоровья», «Доисламские символы в украшениях и амулетах», «Материал, производство и техника изготовления украшений». Кроме того, в книге два небольших текстовых приложения: «Изготовление молитвенных четок в Кандагаре» и «Литье с утрачиваемой моделью». Затем следует самая объемная часть книги — «Таблицы» (с сопутствующим текстом, с. 43—189), причем на разворотах даются, с одной стороны, фотографические воспроизведения украшений и амулетов, а на другой — их описание и анализ. Заключают книгу небольшой раздел «Введение в литературу по мусульманским украшениям», собственно библиографический указатель и глоссарий, в котором собраны пуштунские, таджикские, узбекские и туркменские термины украшений.

А. Яната на протяжении многих лет (с 1958 по 1975 г.) посещал различные районы Афганистана, изучая народные украшения в городах, оседлых поселениях и в стоянках кочевников. В результате им была собрана значительная коллекция ювелирных изделий, каталог которой, по существу, и представляет собой рецензируемое издание. Посещая мастерские ремесленников, беседуя с торговцами украшениями в Кабуле, А. Яната собрал множество ранее неизвестных данных о технике изготовления, районах распространения ювелирных украшений, о связанной с ними терминологии. Кроме того, автор имел возможность ознакомиться с коллекциями советских этнографических собраний и получить консультации специалистов в Москве, Душанбе, Самарканде, Ташкенте, которые он сам оценивает очень высоко: «Без самоотверженной помощи советских коллег о среднеазиатских (элементах) в афганистанских украшениях я смог бы сказать значительно меньше» (с. 8).

Предельно краткая первая глава, содержащая исторический очерк страны, не свободна, на наш взгляд, от некоторых неточностей и недостатков. Можно отметить в частности, высказываемое на с. 11 мнение о том, что арийские племена, завоевавшие Переднюю Азию и Индию, якобы «разрушили раннюю городскую культуру Мохенджо-Даро и Хараппы». Это мнение совершенно устарело и давно не бытует среди специалистов. Правители Греко-Бактрии не были «иранскими правителями с греческими именами», как пишет А. Яната (с. 12), они были настоящими эллинами.

В главе «Доисламские символы в украшениях и амулетах» общая идея — о доисламском происхождении символики, отразившейся в современных украшениях Афганистана, — бесспорно верна. Однако для разработки этого тезиса необходимо привлечение древнеиранских (а в некоторых случаях и древнеиндийских) источников средневековой литературы и т. д. Автор же опирается лишь на несколько общих работ, материалы которых не всегда точны. Так, например, он, ссылаясь на одну статью, приводит сведения о том, что изображение павлина появляется в искусстве Ирана лишь в XV в., что абсолютно не соответствует действительности. Неточно также утверждение о том, что птица в древнеиранских преданиях «в переносном смысле — символ царского блеска» (с. 34); на самом деле в соответствующих местах Авесты (Яшт 19, 32) речь идет не о птице вообще, а об определенном виде хищной птицы. Некоторые другие рассуждения автора (например, о «древе жизни») также носят специфический характер. На наш взгляд, раскрытие символики этнографических украшений невозможно без выявления эволюции тех или иных символов в искусстве и мировоззрении народов Афганистана и соседних стран, без детального изучения современных народных представлений. Все это в книге отсутствует, поэтому изложение данной проблематики в целом несколько поверхностно.

Очень ценна, на наш взгляд, иллюстративная часть книги, непосредственно представляющая собранный автором материал. В ней прослеживается несколько дополняющих друг друга принципов систематизации публикуемого материала, каждому из которых трудно отдать предпочтение, настолько они интересны. Часть таблиц посвящена наборам украшений из основных этнокультурных районов Афганистана (восточных кочевых и полусоседных пуштунов, северных тюркоязычных кочевников, городских таджиков и т. п.). В ряде таблиц ювелирные украшения Афганистана представлены по категориям (серьги, браслеты, цепочки, амулеты и пр.). Кроме того, на отдельных таблицах выделены группы изделий, выполненных в определенной технике (например, разноцветной эмали) или вообще составляющих традиционный для Афганистана импорт (из Индии и Пакистана). Хотя все перечисленные аспекты подачи материала перебивают друг друга и несколько затрудняют целостность его восприятия, все же в итоге (и это главное) у читателя складывается общее представление о многоплановом, структурно сложном и очень своеобразном искусстве Афганистана. Прежде всего, книга А. Янаты едва ли не с исчерпывающей полнотой демонстрирует украшения из северного, центрального и восточного Афганистана, оставляя несколько в тени самые южные и юго-западные районы страны. Кроме того, представленные материалы демонстрируют не только специфику наборов украшений этих районов Афганистана, но и черты, общие с украшениями из соседних Таджикистана и Узбекистана, с одной стороны, и из Пакистана — с другой (все это четко прослеживается и в самих таблицах, и в кратких аннотациях к ним, где тщательно отмечены все публикации советских и зарубежных исследователей).

Обзор публикаций об исламских украшениях (вместе с приложенной библиографией) представляет особый интерес для занимающихся этой тематикой: он достаточно

<sup>2</sup> Zick-Nissen J. Beiträge in: Das Tier in der Kunst Iran/Hrsgb. von F. Kussmaul. Stuttgart, 1972.

Многое, хотя и не свободен от мелких недочетов. Особо надо отметить, что А. Яната хорошо знаком с советской литературой, что, видимо, является следствием его научных контактов с этнографами Душанбе и Москвы. Сам автор указывает на большую работу, проведенную в СССР по изучению ювелирных украшений народов Востока. «Еще лучше, чем о магрибских украшениях,— пишет он,— информированы мы об украшениях народов Средней Азии и Казахстана, информированы хорошо, но исключительно благодаря разбросанным (в разных изданиях) статьям на русском языке» (с. 197). Действительно, при относительной разработанности указанной проблематики в советской этнографической науке у нас до сих пор фактически отсутствуют монографии и достаточно полные и научно обоснованные альбомы об украшениях народов Средней Азии и Кавказа. Поэтому деликатный упрек австрийского коллеги, безусловно, необходимо принять к сведению.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что ценность рецензируемого издания заключается не только в заполнении «пробела» в наших знаниях о восточных ювелирных изделиях, не просто в публикации (в прекрасном полиграфическом исполнении) красивых вещей, но также в том, что представленный в книге материал ясно указывает на тесные связи населения разных частей страны с соседними народами, что весьма важно при изучении ювелирных украшений с этнографической и историко-культурной точек зрения.

*Б. А. Литвинский, Л. А. Чвырь*

## НАРОДЫ АМЕРИКИ

Исторические процессы в странах Южной Америки. Ред. И. Ф. Хорошаева, Э. Л. Нитобург. М.: Наука, 1981, 533 с.

В серии выпускаемых Институтом этнографии АН СССР исследований, посвященных этническим процессам в странах Западного полушария, рецензируемая книга была, пожалуй, едва ли не самой сложной для написания. В самом деле, в ней рассматриваются полтора десятка стран — стран достаточно разных и по масштабам, по их месту в современном мире, и по их историческому прошлому, обусловившему различные конкретные формы и темпы этнического развития. Конечно, велика была общность исторических судеб: все это бывшие испанские или португальские колонии, где происходило взаимодействие групп, представлявших три главные расы человечества, везде процесс шел от четко выраженного этнического (вернее, этносоциального) противостояния к складыванию национальной общности. Но за этим общим подходом оказывается весьма осязаемое, которое делает страны Латинской Америки немыми друг на друга и в том, как протекали этнические процессы, и в том, когда на какой этнической основе складывались эти национальные общности и присущая им национальная культура. Исследования же последних десятилетий позволили более или менее точно выделить тот круг вопросов, который нуждается сейчас в углубленном анализе. Ответ на некоторые из них пытаются дать авторы\* и редакторы книги. К сожалению по этому одному, она заслуживала бы благожелательного внимания всех, кто интересуется социальной историей народов Южной Америки.

Но, конечно же, достоинства рецензируемой книги не сводятся только к этому. Авторы поставили перед собой широкий круг весьма непростых задач — от изучения гомогенности или гетерогенности этнического состава разных стран до упорядочения терминологии, употребляемой при исследовании этнических процессов. Такая работа подхода оказывается вполне оправданной: авторам удалось достаточно глубоко рассмотреть значительную часть этих вопросов. В частности, в большинстве случаев впервые в нашей литературе с такой полнотой анализируются не просто этнические процессы как таковые, но прежде всего их, если можно так выразиться, расовая составляющая. Это позволяет приблизиться к более полному пониманию культуры, выполняющей по существу роль национальной культуры, в период, рано еще говорить о завершившемся формировании нации в бывшей колониальной стране. И можно сразу же сказать, что авторы в целом успешно справились с задачей важнейшей культурной роли этнически смешанного населения (важность задачи подчеркнута в самом начале «Введения» к книге). Впрочем, столь же ясно представляется мне и то, как анализируется соотношение этнического, точнее — этнорасового, и социального моментов в обществах Южной Америки, также сказано во «Введении».

К сожалению, этим достижениям авторского коллектива в немалой степени способствовала удачно избранная структура книги. Однозначно определить ее жанровую принадлежность, пожалуй, не так-то просто. Правда, и во «Введении», и в авторской анно-

\* Состав авторского коллектива: М. А. Альперович, Ю. К. Березкин, М. Я. Березина, Е. А. Винокуров, А. Д. Дридзе, А. С. Ковальская, М. Г. Котовская, В. И. Кочуров, Э. Литаврина, Э. Л. Нитобург, С. Я. Серов, С. А. Солина, А. А. Стрелко, И. Ф. Хорошаева, Л. С. Шейнбаум.



тации употреблено ставшее модным определение «коллективная монография». Но я предпочел бы абсолютно, так сказать, неканоническое обозначение — собрание очерков: эти связанные единством тематики и авторского подхода к ней. И говорится это вовсе не в укор, а, наоборот, в похвалу авторам и редакторам. Ведь когда имеешь дело с довольно пестрым материалом — пестрым и по наличию фактов, и по степени раздробности отдельных проблем, и по разности конкретно-исторического фона в отдельных десятках стран, — как раз такая структура оказывается наиболее гибкой способной передать именно эту пестроту. Только при ней и можно было подготовить и опубликовать несколько исследований по одной и той же стране, когда того требуют ее размеры, либо очень уж ярко выраженная специфика ее исторического процесса (соответственно Бразилия и Парагвай) или же предпослать страноведческие очеркам по трем отдельным государствам — Перу, Эквадору и Боливии — обобщающий раздел, посвященный их общему прошлому в составе испанского колониального вице-королевства Перу. Такую степень детализации в масштабе целого региона, волюно трудно себе представить в традиционной коллективной монографии, а между тем и то, как развивалось общее «колониальное» наследие в условиях независимости и те различия, что обнаружались в его эволюции в трех самостоятельных социальных политических системах, представляют особый интерес.

Несомненно, в этом проявляется, я бы сказал, органический историзм подхода к материалу, последовательно проведенный через всю книгу. Этнические процессы неизменно рассматриваются в ней как составная часть всей совокупности общественных отношений, на фоне широкой панорамы социально-экономических и политических условий в той или иной стране и в тесном взаимодействии с этими условиями. Убедительность авторского анализа подкрепляется богатыми статистическими данными, собранными в книге (и отнюдь не ограниченный собственно этнической статистикой). И в итоге становится понятна одна из самых характерных черт этнического развития в странах континента: его неравномерность и позднее (даже в рамках такой неравномерности) завершение формирования общностей национального типа.

По-видимому, сочетание в пределах одного и того же государства зон, уже достигших в этническом развитии уровня нации, и зон, где население пребывало еще в «донациональном» состоянии, было в Южной Америке вплоть до первых десятилетий нашего века достаточно типичным. Конечно, ярче всего демонстрирует реальную форму такого сочетания гигантская Бразилия. Но подобное сосуществование можно увидеть и в таких странах, как Колумбия, Венесуэла или Перу. Иными словами, историк и этнограф имели здесь почти уникальную возможность непосредственно наблюдать заключительный этап формирования наций в масштабах целого континента. В этот этап проходил в большинстве случаев чуть ли не на наших глазах — по сути дела в первой половине нашего столетия, а иногда, скажем, в Боливии, и условия для завершения окончательно сложились лишь после 1952 г. Речь идет о том, что после победы капиталистических отношений в странах Южной Америки существенно осложнилась живучестью множества форм феодальной эксплуатации, нередко в ее крепостнической форме, в сельском хозяйстве. Кроме того, в ряде случаев (Перу, внутренние области Бразилии) сохранялись значительные массивы не вовлеченного в капиталистические производственные отношения индейского населения; если в Бразилии обстоятельство было скорее все же маргинальным, то в Перу самое формирование нации без включения в нее индейцев оказывалось весьма проблематичным. Не случайно выглядит и время окончания складывания наций в ряде стран — как раз к концу первой половины XX в. капиталистические отношения решительно восторжествовали в подавляющем большинстве внутренних районов. Марксистский тезис об органической связи возникающих национальных общностей с капиталистическими производственными отношениями получает в Южной Америке убедительное подтверждение.

Но эти же факты, анализируемые и обобщаемые авторами, могут служить и самым предостережением против упрощенного толкования этого важнейшего положения марксистской теории нации. В самом деле, материалы книги свидетельствуют — вполне справедливо указано во «Введении», — что, с точки зрения процесса образования национальных общностей, нельзя рассматривать победу народов Испанской Америки в войне за независимость как простую аналогию победы буржуазных революций в Европе, в целом завершавших сложение европейских наций. Слабый уровень развития капиталистических отношений — прежде всего, а также комплекс иных причин сделали завоевание государственной независимости лишь начальной стадией складывания южноамериканских наций. Окончание же его растянулось в целом континенту почти на полтора столетия (с. 12).

Среди теоретических вопросов, рассмотренных в рецензируемом труде, одним из самых интересных представляется роль государственно-политической надстройки в складывании южноамериканских наций. По существу ликвидация колониальной зависимости на всем Южноамериканском континенте и складывание собственной государственности стали мощным ускорителем этнических процессов. Кроме того, наличие независимого государства на территории бывшей колонии в значительной степени предопределяло и их направленность: при сохранении государственных границ в целом неизменными этническое развитие в конечном счете почти неизбежно должно было прийти к формированию национальных общностей, особенно если учитывать характерный для Южной Америки каудильизм, т. е. тенденцию к диктатуре. Поэтому эта проблема могла бы стать объектом самостоятельного изучения. Что же касается роли государства в ускорении процесса складывания нации, то здесь заслуживает моего точки зрения, специального внимания — и это внимание ему уделено, особенно в разделе, посвященном Перу, — такой вопрос, как выполнение «государствами

кологией функций национального самосознания на ранних этапах этого процесса в сударстве, лишь недавно бывшем колонией. В том же Перу понятие государственной идеологии расширилось за счет направленно препарированной истории страны, эта «официальная» история, как справедливо подчеркнуто в книге, выступала «раним аналогом» идеологии националистической. Иными словами, здесь в, так сказать, этом виде проявилось то несовпадение между историей реальной и историей идеологической, о котором в свое время писал З. Надель в применении к африканским государствам<sup>1</sup>. По-видимому, мы имеем дело не с локальным южноамериканским явлением, а с общей закономерностью идейной эволюции постколониальных обществ; во всяком случае эта закономерность очень определенно прослеживается в современных африканских государствах. И в том и в другом случае государственность и связанная с нею идеология оказываются и фактором консолидации донациональных этнополитических общностей и ускорителем процесса их превращения в нации в полном смысле этого слова.

Не может вызвать сомнения и справедливость того, что в книге очень серьезное внимание уделено месту культуры в становлении наций Южной Америки. Практически во всех странах континента к моменту завоевания независимости существовала своеобразная кастовая разграниченность культуры. От «обычной» культуры классов общества культуры колониальной Южной Америки отличались тем, что классовые различия здесь усугублялись отражавшими социальную структуру колониального общества различиями этнорасовыми (в этом смысле если что и отличало Южную Америку от колоний европейских держав в Азии или Африке, то только то, что в Америке взаимодействовали люди, принадлежавшие ко всем трем большим расам словечества). И очень характерно, что ни в одной из стран континента не смогла стать основой национальной культуры культура высшей касты—европейской и креольской аристократии. Наоборот, эта роль с большими или меньшими отклонениями везде досталась культуре смешанной, метисной. А внутри такой метисной культуры соотношение составлявших ее европейских, индейских и африканских элементов могло меняться в самых широких пределах, обусловленных реальной исторической обстановкой в той или иной стране или даже в разных частях одной и той же страны. При этом отнюдь не обязательно совпадали действительно национальные (по крайней мере — в тенденции) формы культуры и то, что общественным мнением сравнительно образованных слоев населения воспринималось как таковое. Хорошим примером тому может служить Эквадор: за нормативную принималась метисно-креольская культура Сьерры, тогда как уровень общественных отношений и экономики, на основе которого только и могла сложиться культура национального типа, существовал в прибрежных районах, в Косте (с. 136). Несколько иной вариант развития этнокультурных процессов предстает перед нами в Бразилии. Здесь подлинный центр экономического и политического развития возник к началу нашего столетия на юге страны, что повело к складыванию самостоятельного этнического ядра в этом регионе. Но к тому времени сложившиеся уже традиции бразильской культуры, сформировавшейся на северо-востоке государственной территории, были достаточно прочными для того, чтобы переварить новые элементы, в частности, вносимые массовой эмиграцией из Европы. И именно на этой основе, как убедительно показано в книге, происходит такое взаимодействие обоих «этнических ядер» (с. 453—459) — южного и северо-восточного, ставших основой современной бразильской нации.

Если в бывших испанских колониях сложилось, как уже говорилось, определенное кастовое деление населения по совокупности социальных и этнорасовых критериев, то та же Южная Америка обнаруживает образец небывало быстрого разрушения древней кастовой системы под влиянием совершенно новых общественных отношений. Показ того, как происходило практическое изживание кастовой системы индейских иммигрантов в Гайане (с. 173—177), удачно дополняет ранее опубликованные работы на эту же тему, так как позволяет сопоставить этот процесс со сходными, если не по форме, то по содержанию явлениями в соседних странах. И там и тут разграничения кастового типа исчезали под нажимом капиталистической экономики, решительно изменявшей социально-психологические ориентации людей. И все же такие разграничения, созданные колонизацией, оказываются более живучими, несмотря на то, что они, разумеется, очень ослабевают в последнее время. Конечно, в этом смысле положение весьма различно в разных странах; и, естественно, индустриально развитые Венесуэла и Бразилия идут впереди. Но общая тенденция к ликвидации остатков кастовых границ, особенно в сфере культуры, вполне очевидна. Следует отдать должное авторам рецензируемой книги: тенденция эта показана ими весьма выпукло.

Размеры журнальной рецензии жестко ограничивают возможности обсуждения книги. Ее достоинства вовсе не исчерпываются рассмотрением тех вопросов, о которых шла речь выше. Можно, например, указать как на несомненную удачу на специальный очерк о славянских иммигрантских группах в странах континента. Можно было подчеркнуть большое и оправданное внимание, уделяемое авторским коллективом такой важнейшей проблеме этнического развития ряда стран континента, как включение индейского населения в процесс национального строительства. Правда, можно сказать, у меня вызывает сомнение реальность тезиса о возможном создании в Бразилии «индейских национальных районов», а тем более — закрепления земель индейской общиной (с. 430). Не говоря уже о том, что и то и другое представ-

<sup>1</sup> Nadel S. F. A. Black Byzantium. The Kingdom of Nupe in Nigeria. London — New York — Toronto, 1942, p. 72.

ляется маловероятным и маложизнеспособным в рамках капиталистической системы, подобные меры могут еще более изолировать индейское население от внешнего мира. То есть в конечном счете это приведет к искусственной консервации общины, за что, как это достаточно убедительно показано в другом разделе книги, может последовать лишь деградация традиционной индейской культуры, даже если ее удастся в каком-то виде сохранить.

Понятно, что как и всякая другая публикация, посвященная такому сложному и многостороннему явлению, как этнические, вернее — этнокультурные, процессы, рецензируемая книга подчас вызывает желание поспорить с авторами, а то и увидеть более многостороннюю картину описываемых процессов. И не приходится сомневаться в том, что ее появление послужит известным стимулом к дальнейшим исследованиям в этих направлениях. С другой стороны, в таких исследованиях, очевидно, удастся внести в большую определенность в некоторые тезисы авторов. В качестве двух частных примеров могу указать на оценку целей походов бандейрантес в Бразилию: в одном случае сказано, что захват рабов из числа индейцев был «основной задачей», в другом — что это было их целью «отчасти» (с. 391 и 443), и на толкование термина branco da terra — в одном случае он переведен как «белый по земле», в другом — как «местный белый» (с. 390 и 450).

Понятно, конечно, что все это мелочи. В целом же авторам книги «Этнические процессы в странах Южной Америки» удалось успешно решить очень трудную задачу — в сравнительно ограниченном объеме дать читателю богатую фактическим материалом картину сложной этнической истории континента и убедительно ее проанализировать в свете теоретических достижений нашей этнографической науки за последние десятилетия.

Л. Е. Кудьяв

### Этнические процессы в странах Карибского моря. М.: Наука, 1982. 309 с.

Рецензируемый труд завершает трехтомное издание, посвященное исследованию этнических и национальных процессов в Латинской Америке. В этой коллективной работе, отличающейся высоким профессиональным уровнем и тщательным анализом истории и современного развития этнических процессов в Карибском регионе, проанализирован богатый эмпирический материал и обсуждены сложные вопросы, представляющие большой научный и политический интерес. Бурное развитие национально-освободительной и классовой борьбы в этом своеобразном островном мире, сопровождающееся существенными трансформациями этнокультурного характера, закономерно привлекло к себе внимание советских этнографов-латиноамериканистов.

Впервые на русском языке публикуется сводный труд, в котором описаны и проанализированы материалы обо всех народах и этногруппах, обитающих на островах Карибского моря. Авторы книги использовали весьма широкий круг разнообразных источников — данные археологии, исторические документы, материалы переписей, обследований, свидетельства прессы, сведения, почерпнутые из частных этнографических исследований.

Следует сразу же сказать, что в целом исследователи успешно справились со своей задачей. В книге мы находим не только разнообразные и убедительные данные об этнических и этнокультурных изменениях, совершающихся в регионе, но и научно обоснованные оценки и интерпретации происходящих перемен, сделанные с верных теоретико-методологических позиций.

Главный вопрос, стоявший перед авторами почти всех очерков, включенных в книгу, — сформировалась та или иная группа населения, обитающая на определенном острове или архипелаге, в этническую общность и какова мера ее консолидации. Эта тема проходит лейтмотивом по всей работе, и авторы решают поставленный вопрос в зависимости от того, насколько полное развитие получил этот процесс в той или иной зоне региона.

Книга об этнических процессах в странах Карибского моря построена так, что она дает возможность получить целостное представление о совершающихся здесь этнических трансформациях и об их зональных особенностях.

В содержательном «Введении», написанном ответственным редактором монографии Э. Л. Нитобургом, идет речь как об общих социально-политических условиях развития изучаемого региона, так и о некоторых специфических особенностях четырех сложившихся здесь этнокультурных субрегионов. В нем освещается проблема «креолизации» — процесса взаимовлияния двух основных культурных компонентов, складывающихся в районе этнических общностей — европейского и африканского. При этом подчеркивается, что хотя ряд местных этнических общностей сложился исторически сравнительно недавно, формированию и консолидации их способствовало сначала совпадение этнических границ с островными, а затем (после достижения независимости) и с политическими. Касаясь проблематичного вопроса о возможности становления общего для всего региона «карибского», или «вестиндского», самосознания, автор считает появление его в ближайшем будущем невозможным и маловероятным даже для объединившегося в Карибское сообщество (КАРИКОМ) англоязычного этнокультурного субрегиона.

Очень интересны сводные главы, написанные С. Я. Серовым и А. Д. Дридо, в которых впервые проанализированы материалы об этнических последствиях колониализма.

политики Испании и Великобритании для стран Карибского бассейна. Весьма информативен небольшой очерк Э. Г. Александренкова о судьбе индейского населения в связи с завоеванием Вест-Индии европейскими державами и той дискриминационной политикой, которую они проводили по отношению к индейцам.

Все остальные главы представляют собой очерки, посвященные истории социально-этнического развития населения отдельных стран, формированию их этнического состава, а также характеристике населяющих их этнических общностей и групп. Каждый из них, несомненно, содержит немало интересных фактов и научных наблюдений. Тем не менее среди этих очерков хотелось бы выделить некоторые, как представляется, наиболее удачные. К ним относятся главы о Ямайке (А. Д. Дридзо), о Пуэрто-Рико (Ш. А. Богинной) и о Гаити (Н. Н. Кулаковой).

Особое место в книге занимает очерк о Кубе. Закономерно, что он является и наиболее обширным. Формирование кубинцев как нации, складывание их современных культурно-бытовых особенностей представляют тем больший интерес, что кубинцы первыми в регионе и вообще в Западном полушарии вступили на путь социалистического развития и, как верно подчеркивает автор этого очерка Б. В. Лукин, в настоящее время формируются в социалистическую нацию. Однако неясно, почему автор не привлек сведения, содержащиеся в книге Фернандо Ортиса о развитии табаководства и культуры сахарного тростника на Кубе<sup>1</sup>, в которой известный кубинский исследователь не только описал внедрение в стране сахарного производства, но и показал значение изменений в сельском хозяйстве для этнокультурного развития страны, а также сформулировал принципиально важную концепцию транскультурации, существенную для понимания формирования кубинцев как нации. Автор напрасно не использовал содержащую и ценную своим фактическим материалом статью Франсиско Переса де ла Ривы<sup>2</sup>, в которой имеются данные о материальной культуре кубинцев, т. е. по теме, вообще говоря слабо освещенной в кубинской этнографической литературе.

Хотелось бы высказать несколько общих замечаний по поводу рецензируемой книги. В ней отсутствует заключение, и это очень жаль, так как в нем можно было бы подвести некоторые итоги и обобщить материалы и данные, изложенные в отдельных главах. Думается, в частности, что одним из таких обобщений могла бы быть мысль о ступенчатом формировании карибской историко-этнографической области. Имеющиеся сведения, изложенные в отдельных очерках, как нам кажется, дают достаточные основания для такого вывода. Было бы, далее, полезно подчеркнуть значение экономических факторов и их своеобразного проявления в процессе формирования этнического состава населения описываемого региона. В данном случае эта связь особенно хорошо видна: появление на островах Карибского бассейна всех новых этнических компонентов, как показывают имеющиеся фактические данные, всякий раз было вызвано экономическими причинами. В заключении полезно было бы также подчеркнуть мысль о неравномерности этнического развития и консолидации этнических общностей в регионе. Спектр складывания этих этнических общностей состоит, в частности, в том, что все они представляют собою, в сущности, иммигрантские этносы, что процесс их «этногенеза» (консолидации) приобрел длительный, почти постоянный характер. Этим обусловлена разная степень завершенности — незавершенности этого процесса. Вместе с тем, думается, что в отдельных случаях (например, в случае с пуэрториканцами) можно было бы более решительно высказаться по поводу формирования этих народов в определенные типы этнических общностей.

Наконец, еще одно замечание. Вызывает сожаление, что для характеристики этносов стран карибского бассейна авторы не сочли необходимым привлечь сведения, касающиеся традиционных элементов культуры и быта, таких, как народное жилище, типы поселений, одежда, пища, формы семейного быта и т. п. Отдельные упоминания об этих сторонах быта и культуры, конечно, не могут заменить собою пусть даже кратко специальные их характеристики.

Высказанные замечания все же не меняют общего благоприятного впечатления, которое производит на читателя труд советских этнографов-латиноамериканистов. Эта работа может рассматриваться как существенный вклад в исследование этнографии Карибского региона.

*В. В. Пименов, В. Г. Стельмах*

<sup>1</sup> Ortíz F. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. La Habana, 1963.

<sup>2</sup> Pérez de la Riva F. La habitación rural en Cuba. — Revista de arqueología y etno-  
logía. La Habana, 1952, № 15—16.

## НАРОДЫ АФРИКИ

С. С. Годинер. Возникновение и эволюция государства в Буганде. М.: Наука, 1982.

Проблема становления классов и государства относится к числу самых важных и в то же время наиболее трудных в исторической науке. О том, как этот процесс происходил в древности, можно судить в основном лишь по данным археологии. Однако они, будучи по себе взятые, по своей природе, не способны пролить свет на то, какие именно

эксплуататорские отношения возникали в том или ином обществе. Появление письменности, как правило, относится ко времени, когда этот процесс в основном уже завершен. К тому же ранние письменные источники не всегда дают возможность установить даже уже сложившиеся к данному времени общественные порядки, не говоря уже об их становлении. В силу всего этого особую ценность для решения рассматриваемой проблемы имеют данные этнографии не только о «живых» первобытных общинах, но и о продолжавших вплоть до последнего времени существовать обществах, в которых шло формирование классов и государства.

И одним из самых интересных социальных организмов подобного типа безусловно была доколониальная Буганда. Она резко отличалась от подавляющего большинства известных этнографии формирующихся классовых обществ. Это было единое централизованное политическое образование с площадью в 26 тыс. кв. км и с населением 1 млн. чел. Имеется значительное число источников, позволяющих не только нарисовать достаточно полную и достоверную картину общественного строя Буганды середины XIX в., но в значительной степени также восстановить историю возникновения и развития этого социального организма. И еще на один важный момент следует обратить внимание. В силу изолированного положения Междозерья становление классового общества в Буганде в течение веков происходило без какого-либо влияния со стороны уже возникших цивилизаций. А это означает, что классовые отношения в Буганде были по своему характеру самыми архаичными. Поэтому их исследование способно пролить свет на становление самых ранних в истории человечества классовых обществ.

Однако несмотря на огромное теоретическое значение, которое представляют материалы о Буганде, в нашей литературе этому социальному образованию почти совсем не уделялось внимания. Рецензируемая монография восполняет этот пробел. Ее не сомненно можно оценить как существенный вклад в советскую африканистику. На наш взгляд, только этим ее значение далеко не исчерпывается. Она значительно продвигает вперед в решении проблемы становления первой формы классового общества и соответственно государства.

Книга Э. С. Годи́нер состоит из введения и четырех глав. Во введении дается сжатый, но по существу исчерпывающий обзор источников и историографии проблемы. Самые ранние письменные источники по истории Буганды относятся к XIX в. Они позволяют восстановить существовавшие в то время общественные порядки, но не историю их становления. Поэтому важное значение приобретает вопрос об использовании богатейшей устной традиции баганда и других народов Междозерья. Автор, на наш взгляд, совершенно правильно решает его, выступая как против некритического использования преданий, так и против гиперкритического отношения к ним. В следующих за первой главой «Экономические предпосылки образования государства (XII—XIII вв.)» главах — второй — «Становление государства в Буганде эпохи Кинту (XIII—XIV вв.)» и третьей — «Эпоха Кимеры и дальнейшая эволюция государства баганда (XVI—XVIII вв.)» автор демонстрирует великолепное умение выявлять рациональные зерна, содержащиеся в традиции. Важнейшим средством достижения этой цели является сопоставление преданий с данными археологии, палеоантропологии, лингвистики, которых много приводится и в первой главе. Все это позволяет Э. С. Годи́нер восстановить основные моменты истории Междозерья вообще, Буганды в частности, в период с XII—XIII вв. по XIX в. В главе четвертой — «Социально-политическая структура Буганды конца XVIII—первой половины XIX в.» автор, базируясь в основном на письменных источниках, рисует яркую и, на наш взгляд, во всех основных моментах верную картину общественного строя данного образования в указанное время.

Э. С. Годи́нер отличает исключительная добросовестность. Нет буквально ни одной сколько-нибудь значительной работы, даже косвенно касающейся истории Буганды, которая выпала бы из ее поля зрения. В этом смысле монография в известной степени подводит итог всем исследованиям в этой области. Однако рецензируемая книга меньше всего представляет собой простую сводку фактического материала. Самое ценное качество автора состоит в том, что он нигде не останавливается на поверхности явлений, а стремится проникнуть в их сущность, осмыслить факты, дать им определенное объяснение. Все данные, приводимые в книге, обобщены и представлены в определенной системе, что сказалось и на структуре работы. Изложение отличается последовательностью, стройностью, логичностью. Мысли автора изложены до предела четко и ясно. Исключения представляют, пожалуй, лишь несколько страниц заключительной части четвертой главы, касающиеся самых общих теоретических проблем. Книга написана прекрасным языком, интересно, свежо, по-своему. И как всякое оригинальное, самобытное исследование ставит лицом к лицу с целым рядом вопросов, требующих обсуждения.

Буганда XII—XV вв., по словам автора, «еще не государство в собственном смысле слова» (с. 87). Государство в эту эпоху еще только формировалось. В книге ни разу прямо не говорится, когда именно закончился этот процесс, но, как явствует из содержания, автор придерживается мнения, что к XIX в. в Буганде уже существовало подлинное государство. Общество к этому времени уже «переступило грань государственности» (с. 138). Иначе, по мнению Э. С. Годи́нер, обстояло дело с классообразованием. Даже в первой половине XIX в. этот процесс находился «еще на очень ранних этапах» (с. 128). Классы к этому времени еще только начали складываться.

На вопрос, какое именно классовое общество формировалось в Буганде, автор дает четкий ответ только в одном отношении. Как категорически заявляет Э. С. Годи́нер, там не формировались ни рабовладельческое, ни феодальное общества. Рабство в Буганде, хотя и существовало, но играло второстепенную роль. Феодальных отношений в ней не существовало совсем (с. 30—32, 139 и др.). И с этими выводами

наш взгляд, нельзя не согласиться. Они полностью отвечают действительному положению вещей. Но если совершенно ясно, что именно автор отвергает, то с позитивным решением вопроса обстоит иначе. Однако не определяя классовую структуру Буганды, автор в то же время дает превосходное ее описание.

Все население Буганды в XIX в. совершенно отчетливо подразделялось на две основные большие группы. Одну из них составляли рядовые общинники — *бакопи*, другую — люди, входившие в состав государственного аппарата, — *мвами*. Низшее звено иерархически организованного государственного аппарата составляли деревенские старейшины. Выше их стояли правители подразделений провинции, еще выше — правители провинций (*саза*). Во главе иерархии находился правитель всей Буганды — *суба*, считавшийся не только верховным собственником земли, но собственником и распорядителем всех вообще благ, распределяемых в обществе (с. 109, 133). В XIX в. кабула обладал неограниченной властью. Он имел право на жизнь и смерть всех членов общества, не исключая самых высокопоставленных мвами (с. 109—111, 131). Территориально-административная иерархия в столице и на местах дополнялась штатом придворных служб (с. 110—111). Часть продукта, созданного трудом бакопи, поступала в форме налогов государству и распределялась между мвами согласно их положению в иерархической системе.

Таким образом, одна из двух названных больших групп людей безвозмездно производила часть продукта, созданного другой группой, т. е. эксплуатировала последнюю. Этот факт полностью признается автором (с. 125, 138). Как отмечается в монографии, данный тип эксплуатации был ведущим в бугандийском обществе, что резко отличает его как от рабовладельческого, так и феодального (с. 139). В Буганде, по мнению автора, имели место «резко выраженные социальные антагонизмы» (с. 139). В то же время, даже говоря в одном месте о наличии в Буганде «складывающихся классов» (с. 137), автор нигде прямо не характеризует данные группы как классы, а лишь формирующиеся. И тому есть серьезные причины.

По мнению Э. С. Годиера, классами две названные большие группы людей не могут считаться потому, что они не различаются отношением к средствам производства. «Определяющий признак классов, различное отношение к собственности на средства производства, — категорически утверждает автор, — в Буганде не обнаруживается» (с. 139). А не обнаруживается он потому, что в бугандийском обществе отсутствовала частная собственность на средства производства (с. 133—139). Именно из этих фактов и следовал вывод, что хотя бугандийское общество и было уже расколото на две большие группы людей, из которых одна эксплуатировала другую, тем не менее процесс классового образования в нем был еще на самых ранних этапах, классы не только еще не сформировались, сколько едва еще намечались.

Подобного рода трактовка бугандийских отношений столкнула автора с целым рядом сложных проблем. Первая. Если в Буганде не было частной собственности, то с чем же было связано образование двух больших групп людей, из которых одна эксплуатировала другую, и на чем же была основана эта эксплуатация? И вторая. Если классовое образование в Буганде XIX в. было еще на самых ранних этапах, то каким образом в ней к этому времени могло существовать сложившееся государство?

В поисках решения Э. С. Годиер обратилась к Ф. Энгельсу, который, как известно, писал в «Анти-Дюринге» о двух путях классового образования. Один из них состоял, по Ф. Энгельсу, в появлении «органов для защиты общих интересов и отпора противоположным интересам», приобретенных ими все большей самостоятельностью по отношению к обществу и превращении их из «слуг общества» в «господ над ним»<sup>1</sup>. Сам Энгельс в качестве примера деятельности, требовавшей координации усилий значительного числа людей, приводил ирригационные работы в масштабах целых речных бассейнов<sup>2</sup>.

В Буганде нужды в ирригации не существовало. И автор ищет иные природные причины, которые обусловили бы появление общих интересов у людей, населявших территорию, где зародилась бугандийская государственность. «Прижатые к озеру остро нуждающиеся в металле, пастбищах, скоте и солях, которые в изобилии имелись совсем по соседству, предки баганда не могли не стремиться к территориальным захватам» (с. 84). Но общее руководство и координация военных действий были возможны лишь при условии, «если разделенные богатоми холмы Буганды будут связаны единой сетью коммуникаций» (с. 86). Необходимость организации, во-первых, многого дела, во-вторых, общественных работ по сооружению и поддержанию сети дорог вызвала к жизни государство (с. 86). А это в дальнейшем привело к разделению общества на бакопи и мвами. Таким образом, первичным и ведущим моментом в развитии Буганды было возникновение государства. Все остальное, включая появление эксплуатации и антагонизмов, было вторичным, производным. Соответственно становлению государства в книге уделяется основное внимание, что нашло отражение в ее названии. Правда, автор в какой-то степени пытается связать само возникновение государственности с эксплуатацией. Но говоря о присвоении прибавочного продукта в эпоху становления бугандийского государства, автор имеет в виду не всеобщую военную добычу. Единственная форма эксплуатации рядовых общинников внутри самой Буганды в это время — «неравенство в распределении добычи» (с. 87). В особенностях природных условий и обусловленной ими специфике хозяйства нужды автор видит конечную причину не только зарождения государства, но и отрыва движения по пути к частной собственности (с. 138).

<sup>1</sup> См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 184.

<sup>2</sup> Там же.

Все эти соображения, вероятно, заслуживали бы детального рассмотрения только при условии, если бы оказалось, что рассмотренные выше общественные отношения были присущи одной лишь Буганде. Однако в действительности дело обстоит совершенно иначе. Отношения описанного типа имеют самое широкое распространение. Они существовали по всей Африке, в Азии, Южной и Северной Америке, Океании, причем в обществах, живших в самых различных природных условиях и с далеко не одинаковыми формами хозяйства<sup>3</sup>. Уже отсюда следует, что объяснить появление эксплуататорских отношений данного типа, а тем более их специфику особенно в природной среде невозможно. Столь же неверно, по нашему мнению, рассматривать существование этих отношений как показатель того, что классовобразование находилось еще на самых ранних стадиях. Отношения данного типа не просто существовали, а были господствующими не только в формирующихся, но и в уже вполне сформировавшихся классовых обществах, какими были, например, общества Древнего Востока. Известны вполне сложившиеся классовые социальные организмы, в которых не существовало никакого другого общественно-экономического уклада, кроме образованного данными отношениями. Примером могут служить в Китае эпохи Западного Чжоу и империя инков накануне их завоевания испанцами<sup>4</sup>.

Данный способ производства был в свое время выделен и описан К. Марксом под названием «азиатского». Во введении автор указывает, что подавляющее большинство зарубежных марксистов относят в настоящее время африканские классовые общества именно к этому типу (с. 32). Характеризуя их взгляды, Э. С. Годиер отмечает, что специфической чертой обществ этого типа они считают «существование государственно-эксплуататорского общественного строя при отсутствии частной собственности на средства производства» (с. 32). В этом отношении их взгляды совпадают с тем, что отстаиваются в рецензируемой работе. Однако несмотря на широкое распространение этих представлений не только среди зарубежных марксистов, но и среди советских следователей, согласиться с ними, на наш взгляд, нельзя.

В основе такого рода точки зрения лежит слишком узкое понимание частной собственности. Она представляется, во-первых, как собственность отдельного лица, которая может передаваться по наследству, во-вторых, как полная собственность данного лица, исключающая собственность на эти же объекты других людей. Именно так была в большинстве случаев частная собственность в эпоху домонополистического капитализма. И подобное представление было в дальнейшем распространено исследователями на другие эпохи и общества иного типа. Говоря о частной собственности, мы фактически имели в виду буржуазную частную собственность, которая в действительности является лишь одной из многих форм такой собственности.

Суть частной собственности в любой ее форме заключается в том, что она является собственностью только части членов общества, причем такой, которая дает этой части возможность безвозмездно присваивать труд другой части. В качестве частного собственника может выступить отдельный представитель класса эксплуататоров — в таком случае мы имеем дело с персональной частной собственностью, труд членов этого класса — в таком случае перед нами групповая частная собственность, или, наконец, весь класс в целом — тогда перед нами классовая частная собственность. Частная собственность на средства производства совершенно не обязательно должна быть полной, как при рабстве и капитализме. Она может быть верховной: в таком случае представители угнетенного класса тоже являются собственниками средств производства, но только подчиненными. Такова феодальная частная собственность.

Характерная особенность рассматриваемого способа производства состоит в том, что он был основан на классовой верховной частной собственности на землю и личности непосредственных производителей, неизбежно выступавшей в форме государственной собственности. Именно с этим и связано совпадение в общем и целом классов эксплуататоров с государственным аппаратом. Поэтому данный способ производства лучше всего именовать политарным. Соответственно можно говорить о политарном обществе, политарной общественно-экономической формации<sup>5</sup>. Как явствует из сказанного, в основе деления политарного общества на две большие группы людей лежит прежде всего различие в их отношении к средствам производства. Одна из этих групп была верховным частным собственником земли и личностей непосредственных производителей материальных благ, представители другой были подчиненными собственниками земли и своей личности. Иначе говоря, эти две большие группы людей обладали всеми основными признаками общественных классов. Политарное общество было классовым в точном смысле слова.

В случае с Бугандой мы имеем дело с политарным обществом, однако такой процесс формирования которого еще не завершился. Это общество было протополитарным, протоклассовым. Соответственно формирующимся было в нем и государство. Оно может быть охарактеризовано как прагосударство или протогосударство. Последний переход грани, отделяющей формирующееся классовое (протоклассовое) общество от собственно классового — появление комплекса феноменов, который можно именовать цивилизацией. Суть цивилизации заключается в появлении культуры господствующего класса, отличной от ранее единой культуры общества, це-

<sup>3</sup> См. Семенов Ю. И. Об одном из типов традиционных социальных структур Азии и Африки: прагосударство и аграрные отношения. — В кн.: Государство и аграрная эволюция в развивающихся странах Азии и Африки. М.: Наука, 1980, с. 103—204.

<sup>4</sup> Там же, с. 106—108.

<sup>5</sup> Подробнее об этом см.: Семенов Ю. И. Указ. раб., с. 111—115; Теория общественно-экономической формации. М.: Наука, 1982, с. 156—163.

яющейся теперь в основном лишь в культуру рядовых классов общества, эксплуатируемых масс. Обособление культуры господствующего класса имеет место в сфере материальной, так и духовной жизни общества. В последней появление цивилизации выражается прежде всего в возникновении письменности.

Буганда этот порог еще не перешагнула. Если бы было исключено влияние со стороны более развитых обществ, она в конечном счете превратилась бы в подлинно классовый социальный организм, по всем своим основным чертам тождественный с египетским, а затем Древними царствами Египта.

Буганда и Древний Египет представляют один из двух основных вариантов становления и развития первой в истории человечества классовой общественно-экономической формации — политарной. К нему относятся также общество Древнего Китая, Древнего царства, империя инков. Самый яркий пример второго основного варианта — города-государства Древнего Шумера. В этнографии он представлен классовым обществом городов-государств йоруба, какими они были еще в XIX в. «Египетский» и «шумерский» варианты становления классового общества — типичные, которые возможны в условиях, когда никаких сложившихся классовых структур не существует либо вообще на земном шаре, либо в данном регионе. Все главные варианты становления классового общества прямо или косвенно связаны с влиянием уже сложившихся классовых обществ.

Как явствует из сказанного, в рецензируемой работе имеется немало спорных положений, что, на наш взгляд, является не недостатком ее, а наоборот, огромным достоинством. Интересная и умная книга Э. С. Годинер вносит существенный вклад в разработку проблемы становления классов и государства.

Ю. И. Семенов

## НАРОДЫ ОКЕАНИИ

Путилова Б. Н. Песни Южных морей. М.: Наука, 1978. 193 с.; *его же*. Миф — обряд — песня Новой Гвинеи. М.: Наука, 1980. 383 с.; *его же*. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Страницы биографии. М.: Наука, 1981. 213 с.; Человек с Луны. Дневники, статьи Миклухо-Маклая/Сост., коммент. и послесловие Путилова Б. Н. М.: Молодая гвардия, 1982. 336 с.; *Putilov B. N. Nikolai Miklouho-Maclay. M.; Progress, 62.*

На протяжении последних пяти лет Б. Н. Путилов опубликовал несколько книг, посвященных регионально и тематически. Первые две из них посвящены фольклору и мифологии Океании, и прежде всего крупнейшего острова этого обширного культурно-исторического мира — Новой Гвинеи. Три последующие книги рассказывают о замечательном исследователе коренного населения этого острова — Н. Н. Миклухо-Маклае. В 1971 г. автор этих книг принял участие в экспедиции, посетившей в числе других островов Океании и Берег Маклая на Новой Гвинее; во время этой экспедиции ему удалось собрать много магнитофонных записей океанийского фольклора.

Книга «Миф — обряд — песня Новой Гвинеи» вышла в серии «Исследования по фольклору и мифологии Востока», публикуемой Главной редакцией восточной литературы издательства «Наука» и отмеченной многими первоклассными трудами, составившими заметное явление в развитии советской и мировой науки (книгами Е. М. Мелетинского, В. Я. Проппа, О. М. Фрейденберг и др.). Создание этой серии — большая заслуга Главной редакции восточной литературы. Книга Б. Н. Путилова является, подобно другим изданиям этой серии, во многом необычной и новаторской, что и выделяет ее среди других исследований фольклора и мифологии Новой Гвинеи.

Автор подходит к первобытному фольклору коренного населения Новой Гвинеи как к «своеобразнейшему феномену культуры» с характерным для него синкретизмом. Важными функциональными связями (с. 12). Эти связи распространяются за пределы собственно фольклора, в другие сферы духовной и общественной жизни, образуя широкую сеть цельной синкретической культуры, свойственной этому уровню социального развития, что и составляет одну из главных его особенностей. Книга Б. Н. Путилова ориентируется на анализ этой системы связей между фольклором, мифом и обрядовой жизнью новогвинейцев. Анализ начинается с мифологии как наиболее фундаментального явления духовной жизни. Особое место и значение первобытной мифологии состоит в том, что она отражает общественное сознание в его целостности. Мифологическая система носит всеохватывающий характер, глубоко и разносторонне проникает во все сферы жизни, быта, культуры, сознания, служит важным регулятором социальных связей и поведения. Автор высказывает верное наблюдение, что «в то время как повествовательный миф обращен, как правило, к далекому прошлому и воспроизводит эпизоды истории, принадлежащей мифическому времени, миф, воссоздаваемый в ритуальных формах, как бы размывает временные границы, переносит события прошлого в сегодняшний день» (с. 15). Но едва ли справедливо утверждение, что конечные рубежи мифического времени определяются «временем установления данной этнической общности» (с. 16). Сам факт «размывания» временных границ, отмеченный автором, показывает, что этих рубежей, собственно, не существует и что мифическое время парадоксально



«безвременю» и вторгается в настоящее как живая реальность. В этой связи особый интерес представляют мифы творения макромира (космоса) и микромира (этнических общностей, культурных благ и т. д.), мифы о творцах, демиургах и культурных героях («Весь видимый предметный мир ... мифология описывает как продукцию творения» (с. 28), и в этом состоит одна из примечательных особенностей первобытного сознания. Первосоздатели-демиурги, мифологические и тотемические предки стоят и у колыбели самого человеческого общества.

Определенную трудность представляет проблема вычленения мифа из общей массы устных рассказов, обращающихся в данном коллективе. «Наиболее очевидным дифференцирующим началом является практика, хозяйственная и социальная включенность мифов», — полагает автор. «То, что не включено в практику, не связано с ритуальной обрядовой, магической деятельностью, не служит объяснению настоящего состояния: в природе, в сфере производства, быта, социальных отношений, не является собственным мифом» (с. 74). Иное отношение у творцов фольклора к рассказам, не входящим в ритуально-ритуальную систему. Вместе с тем характерная черта вообще первобытного фольклора — невычлененность или неполная вычлененность этих рассказов из мифологической системы (с. 78). Заслуга автора состоит в том, что он отмечает это принципиально важное положение, иллюстрируя его фольклорным материалом, занимающим условно говоря, некое промежуточное положение между мифом и «не мифом».

Большой и содержательный раздел книги посвящен ритуально-обрядовой жизни новогвинейцев, чрезвычайно насыщенной и многообразной, в ходе которой происходит взаимопроникновение действительности, обыденной и мифологической. «Время и события, которые в нарративной форме воспринимались как прошлое, оказываются совмещенными с настоящим» (с. 91) — архаическая и вместе с тем универсальная черта, разделяющая папуасов, например, с австралийцами. Через обрядность, связанную с танцами в масках, музыкой, драмой, мы вступаем в сложный мир духовного творчества во всей его полноте, и глава эта вводит нас в центральный раздел книги, посвященный песне. Здесь выясняется, что важнейшая особенность новогвинейской песни — функциональная связь и в то же время обусловленность ее цикличностью жизни и деятельности коллектива. Жители Новой Гвинеи, по словам автора, не пели «просто так». Художественные особенности песен неотделимы от их функциональности. При этом внепесенная связь — почти всегда связи обрядовые: песня соотнесена с жизненной ситуацией непосредственно, но через обряд, а исполнение песни — само по себе некий обрядовый акт. Для новогвинейского фольклора характерна органическая включенность песни в определенный обрядовый комплекс. Наблюдение очень интересное, и было бы полезно и важно проверить его на материалах по другим архаическим культурам. Охарактеризованное явление реализуется в условиях и манере исполнения песен, их тексте, типичной приуроченности к различным ситуациям и т. д. Песня не мыслится вне обряда, но обряд невозможен без традиционно предназначенной ему песни, утверждает автор (с. 167). И все же новогвинейский фольклор знает песни, не включенные в обряд и распространенные сопровождающие те или иные жизненные ситуации, например, разнообразные трудовые песни. Сам автор приводит немало подобных примеров. Он описывает их в следующих словах: «Песня становится универсальным, едва ли не обязательным элементом всего бытового, производственного, ритуального комплекса» (с. 205). И это совершенно справедливо. Вместе с тем и трудовые песни зачастую имеют магическую направленность, что должно способствовать успешному осуществлению тех или иных действий.

Большой интерес представляет характеристика песенного текста (и отдельных слов) как некоего шифра, символа, несущего в себе скрытые магические и мифологические пласты. Вся глубина значений лежит за текстом. И в связи с этим мы вспоминаем иную область архаической культуры — изобразительное искусство, где изобразительный элемент и совокупность элементов, подобно слову и тексту в устном творчестве, нередко столь же многозначны и символичны; особенно характерно это для одной из самых архаических культур — культуры аборигенов Австралии.

Самостоятельная глава рассказывает о роли музыкальных инструментов в ритуально-мифологическом комплексе. Премущественное внимание уделено сакральным инструментам, характеризующимся «органической включенностью в социально-ритуальную практику» (с. 245). Заключительные главы книги посвящены наиболее важным культам Новой Гвинеи и роли мифа и песни в связанных с ними обрядах. Одним из самых развитых и распространенных является культ умерших; он находит свое выражение в комплексе представлений о смерти, судьбе умерших и их взаимоотношениях с миром живых, в системе обрядов, связанных с погребением, и в других обрядах производственно-магического и общественного характера. Особое место в ритуально-мифологическом и магическом комплексе занимает культ плодородия, генетически один из самых ранних в религиозно-обрядовой практике человечества, ибо на него возлагалась важнейшая задача — обеспечить воспроизводство природного мира и тем самым дальнейшее существование самого человеческого общества. Едва ли поэтому можно полностью принять понимание автором новогвинейского культа плодородия как «нового этапа в эволюции представлений о мире, природе и обществе», генетически связанного, однако, с предшествующими охотничьими культами и тотемизмом (с. 303). Новым является по существу наполненность древнего культа плодородия новым содержанием связанным с земледелием и потому теснейшим образом переплетенным с собственными аграрными культами и обрядами. Весьма важная черта культа плодородия, указывающая на его глубокую древность, — связь его с обрядами инициации. Связь эта не случайная: глубинная идейная основа и направленность культа плодородия и обрядов инициации во многом едины. Естественно поэтому, что обряды инициации рассматриваются в книге непосредственно за культом плодородия и заключают ее. А вся книга в

прекрасно демонстрирует одну из главных особенностей культуры архайского общества — теснейшую взаимосвязь и взаимодействие различных ее элементов, образных особей, непривычный для нас социальный и духовный мир.

Книга «Песни Южных морей» в отличие от предыдущей обращена к массовому материалу. Она посвящена песенному фольклору народов Океании в целом (Новая Гвинея, Полинезия, Меланезия, Микронезия) и его современным судьбам. Связи с мифологией и другими ранними формами общественного сознания автор стремится раскрыть здесь. И не менее выпукло, чем в предыдущей книге, выступает следующее важное для архайской культуры: песня, музыка, драма, изобразительное искусство пронизывают и всю общественную жизнь, и трудовую деятельность людей и играют в фольклоре принципиально отличную от той, которая свойственна иным уровням развития жизни не только необходимую для самого существования общества. Песня здесь не исключение, она «составляет необходимую и даже обязательную часть общего дела» (с. 18). В книге немало интересных и важных наблюдений: о неповторимом «стиле» песенной культуры и органической включенности, погруженности фольклора и духовного творчества в целом в особый мир ее образов и символов; о самодостаточности текстов, которые заимствуются у соседей и затем включаются в контекст иной культуры исполняются на чуждом языке, несущем некий таинственный смысл (подобное явление хорошо известно аборигенам Австралии и некоторым другим народам); о роли оданных, творческих личностей в архайских культурах и вообще о выдающемся значении индивидуального творчества в них (здесь материал для дискуссии о соотношении родовых и индивидуальных истоков творчества в этих культурах). Символизм, многозначность маорийских песен (где, например, гора, озеро, река — способ идентификации отдельных групп) вновь возвращают нас к проблеме параллелизма способов выражения в устном и изобразительном творчестве.

Обширный материал книги распределен следующим образом: циклы трудовые, сезонные, общественные; лишь внутри циклов соблюден региональный принцип, и такой же систематизации материала вполне целесообразно. Перед читателем проходит этно-музыкальный фольклор Океании в его соотношении с различными сферами жизни. Самостоятельные главы посвящены мифологическому эпосу, героическому эпосу циклов мореплавателей древности, героическим племенным песням. В главе о песнях трудовых, приуроченных к последовательным этапам труда земледельца, хорошо показана иная, параллельная и органически связанная с первой приуроченность песен к этапам земледельческой магии, к которой люди относятся как к деятельности, столь значимой и важной, как и труд на земле. То же свойственно и многим песням, связанным с рыбной ловлей, охотой на морских животных, строительством жилищ и лодок. «Обыденное как будто дело — поймать черепаху — благодаря песне приобретает характер исключительного события, в которое оказываются вовлеченными мифологические силы и которое демонстрирует могущество и особое искусство охотника» (с. 27). Все в этих словах автора не вырисовывается совсем особый мир, где простой акт охоты становится узлом, куда сходятся нити из многих сфер культуры, с прагматической точки зрения, казалось бы, совсем необязательных, но для человека данной культуры исполненных глубочайшего значения? Песни семейные и общинно-родовые составляют важнейшие в жизни человека и общества обряды перехода из одного социального статуса в другой, а затем и в иной мир. Особое место среди событий этого мира занимают обряды инициации. Большое социально-идеологическое значение приписывается в этом обществе и межиндивидуальному, межобщинному и межплеменному обмену, отчего и акт обмена приобретает характер сложного ритуала. Однако наивысшая форма традиционной общественной обрядности в Океании — массовые обряды с участием сотен людей, длящиеся неделями, а то и месяцами. Мифологический эпос народов Океании прослеживается в книге от типологически наиболее ранних его форм, древнейших народов Новой Гвинеи, где мифология концентрируется вокруг культуры героев и культурных героев. На другом полюсе — полинезийские песни о легендарных мореплавателях, проникнутые высокой поэзией и пафосом великих открытий. Большой интерес представляют завершающие книгу непосредственные впечатления автора от встреч с народными исполнителями Океании.

Следующие три книги Б. Н. Путилова посвящены Н. Н. Миклухо-Маклаю, выдающемуся путешественнику, ученому и борцу за равноправие народов. О Миклухо-Маклае написано немало в нашей стране и за рубежом, опубликованы его труды, дневники, воспоминания, переписка. И все же книга Б. Н. Путилова «Николай Николаевич Миклухо-Маклай» занимает в этом ряду особое и достойное место. Ее подзаголовок — «Страницы биографии» говорит о том, что автор не ставил своей целью рассказать о всей жизни ученого. Она концентрирует наше внимание на другом — на его личности, его общественном облике и общественной деятельности; он показан в критические периоды жизни, в труднейших испытаниях. Миклухо-Маклай был одним из самых необычайных людей своего времени, и таким его увидели наиболее пронизательные его современники. Он, по словам автора, исходил из идеи, «согласно которой в первобытном обществе действуют и имеют ценность те же положительные нормы и понятия, что и в обществе цивилизованном» (с. 17). — идея, которая и до сих пор многим кажется чуждой. К первобытному обществу он подходил без предвзятых теоретических схем, умозрительных интерпретаций (с. 17). Б. Н. Путилов считает, что Миклухо-Маклай поставил необычайную для того времени эксперимент адаптации к первобытной среде (с. 23). В книге есть смелая и убедительная попытка взглянуть на ситуацию «Миклухо-Маклай и его мир» глазами людей этого мира. В сознании папуасов с именем Маклая создан образ, в котором представление о реальном человеке переработано в духе традиционной мифологии. Историческая личность обрела черты культурного героя. Этот факт, столь важный для понимания первобытного сознания, имеет очень

немного аналогий; одна из них — своего рода обожествление племенем тасада-никами и собирателями каменного века на Филиппинах, этнографа, открывшего эти людей, принесшего им культурные блага<sup>1</sup>.

Большой, ранее почти неизвестный широкому читателю документальный материал освещает связи Миклухо-Маклая с деятелями русской культуры XIX в., передовую русскую общественностью. Особенного внимания заслуживают высказывания Миклухо-Маклая, взятые из его писем, где отразились его нравственные принципы (с. 100—102) не менее интересные скрупулезно собранные воспоминания современников, характеризующие личность ученого. Впервые подробно освещена важная в историко-литературном и социально-этическом планах тема: отношения Л. Н. Толстого и Н. Н. Миклухо-Маклая. Они никогда не видели друг друга, но нравственный подвиг путешественника и ученого, его личность произвели большое впечатление на великого писателя и мыслителя и отразились в его творчестве, а переписка с Толстым оказала влияние на Миклухо-Маклая.

На страницах книги Миклухо-Маклай предстает как требовательный к себе автор, мы видим его в работе над главным делом его жизни — трудом, обобщающим его научные открытия, — делом, которое ему так и не суждено было завершить. Невозможно без волнения читать заключительную главу книги о последних годах жизни путешественника и ученого, его женитбе, возвращении в Россию; болезни и смерти. Здесь, в этой главе, впервые на русском языке публикуется документ исключительной ценности — дневник жены Миклухо-Маклая Маргариты.

В книге Б. Н. Путилова органически слиты два качества, что, к сожалению, встречается не часто, — строгая научность и в то же время эмоциональность и человечность. Следует отметить большую источниковедческую работу автора: мобилизованы различные исторические материалы, как опубликованные, так и находящиеся в архивах. Часть этих источников еще не использовалась в биографической литературе о Миклухо-Маклае. Отражение этой работы — большая и очень ценная библиография, приложенная к книге. И вместе с тем автору удалось со всей непосредственностью и убедительностью донести до нас живой, волнующий образ Миклухо-Маклая человека.

Вторая книга Б. Н. Путилова на ту же тему опубликована на английском языке и предназначена главным образом для зарубежного читателя. Это не перевод первой книги, а совершенно новый труд. В ней автор поставил цель рассказать о жизни Миклухо-Маклая более полно и подробно. Здесь обстоятельнее, чем ранее, излагается история путешествий Миклухо-Маклая, больше внимание уделено его деятельности, направленной на защиту коренного населения Новой Гвинеи от колониальных держав. Из последней главы читатель узнает о том, что представляет собою Берег Маклая сегодня, столетие спустя после Миклухо-Маклая; в ней рассказано также о большом живом интересе к личности ученого и его научному наследию в нашей стране и за рубежом. Книга, подобно предыдущей, обладает большими литературными достоинствами, она хорошо иллюстрирована. В распоряжении зарубежного читателя уже имеются издания, посвященные Миклухо-Маклаю, но с книгой Б. Н. Путилова он получил материалы и сведения, прежде ему недоступные или малоизвестные.

И наконец, книга «Человек с Луны», предназначенная прежде всего для молодых читателей: ее, несомненно, с интересом прочитают люди любого возраста. Здесь собраны путевые заметки Миклухо-Маклая, статьи, фрагменты из писем. Все это — документы, для широкого читателя труднодоступные и в то же время имеющие большую познавательную ценность, вошедшие в золотой фонд мировой литературы путешествий. Сборник составлен и прокомментирован Б. Н. Путиловым, снабжен послесловием. Здесь мы снова находим глубокую характеристику научного метода Миклухо-Маклая: «Как ученый он не давал воли фантазии, — пишет Б. Н. Путилов, — не занимался конструкциями и редко строил гипотезы... Строго реалистическая позиция Миклухо-Маклая... уберегала от скороспелых выводов, заставляла следовать не популярным теориям, а фактам, приводила к результатам точным, хорошо обоснованным, надежным» (с. 309). Центральное место в книге занимают рассказы путешественника о его пребывании на Берегу Маклая и о взаимоотношениях с паукасами. Символично, что книга открывается известным письмом Л. Н. Толстого Н. Н. Миклухо-Маклаю от 2 сентября 1886 г. и его ответным письмом. Слова Толстого звучат здесь как эпитафия жизненному пути ученого.

Публикуя дневник первого пребывания Миклухо-Маклая на Берегу Маклая, составитель делает следующее знаменательное примечание: «Дневник сверен по рукописи, подготовленной Н. Н. Миклухо-Маклаем к печати, но не увидевшей свет при его жизни. Публикации дневника начиная с издания 1923 года многократно редактировались, при этом нарушался не только стиль автора, но и подчас и смысл отдельных выражений» (с. 8). Таким образом, перед нами первое аутентичное издание этого замечательного документа, правда, с некоторыми сокращениями в тексте. К сказанному остается лишь добавить, что книги Б. Н. Путилова, посвященные Н. Н. Миклухо-Маклаю, выполнены на таком же высоком научном уровне и обладают теми же литературными достоинствами, что и его исследования, обогатившие наши знания о духовной жизни первого русского общества.

В. Р. Куд

<sup>1</sup> Nance J. The Gentle Tasaday. A Stone Age People in the Philippine Rain Forest, 1975.

Тема, которой посвящена книга П. И. Пучкова, представляется весьма актуальной. Наука особенно нуждается сейчас в широких обобщающих трудах, в которых, на основе большого фактического материала по крупным регионам земного шара, прослежены были бы общие тенденции развития современного человечества, — развития и этнического (задача собственно этнографии), и культурного, и экономического, и политического, и морального (задачи специальных наук).

Океания — весьма обширный регион, своеобразный, и по своим географическим условиям, и по историческим. Поэтому изучение этнического состава населения Океании и направления происходящих там этнических процессов — весьма благодарная для этнографа задача.

Автор монографии П. И. Пучков прекрасно справился с этой задачей. Ему удалось собрать обширный фактический материал. Значительная часть этих источников (статистико-демографические данные, справочники, отчеты и пр.) содержит количественные показатели, а потому отличается относительной точностью и надежностью. Этот материал критически обработан автором и систематически им изложен, служа притом основой для некоторых общих выводов. Выводы же представляют собой не только фактографические, чисто эмпирические обобщения, но и некоторые формулировки связанных с ними теоретических проблем.

На базе тех же обобщений автор берет на себя очень ответственную задачу: формулировать некоторые «прогнозы» в отношении перспектив этнического и культурного развития народов Океании.

Известная рискованность этих прогнозов не должна, однако, ставиться в упрек автору. Напротив, мне кажется, что советские этнографы, если они располагают по какому-то предмету достаточными фактическими данными и притом вооружены историческим методом исследования, — могли бы и в других подобных случаях смелее делать не только эмпирические выводы из своих исследований, но и становиться на путь прогнозирования динамики исследуемых явлений.

Само построение монографии можно считать удачным, хотя и несколько своеобразным. Вслед за «Введением» и за 1-й главой, посвященной историко-географическому очерку региона, — идет одна из самых важных, 2-я глава, где дается описание этнического состава населения Океании — по культурному и языковому признакам. Однако название — «Этнический состав населения» присвоено не этой, а 3-й главе работы, где этот этнический состав показан более развернуто и детально. 4-я глава — скромно озаглавленная «Другие элементы этнической ситуации» — содержит в себе как раз важнейшие проблемы, касающиеся динамики и перспектив этнического, языкового, культурного развития населения изучаемого региона. По существу, эти «другие элементы» и составляют гвоздь проблемы, важнейшую часть монографии. Эта глава и по объему самая большая — она занимает более одной трети книги.

С большинством конкретных выводов автора, изложенных в книге, следует, видимо, согласиться: они опираются на бесспорные факты и на достаточно солидные наблюдения. Есть только одна сторона в исследовании П. И. Пучкова, с которой трудно согласиться и которая построена, как мне кажется, не на объективных фактах, а на некорректном принятии априорной точки зрения, широко распространенной в нашей науке. Речь идет о попытке автора распределить «этнические общности» в Океании по типам: задача важная, но далеко не решенная и в отношении других регионов.

Автор исходит из широко распространенной «концепции» трех видов этносов: племя — народность — нация; однако не удовлетворяется ею, пытается ее детализировать, увеличив количество ступенек.

Помимо этого распределения этнических общностей по типам, П. И. Пучков пытается разделить на типы и те процессы этнического развития, которые наблюдаются в Океании.

Вот с этими-то схемами «типов» этнической общности и «типов» этнического развития мне очень трудно согласиться, даже в том уточненном и дробном их варианте, который предлагает автор монографии (консолидация, ассимиляция, интеграция, этническая парциация, этническая сепарация).

Ведь несмотря на большие достижения советской этнографической науки в исследовании процессов этнического развития народов и в теоретической разработке самих проблем, связанных с «этносом» и его историческими модификациями, достигнутые результаты еще нельзя считать достаточными. Само понятие «этнос» еще не получило точного и общепризнанного определения.

Тем более неясными остаются результаты попыток типологизации этносов — классификации их по типам. Предлагавшиеся не раз попытки такой типологизации не получили общего признания. Из всех таких попыток наиболее известна упомянутая выше трехчленная схема исторической последовательности «типов этнической общности»: племя — народность — нация. Из этих трех «типов» хуже всего обстоит дело со вторым членом триады — с народностью. Слово это как-то стихийно вошло в употребление в этнографической литературе. Ему пытаются присвоить значение научного термина, но никто до сих пор не смог предложить отчетливой дефиниции этого якобы «термина».

Главная причина неудачности попытки решения этой задачи, — как мне кажется, — методологическая: вместо исследования конкретной исторической (этнографической) действительности и ее обобщения, люди исходят из готового понятия и пытаются подогнать под него объективные факты.

Автор настоящей работы старается избежать этой методологической ошибки. Он удовлетворен упомянутой выше трехчленной схемой и не пытается подогнать под

нее сложную действительность. Но, мне кажется, что, заменяя трехчленную схему вой, он не подвигается ближе к цели.

Несмотря на спорность предложенной терминологии, заслуга автора по исследованию процессов этнического развития в Океании чрезвычайно велика. Его внимательный анализ движущих сил этнических процессов, влияния на них разных факторов оставляет прекрасное впечатление. Вообще вся эта книга, насыщенная огромным, тщательно исследованным и систематизированным фактическим материалом, представляет ценнейший вклад в мировую науку. Особенно важны сведения о языковой ситуации среди населения Океании и о национально-языковых отношениях, а также подробные данные о конфессиональном составе населения, и наконец, — о межэтнических (межнациональных) отношениях.

В целом, бесспорно, перед нами — капитальный труд, в котором решаются важнейшие проблемы этнического, национального, языкового, культурного развития жителей одного из крупных регионов мира. В приложенном к нему списке литературы насчитывается около 500 названий книг и статей на разных языках, — но я сомневаюсь, что хоть одна из этих работ могла быть сопоставлена с книгой П. И. Пучкова по объему содержанию.

*С. А. Токарев*

## SUMMARIES

### The City and Ethnic Processes (on the Base of Ethnographic Study of East Slav Cities)

Urban dwellers form about 40 p. c. of today's world population. Their proportion is still higher in industrially developed nations. Their role in ethnic processes is very important. However, in the past, when even in Europe urban population formed only a small percentage of the whole, the influence exerted by cities, by their population, their way of life over the ethnic evolution of peoples was out of all proportion to their relatively small numbers.

Due to its peculiar characteristics as a settlement with a complex ethnic composition, as an economic, political and cultural centre, the city played an important part in the evolution of ethnic processes; it conducted to the formation of ethnic communities at different historical and social levels: the ancient nationality (*narodnost'*), the feudal nationality, the bourgeois nation (*natsiya*), the socialist nation. The city was in the past and still remains a kind of enormous melting-pot where ethnic processes are considerably accelerated in comparison with the countryside. The city arises in a particular ethnic environment and undergoes a strong ethnic and ethnocultural influence of the surrounding rural population and, in its turn, influences this population. City dwellers and peasants living in constant close communication form the basis of the nationality and the nation.

While examining the role of the city in the course of ethnic processes mainly as it is exemplified by the Russian cities of the 9th through 11th centuries, the authors also adduce analogies from other countries over the globe. Close attention is also given to present-day ethnocultural processes in our country.

M. G. Rabinovich, M. N. Shmeliova

### On the Correlation of General and Local Traditions (as Exemplified by Balkan-Origin Ethnic Groups in the Ukraine and Moldavia)

The paper is aimed at showing the concrete manifestations in the development of cultural tradition through analysis of ethnographic facts. The author adduces material on Bulgarians, Greeks, Gagauzes and Albanians living in the Ukraine and Moldavia. The dialectics of the general and the specific finds its multifarious expression in the environment under examination. Thus, in the cultural situations examined we observe the transformation of a local tradition into a general one and *vice versa*. Here «local» and «general» differ in volume and significance. The specificity of tradition as being predominantly ethnic or predominantly regional in character is also relative: a tradition may appear as an ethnic one at one stage of development, may become regional at another stage, etc.

The author notes that examination of the material once again substantiates the temporal conditionality of the concept of «traditional culture».

O. R. Budina

### The Evolution of Land-Use Common Law in the Late Feudal Russian Serf Village (18th to Early 19th Centuries)

The causes leading to changes in common law pertaining to land use in the serf village of late feudal Russia are traced on the base of plentiful archive material; the principles underlying peasant communal land use are examined. On the base of existing studies the author reaches the conclusion that up to the 17th century the Russian peasant household, according to custom, inherited the possession of a complex of communal lands necessary for the individual economy.

With the growth of feudal land ownership (especially in central Russia, where land ownership gradually became dominant both socially and structurally) the land areas available to the peasantry diminished; hence the community was faced with the necessity of regulating the land use by taxable units (households). With each change in the economic potential of a peasant household the community changed its available land area. In carrying out this regulation the community had to take into account the traditional common law norms. For instance, the peasants persistently held to the belief that

each village had the right to its «own» land. Under the press of taxation by household complex communities that comprised several villages began to equalize their land possessions; this may be regarded as the beginning of land use regulation by the community. The course of this process depended upon the size of the land area that remained at the disposal of the community and the social-economic conditions under which the community existed. In estates with the *barshtchina* system (labour rent, *corvée*), where the peasantry lost more of its «own» land, the rights of individual villages over common lands disappeared more quickly, the community's right of disposal over these lands became strengthened and a regular peasant land use system based on equal division of land with periodic re-distribution was established. In *obrok* (quitrent) estates the rights of individual villages and individual peasants over «their own» lands within the community persisted longer. Nevertheless, the same general trend was observed everywhere: the power of the community grew greater and the rights of individual households were increasingly subjected to the communal principle; this slowed down the evolution of the concept of private land ownership among the peasantry.

V. A. Alexandrov

### **East African Cultures in the Process of Formational Changes (19th — 20th Centuries)**

The paper deals with the dialectics of the interrelation between the categories «culture» and «society» which reflect basically different phenomena having, however, in their existence one without the other. The phenomenon of culture is, in the author's opinion, a specific aspect of existence of all kinds of social phenomena, it is a historically concrete form (or system of forms) in which the social process is directly realized. The functional significance of the contradiction between the form and the content is demonstrated by the example of the evolutionary changes in certain social organisms of East Africa, which were in the 19th and 20th centuries undergoing a process of change in their socio-economic formation.

N. M. Girsh

### **Cultural Sequence on the North Coast of Peru in the 5th to 15th Centuries A. D. (Using Data of Mythology and Figurative Art).**

The author argues that three of the iconographic settings known in the art of the north Peruvian Chimú civilization (two fishermen in a boat, a bird tied to a stake, two minor personages leading the central one under his arms) have their direct origin in earlier Moche art. The two fishermen have some similar features with the pair of anthropomorphized birds that are very popular in Chimú iconography, but the Moche origin of the latter is extremely doubtful. This probably indicates some non-Moche substratum of yet unknown origin. A possible reconstruction of the myths on which the two iconographic settings are based (the anthropomorphic birds as the goddess consorts and two minor personages leading the central one) is suggested using some of the texts collected among different Indian tribes of Peru, Colombia, Venezuela and Central America.

Yu. E. Berezkin

## CONTENTS

*M. G. Rabinovich, M. N. Shmeliova* (Moscow). The City and Ethnic Processes (on the Basis of Ethnographic Study of East Slav Cities). *O. R. Budina* (Moscow). On the Relation of General and Local Traditions (as Exemplified by Balkan-Origin Ethnic Groups in the Ukraine and Moldavia). *V. A. Alexandrov* (Moscow). The Evolution of Land-Use Common Law in the Late Feudal Russian Serf Village (18th to Early 19th Centuries). *N. M. Girenko* (Leningrad). East African Cultures in the Process of Formational Changes (19th—20th Centuries). *Yu. E. Berezkin* (Leningrad). Cultural Sequence on the North Coast of Peru in the 5th to 15th Centuries A. D. (Using Data of Mythology and Figurative Art).

### From the History of Ethnography

*Ye. P. Fedoseyeva* (Leningrad). A. L. Troitskaya and her Archive.

### Communications

*A. B. Kalyshev* (Alma-Ata). Inter-ethnic Marriages in Rural Kazakhstan (Materials from Pavlodar Region, 1966—1979). *G. A. Gaisin*. (Alma-Ata). The Harmonica in Kazakh Musical Life (19th to Early 20th Centuries). *L. A. Fainberg* (Moscow). The Desires of Brazil's Aboriginal Population.

### Findings, Facts, Hypotheses

*Ya. S. Smirnova*. (Moscow). The Adoption of the Protector.

### Epidemic Life

*K. V. Cistov* (Leningrad). New Methods and Concepts in the Study of European Popular Culture — a Conference. *I. S. Gurvich, T. M. Mastjugina* (Moscow). An Epic Film Devoted to the Eskimos.  
Expeditions in Brief

### Criticism and Bibliography

Critical Articles and Reviews. *V. A. Shnirelman* (Moscow). Ethnoarchaeology in the Seventies. *S. A. Maretina* (Leningrad). An Important Bibliographic Publication. *N. V. Yukhneva* (Leningrad). The Study of the Workers of Prague in the Institute of Ethnography and Folkloristics, Czechoslovakian Academy of Sciences. *N. V. Shlygina* (Moscow). Modern Studies of the Wedding Ritual in Finland (New Works by *J. Heikinmäki*). General Ethnography. *A. A. Leontyev* (Moscow). I. L. Anatskiyev. The Origin of Man and Society. *L. N. Pushkariov* (Moscow). Folklore and Historical Ethnography. Peoples of the USSR. *T. N. Nikolskaya* (Moscow). *V. V. Sedov*. Eastern Slavs in the 6th to 8th Centuries. *I. N. Braim* (Minsk). *M. F. Plipenko*. An Ethnography of Byelorussia. *Yu. D. Anchabadze* (Moscow). *L. I. Lavrov*. An Ethnography of the Caucasus (Based on 1924—1978 Field Materials). *A. F. Makeyev*. (Novoulyanovsk). *P. Shabalina*. Ethnography in School Local Lore Studies. *E. A. Pain* (Moscow). Rural Elements in Udmurtia, 19th and 20th Centuries. *K. Ye. Korepova* (Gorky), *N. V. Zorin*. Russian Wedding in the Mid-Volga Area. *T. V. Zuyeva* (Moscow). *A. M. Novikov*, *S. I. Pushkina*. Wedding Songs in Tula Region. *A. I. Lazarev* (Cheliabinsk). *V. I. Igumnov*. History and Folk Poetry in Plodovitoye Village, Maloderbetov District, Kalmyk Autonomous Republic. Peoples of Europe outside the USSR. *T. D. Filimonov* (Moscow). Bauer und Landarbeiter im Kapitalismus in der Magdeburger Börde. *Chaires* (Tallin). *N. V. Shlygina* (Moscow). I. Talve. Suomen kansankulttuuri. Historiallista päälinjoja. Peoples of Asia outside the USSR. *B. A. Litvinski, L. A. Tchuyr* (Moscow). Janata A. Schmuck in Afghanistan. Peoples of America. *L. Ye. Kubitskiy* (Moscow). Ethnic Processes in South American Countries. *V. V. Pimenov, V. G. Stel'makh* (Moscow). Ethnic Processes in Caribbean Countries. Peoples of Africa. *I. Semionov* (Moscow). *E. S. Gódinier*. The Rise and Evolution of the State in Buganda. Peoples of Oceania. *V. R. Kabo* (Moscow). *B. N. Putilov*. Songs of the South Seas; Myth, Ritual and Song in New Guinea; The Man from the Moon: Diaries, Letters, Papers by Mikloukho-Maclay, et al. *S. A. Tokarev* (Moscow). *P. I. Putschkov*. The Ethnic Situation in Oceania.

Технический редактор *Беляева Н. Н.*

В набор 11.01.84 Подписано к печати 28.03.84 Т-02356 Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>  
Лит. печать Усл. печ. л. 15,4 Усл. кр.-отт. 45,2 тыс. Уч.-изд. л. 19,0 Бум. л. 5,5  
Тираж 2887 экз. Зак. 4841



## ОБЪЯВЛЕНИЕ

Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР производит в 1984 году прием в аспирантуру с отрывом и без отрыва от производства по специальностям:

антропология

этнография народов СССР

этнография народов мира

К вступительным экзаменам допускаются лица, имеющие производственный стаж по специальности не менее 2-х лет.

Срок обучения в аспирантуре 3 года, включая защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Поступающие в аспирантуру подвергаются приемным экзаменам по истории КПС, общей этнографии или антропологии, одному из западноевропейских языков и представляют письменную работу на самостоятельно избранную тему.

Прием заявлений до 1 сентября 1984 г. Вступительные экзамены в сентябре.

Документы направлять по адресу: 117036, Москва, В-36, ул. Дм. Ульянова, тел. 123-90-49 или 199164, Ленинград, В-164, Университетская наб., 3, тел. 218-07-1

Цена 1 р. 90 к.  
Индекс 70845

## В магазинах «Академкнига» имеются в продаже:

**Бромлей Ю. В., Кашуба М. С. БРАК И СЕМЬЯ У НАРОДОВ ЮГОСЛАВИИ. ОПЫТ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 1982. 239 с. 95 к.**

Книга является первым советским историко-этнографическим исследованием, посвященным проблемам брака и семьи у народов Югославии: традиционному и новому в семейно-брачных отношениях многонационального государства. Авторами привлечен богатый фактический материал смежных наук — социологии, демографии, статистики, экономики, а также анкетные обследования и полевые наблюдения.

Предназначена для этнографов, социологов, историков, юристов, работников культурно-просветительных учреждений.

**Кобычев В. П. ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩЕ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАЗА В XIX—XX вв. 1982. 195 с. 3 р. 50 к.**

В книге освещаются традиционные типы и формы поселения черкесов, адыгейцев, кабардинцев, карачаевцев, осетин, чеченцев, ингушей (планировка, усадьба и двор, ограда, ворота), а также типы и планировка жилищ, их фундамент, стеновой материал и строительная техника, форма крыши, материал покрытия, пол, потолок, пристройки — терраса, галерея, веранда, крыльцо, архитектурные украшения. Разбираются типы и формы хозяйственных построек, башен, склепов, святилищ. Книга богато иллюстрирована.

Рассчитана на этнографов, историков, архитекторов, строителей, художников прикладного искусства.

Заказы просим направлять по одному из перечисленных адресов магазинов «Книга — почтой» «Академкнига»:

480091 Алма-Ата, 91, ул. Фурманова, 91/97; 370005 Баку, 5, ул. Джапаридзе, 13; 320093 Днепропетровск, проспект Ю. Гагарина, 24; 734001 Душанбе, проспект Ленина, 95; 252030 Киев, ул. Пирогова, 4; 277012 Кишинев, проспект Ленина, 148; 443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7; 220012 Минск, Ленинский проспект, 72; 117192 Москва, В-192, Мичуринский проспект, 12; 630090 Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22; 620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137; 700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6; 450059 Уфа, 59, ул. Р. Зорге, 10; 720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42; 310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87.